This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

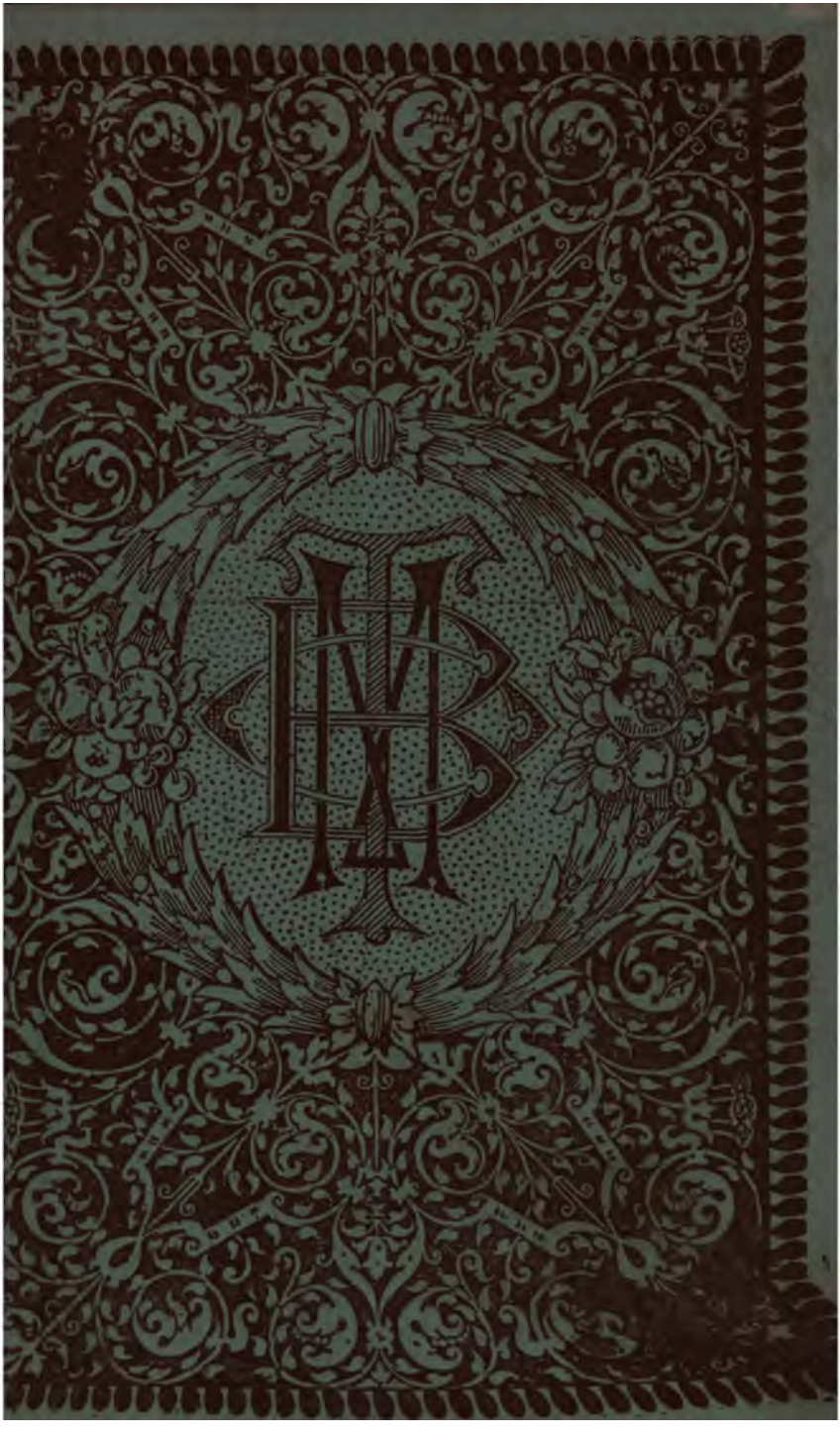
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

В.И.ДАЛЬ

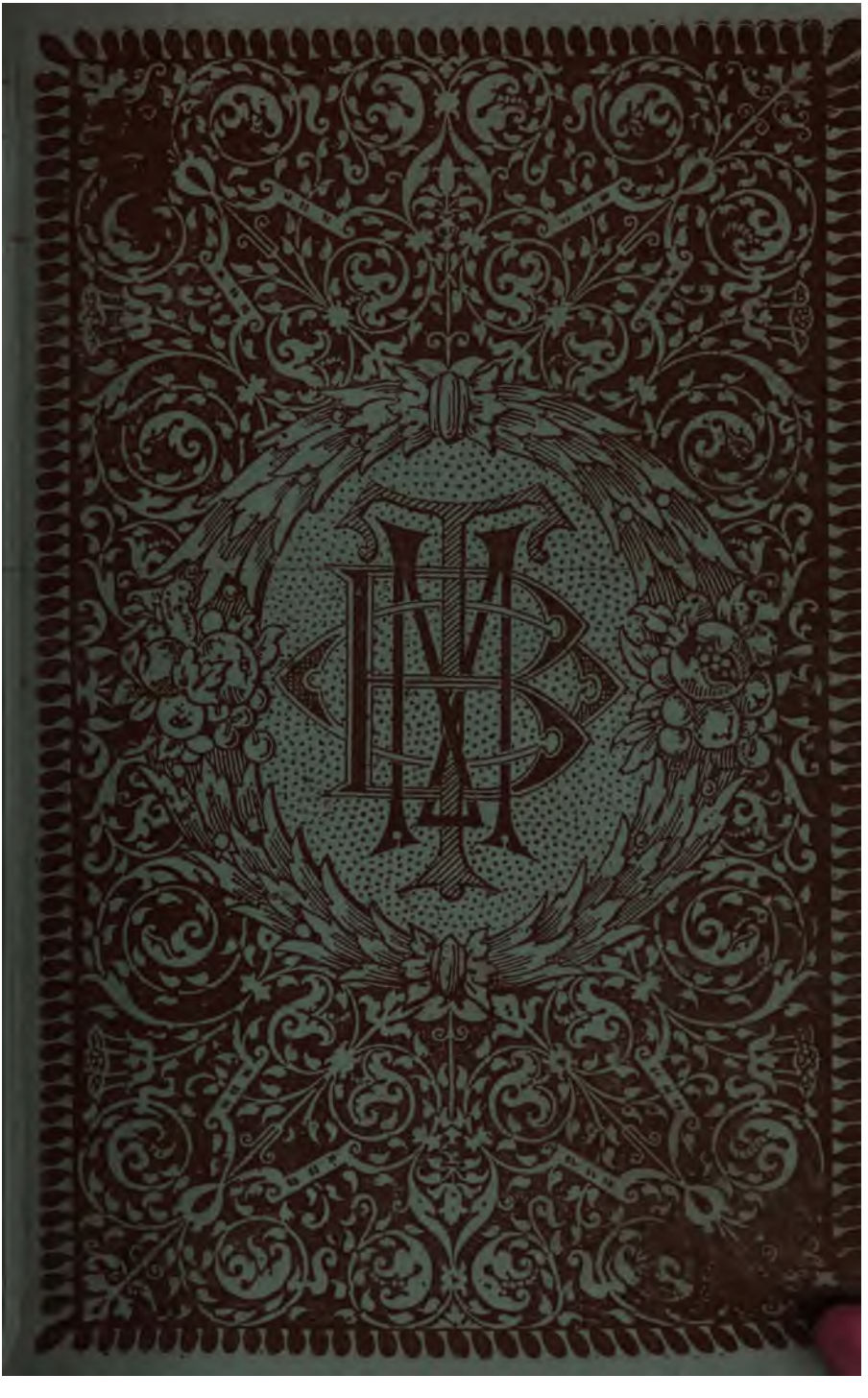
STANFORD UNIVERSITY
LIBRARY



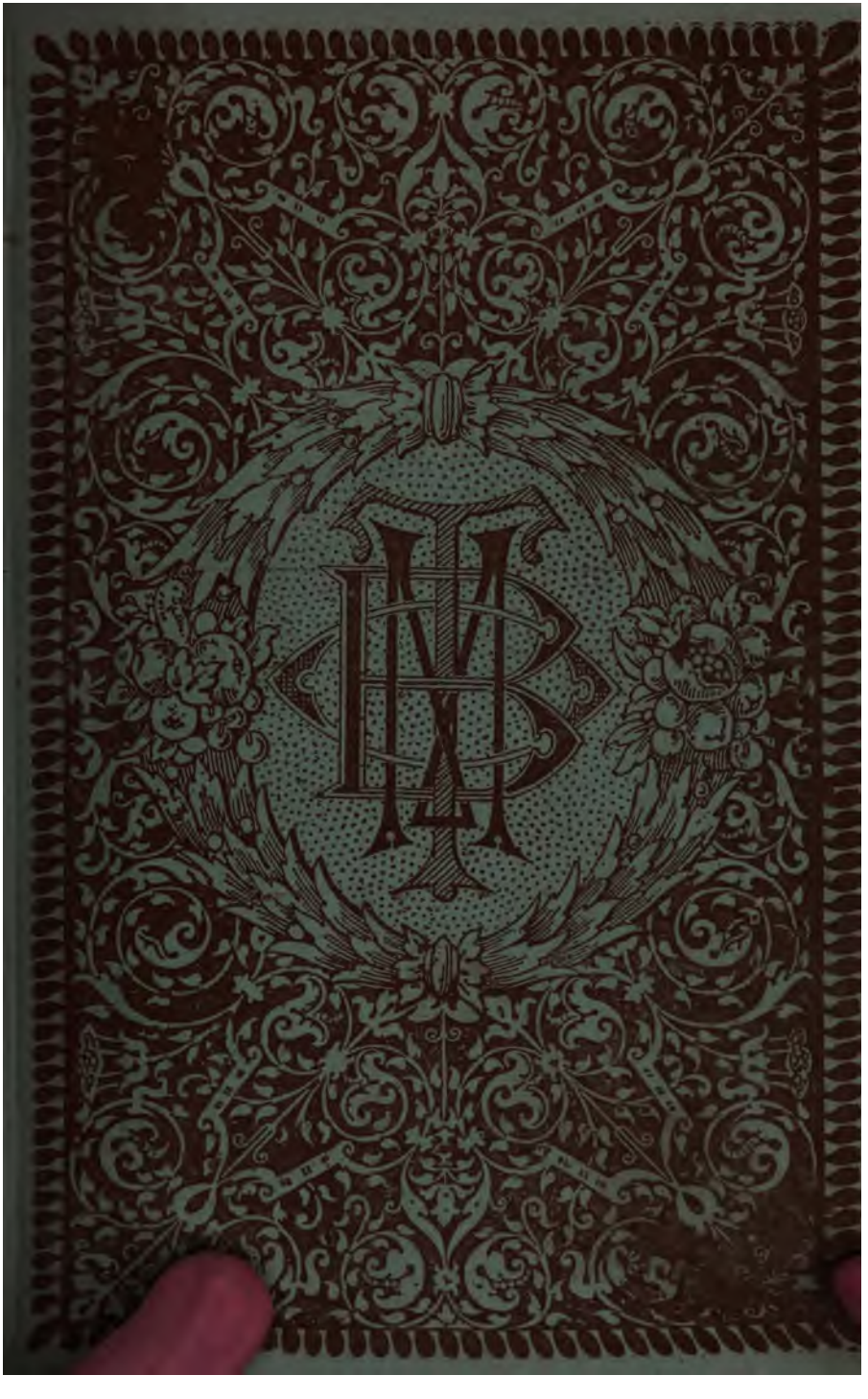
A43216

STANFORD UNIVERSITY LIBRARY

ИЗЪ БИБЛІОТЕКИ.



STANFORD UNIVERSITY
LIBRARY
ИЗЪ БИБЛІОТЕКИ.



Д 14-7
v 119.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

ВЛАДИМІРА ДАЛЯ

(КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

ТОМЪ ПЯТЫЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
ВЛАДИМІРА ДАЛЯ
(КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

Первое посмертное полное изданіе, дополненное, свѣренное и вновь просмотрѣнное по рукописямъ

ТОМЪ ПЯТЫЙ

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ

ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

С. ПЕТЕРБУРГЪ
Гостиный дворъ, № 18

МОСКВА
Кузнецкій мостъ, № 12

1897

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

ВЛАДИМІРА ДАЛЯ

(КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

Первое посмертное полное изданіе, дополненное, свѣренное и вновь просмотрѣнное по рукописямъ

ТОМЪ ПЯТЫЙ

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ

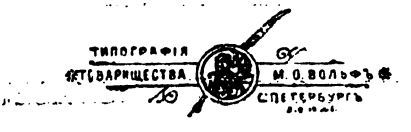
ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

С. ПЕТЕРБУРГЪ
Гостиный дворъ, № 18

МОСКВА
Кузнецкій мостъ, № 12

1897

891.73
D131
v. 5



Дозволено цензурою 20-го сентября 1897 г. Редакторъ-издатель А. М. Вольфъ.

ПОВѢРКА

Было, говорятъ, гдѣ-то и когда-то присутственное мѣсто, въ которомъ засѣдало, между прочимъ, нѣсколько членовъ изъ купечества. Люди эти, нельзя сказать, чтобы охотой на службу пошли: у каждаго изъ нихъ, кромѣ общаго блага, и свое собственное также было на умѣ; а служба, конечно, отнимала у нихъ много времени и заставляла иногда поневолѣ запускать свои дѣла. Лишь бы польза въ томъ была, такъ это бы все ничего: извѣстно, что собственнымъ своимъ благомъ надо жертвовать для блага общаго.

По обычному въ то время и въ тѣхъ мѣстахъ порядку, господа члены эти не знали дѣла, да и не допускались вовсе секретаремъ къ дѣламъ, и, правду сказать, сами не очень о томъ тужили; они охотно принимали на себя сообща разныя издержки и пособія, лишь бы ихъ не слишкомъ отрывали отъ своихъ дѣлъ и не подвели, при случаѣ, подъ обухъ. Подписать журналъ и десятокъ-другой бумагъ — это ихъ не чрезчуръ обременяло, собенно, если не было никакихъ постороннихъ, непріятныхъ и неумѣстныхъ настояній о предварительномъ прочтеніи подписываемаго. Все это досаждаетъ, потому что отнимаетъ время, обременяетъ голову, вводитъ иногда въ раздумье и при-

томъ ни къ чему не служитъ, какъ уже было дознано на опытѣ нашими членами неоднократно въ прежніе годы ихъ служенія. «Пробовалъ, братецъ, и читать», — отвѣчалъ одинъ изъ нихъ на совѣтъ пріятеля:—«да еще хуже выходитъ». Поэтому, роковые горюны отбывали свое трехлѣтіе, ходили во все это время подъ страхомъ Божіимъ и человѣческимъ, и если все благополучно проходило, то служили три молебна, на которыхъ, какъ замѣчено было всѣми, молились отъ избытка чувствъ и клали земные поклоны отъ усердія души, потомъ задавали обѣдъ, не жалѣя издержекъ, и предавались опять спокойно мирнымъ своимъ занятіямъ. Нѣкоторые, однако же, по какимъ-либо тревожнымъ случаямъ, сходили съ этого достохвальнаго поприща—если не калѣками, то по крайней мѣрѣ инвалидами, пожертвовавъ отечеству здоровьемъ своимъ и нѣсколькими годами жизни. Такъ бывали примѣры небольшихъ параличей, оставшагося навсегда біенія сердца и другихъ большею частію нервическихъ недуговъ, которые услаждались для пріобрѣтателей ихъ развѣ одною только пользой, которую приносила такъ называемая общественная служба ихъ всему страждущему человѣчеству.

При такомъ положеніи дѣлъ, милостивцы наши продали себя, такъ сказать, секретарю, казначею, а отчасти и небольшому числу прочихъ чиновниковъ, которые распоряжались по собственному усмотрѣнію, застращивая членовъ, въ случаѣ какихъ-либо неумѣстныхъ сомнѣній, входящими и исходящими нумерами и шнуровыми книгами. И члены дѣлались послушными, смирными и покорными, не спорили, а молили только Бога, чтобы трехлѣтіе благополучно миновалось.

Однажды, начальникъ узналъ стороной, что въ оговоренномъ нами мѣстѣ для строгаго и разборчиваго

критика нашлось бы кой-гдѣ и кой-въ-чемъ по сучку и по задоринкѣ; а главное, что хуже всего, будто бы и казна поступала въ ящикъ, подъ ключи и печати, только временно, на одни сутки, наканунѣ урочнаго свидѣтельства; въ остальное же время казна эта была не мертвымъ, а живымъ капиталомъ, обращаясь тутъ и тамъ по рукамъ и принося казначею и секретарю небольшіе проценты. Чиновники эти были такъ снисходительны, что дозволили даже и самимъ членамъ затыкать повременамъ этими деньгами дыры по торговымъ ихъ оборотамъ, съ тѣмъ, однако же, какъ само собою разумѣется, чтобы члены эти, въ поощреніе на будущее время, платили за это и секретарю и казначею, каждому порознь, процента по два или по три на мѣсяцъ.

Объ этомъ-то узналъ мѣстный начальникъ. Не желая лѣзть въ петлю за другихъ, онъ тотчасъ принялъ втихомолку свои мѣры. Ему бы ничего не стоило, какъ говорится, накрыть виновныхъ мокрымъ рядномъ; онъ могъ нагрянуть тотчасъ же съ шумомъ и громомъ, какъ снѣгъ на голову, потребовать казначея, секретаря, членовъ, освидѣтельствовать казну, заключить протоколъ объ отсутствіи ея, отдать всѣхъ ихъ подъ судъ и проч.; но все это, какъ самъ онъ выражался, не обѣщало ему никакой пользы, кромѣ одного лишь вреда: при начетѣ и раскладкѣ, ему бы и самому не миновать своей доли, а за этимъ онъ вовсе не гонялся. И такъ, онъ началъ съ того, что сталъ поговаривать о безпорядкахъ, которые, какъ-де слухи до него доходятъ, оказываются вотъ въ такомъ-то мѣстѣ. «Надобно добраться до этихъ господъ»,—продолжалъ онъ,—«надобно порядкомъ до нихъ добраться: въ первыхъ числахъ будущаго мѣсяца непремѣнно буду тамъ и освидѣтельствую также казну». Онъ съ намѣреніемъ далъ довольно большой срокъ, чтобы успѣли пригото-

виться и въ особенности собрать и внести деньги. Дня за три, онъ сказалъ, наконецъ, своимъ приближеннымъ, что въ такой-то день, часовъ въ 10 утра, хочетъ туда нагрянуть. Онъ зналъ положительно, что все это будетъ передано туда отъ слова до слова въ тотъ же день, и потому спокойно выжидалъ назначенный имъ самимъ срокъ.

Прибывъ на мѣсто, начальникъ принялъ видъ, будто намѣренъ повѣрять дѣлопроизводство, началъ заглядывалъ въ настольный, потомъ во входящій, требуя на выдержку отчета по нѣкоторымъ нумерамъ. Затѣмъ вошелъ онъ въ присутствіе, занялъ мѣсто и просилъ членовъ продолжать свои занятія. Несмотря на троекратное повтореніе этой просьбы, т. е. приказанія, члены могли только отвѣчать подобострастнымъ поклономъ, взглянувшись между собою въ страшномъ недоумѣніи: обыкновенныя ихъ занятія состояли въ балагурствѣ такого рода, которое вовсе неудобно было продолжать въ присутствіи строгаго начальника. Онъ обратился къ секретарю, указалъ на неразрѣшенныя бумаги, лежавшія отдѣльной кипой на столѣ, и приказалъ читать ихъ, обыкновеннымъ порядкомъ, какъ онъ выразился, хотя это здѣсь вовсе не былъ порядокъ обыкновенный.

Секретарь прочиталъ одну бумагу, начальникъ остановилъ его и спросилъ младшаго члена, какъ онъ думаетъ ее разрѣшить? Этотъ, не могши найтись въ такихъ трудныхъ и небывалыхъ обстоятельствахъ, счелъ за лучшее поклониться и отмолчаться. На повторенный вопросъ послѣдовалъ тотъ же отвѣтъ. Начальникъ обратился къ слѣдующему члену, съ вопросомъ о его мнѣніи, но успѣхъ былъ тотъ же: глубокое молчаніе. Тогда начальникъ обратился къ третьему и сказалъ:—«ну, а вы, я думаю, также одного мнѣнія съ этими господами?...»

Затѣмъ начальникъ всталъ, потребовалъ казначея, стряпчаго, спросилъ ключи, печать и пошелъ съ полнымъ присутствіемъ свидѣтельствовать казну. Онъ очень хорошо зналъ, что все было на этотъ случай пополнено и деньги собраны, хотя съ трудомъ, и притомъ только на нѣсколько дней. Сумма была большая, и, впрочемъ, оказалась вся въ наличности. Тогда, похваливъ всѣхъ за исправность эту, въ которой-де онъ и никогда не сомнѣвался, начальникъ пригласилъ всѣхъ присутствовавшихъ приложить къ сундуку свои печати, а равно приложилъ и свою собственную, и нашелъ болѣе удобнымъ, для избавленія членовъ отъ значительной отвѣтственности, особенно по недостатку особаго караула, передать денежный сундукъ для храненія на главную гауптвахту. Начальникъ не поскучалъ обождать до исполненія на дѣлѣ при немъ же этого распоряженія. Вслѣдъ затѣмъ казначей былъ уволенъ.

У многихъ при этомъ, какъ говорится, лица вытянулись по шестую пуговицу; но деньги были спасены. Какимъ образомъ потомъ дѣйствительные и страдательные соучастники этой наличности между собою разсчитались—этого я не знаю.

БѢГЛЯНКА

Услужливый и толковый проводникъ по землѣ турецкой привезъ меня къ ночлегу въ русскую деревню. Поразительно было встрѣтить тутъ всѣ обычаи и весь бытъ русскій, коренной, исконный, который даже не всегда и вездѣ можно найдти въ Россіи. Изба и почти вся утварь русскія, только посуда частію мѣдная, луженная внутри и снаружи, а частію глиняная, превосходной выдѣлки и вида; не горшки, а античные кувшины, урны и вазы...

Хозяинъ мой былъ расторопный мужичина, который обрадовался русскому гостю, много разспрашивалъ и самъ разсказывалъ и увѣрялъ, между-прочимъ, будто онъ уже родился въ Турціи, тогда-какъ, глядя на эту кулебяку съ бородой, въ красной рубахѣ, поневолѣ казалось, что она вотъ только-что перенесена за Дунай изъ-подъ Москвы.

Другой землякъ вошелъ въ избу, перекрестился по-нѣмецки и позвалъ хозяина съ собой. Осталась хозяйка, молодая, очень-видная женщина, въ русскомъ платьѣ, которой голосу я дотолѣ еще не слышалъ. Когда хозяинъ ушелъ, я заговорилъ съ нею, спросивъ ее, куда его позвали. «Тамъ какой-то старикъ пріѣхалъ», отвѣ-

чала она, «уставщикъ, такъ къ нему; они теперь тамъ всю ночь просидятъ.» По первому слову ея видно было, что синій сарафанъ носитъ она не съ дѣтства, и даже не слишкомъ давно, промѣнявъ на него запаску или плахту. Я сказалъ ей смѣючись, что она изъ Новороссійскаго края и чуть-ли не Херсонской губерніи. Она тяжело вздохнула, какъ-будто не вывела вздоха, робко оглянулась кругомъ, хотя и знала, что тутъ никого болѣе нѣтъ, вдругъ зарыдала, упала мнѣ въ ноги и взмолилась: «паночку, возьмите меня съ собой, что хотите заставляйте дѣлать, я буду вѣковѣчная работница ваша, только возьмите меня отсюда!...»

Нѣсколько успокоивъ ее съ трудомъ, я сталъ ее разспрашивать и, благодаря продолжительному отсутствію хозяина, безъ труда узналъ всю жалкую и любопытную жизнь бѣдной Домахи, которую здѣсь перекрестили, не знаю, по какимъ примѣтамъ и соображеніямъ, въ Улиту.

— Я точно херсонская, вотъ изъ такого-то мѣста, выросла въ деревнѣ, говорила она:—а пятнадцати лѣтъ взята была во дворъ. Барыня полюбила меня, и когда, года черезъ три, стали просить меня добрые люди за сыновей своихъ, то барыня отказала и тому и другому, сказавъ мнѣ, что для меня будетъ женихъ хорошій. Ну, воля барская, подумала я: хорошій такъ хорошій; а мнѣ еще лучше посидѣть въ дѣвкахъ, не надокучило. На селѣ у насъ былъ прикащикъ, изъ крестьянъ же, старикъ трезвый, хорошій и таки не безъ добра: всѣ знали, что у него, кромѣ полнаго хозяйства и двухъ плуговъ воловъ, есть еще и хорошія деньги. За него ли барыня меня прочила—не знаю; но только какъ прошелъ Покровъ, да старосты пошли съ посошками по селу, такъ прикащикъ нашъ поклонился барынѣ въ ноги и сталъ просить меня за второго сы-

на, за Стецька. Барыня согласилась и стали меня готовить къ свадьбѣ.

«Стецько былъ человѣкъ хорошій, въ отца, а отецъ его богатъ, такъ мнѣ всѣ стали завидовать. Отца у меня не было, а мать плакала, радуясь моей долѣ. Глядя на людей, и я не тужила, и даже было повѣрила имъ, что вотъ Богъ даетъ мнѣ счастье.

«Сказать правду, Стецько былъ человѣкъ хорошій и любилъ меня; безъ малаго годъ жили мы своимъ хозяйствомъ, какъ живутъ добрые люди. Хорошо мнѣ было тогда; и теперь, припоминая былое, не вѣрится, что было когда-то хорошо. Не въ волѣ счастье, а въ долѣ. Вдругъ откуда ни взялся недобрый человѣкъ... Богъ ему судья... онъ и погубилъ насъ.

«Мужъ мой, бывало, трезвый, тихій, работящій, воротился въ одинъ вечеръ съ работы, какъ ровно самъ не свой, и всю ночь прошатался либо въ шинкѣ, либо и сама не знаю гдѣ, а утромъ воротился и завалился спать; тамъ опять куда-то ушелъ, а ночью сказалъ мнѣ, что хочетъ на волю въ туречину, гдѣ нѣтъ ни некрутчины, ни податей; гдѣ винограда, меда и молока вволю, и гдѣ наши русскіе, живутъ какъ въ раю. Много онъ еще насказалъ мнѣ, что тамъ-де нѣтъ и работы, а всѣ лежебоки и всѣ отъ султана большое жалованье получаютъ, а земля такая, что все сама родитъ, а народу воля на всѣ четыре стороны, ступай куда хочешь. Я такъ и ахнула, заплакала было, но онъ на меня прикрикнулъ, какъ еще со дня свадьбы нашей не случалось, и велѣлъ молчать да собираться. Самъ онъ еще пробѣгалъ сутки двои, какъ бѣшеный, что и я въ немъ не могла узнать того человѣка, какимъ онъ былъ прежде; даже раза два страшно пригрозился на меня, когда я стала просить его, чтобы остался да забылъ бы туречину, и стращалъ, что убьетъ меня, если я кому хоть слово скажу.

«У мужа своихъ денегъ было ста три; а какъ продавать все хозяйство ему нельзя было, чтобъ люди не догадались о недобромъ его замыслѣ, то онъ только продалъ потихоньку пару воловъ, да въ ту ночь, какъ уже совсѣмъ мы собрались, взялъ у отца двѣсти рублей, да покинулъ ему записку, повинился во всемъ, просилъ, чтобъ не искали его, что онъ-де ушелъ на вольную сторону, чтобъ отецъ не клепалъ за деньги на другихъ людей, а взялъ бы за эти деньги все наше хозяйство, и хлѣбъ, и скотинку. Тамъ просилъ онъ въ письмѣ и отцовскаго благословенія—да гдѣ ужъ на такое дѣло благословить отцу! Охъ, не было тутъ его благословенія!» сказала она и сама залилась опять слезами.

«Вотъ, о полуночи, забравъ мѣшки съ хлѣбомъ, которые припасли мы на дорогу, помолились мы и пошли. Я не знала, куда и зачѣмъ мы идемъ, и только путемъ объ этомъ услыхала отъ мужа. Давнишній бродяга—прости, Господи мое согрѣшеніе!—который давно уже ушелъ изъ-подъ Москвы туда къ намъ, въ Херсонскую, а оттолѣ вотъ сюда, въ туречину, пришелъ съ Дунаю на дубу, стоялъ въ лиманѣ въ камышахъ, и колобродилъ по шинкамъ и базарамъ, подбивая народъ идти съ нимъ въ туречину. Онъ-то, вишь, подбилъ мужа моего, царство ему небесное, и наговорилъ ему обманомъ про турецкую землю, что про рай земной. Не стерпѣла я, стала плакать еще разъ и просить мужа, чтобъ раздумалъ, да не вѣрилъ бы такому шатуну; такъ онъ, сердечный, инно меня ударилъ... ударилъ впервые и впослѣдніе, и Богъ ему это проститъ, и не для жалобъ говорю я объ этомъ, а къ тому только, батюшка, что тихій, смирный былъ онъ человѣкъ, никогда никого не обижалъ, а меня даже словомъ никогда не тронулъ; а тутъ вотъ, какъ попала дурь эта въ голову, такъ и самъ не свой, и самъ не знаетъ, что дѣлаетъ...

«Шли мы во всю ночь, со свѣтомъ залегли въ камышахъ, пролежали опять до ночи, тамъ пошли и пришли до свѣта на это мѣсто, гдѣ, по примѣтамъ, долженъ былъ стоять за камышами дубъ; тутъ ломились мы камышами по плавнѣ, часа три; изъ силъ выбились, такъ-что бросили было и хлѣбъ; отходнувъ, однако, пошли еще далѣе, по звѣздамъ, потому-что идешь по колѣни и по поясъ въ водѣ, а камыши лѣсомъ стоятъ, такъ-что свѣту Божьяго не видать, ну вышли мы, наконецъ, на самый берегъ лимана. Не услышалъ Богъ молитвы моей; а я молчу, говорить не смѣю ничего, только молюсь: Господи, умилосердись надъ нами, дай намъ Богъ заплутаться тутъ, чтобъ и до вѣку не найдти ни дубка, ни хозяина его, а пошатавшись бы воротиться опять домой... нѣтъ: какъ только стала заниматься заря, то увидали мы въ сторонѣ, подъ берегомъ, этотъ злыдарный дубъ...

«Хозяинъ принялъ насъ ласково, обрадовался намъ, поднесъ вина—и мужъ меня заставилъ выпить—«вотъ», сказалъ тотъ, «видишь ли каково винцо? а и оно тамъ вольное, хоть самъ кури, хоть пей, хоть лей, хоть пожалуй шинкуй, ни на что нѣтъ запрету! А что», спросилъ онъ, когда поднесъ мужу, который бывало, не пилъ вовсе, другой стаканъ: «а что, братъ, скажи правду, собралъ деньжонокъ сколько-нибудь? Вѣдь безъ денегъ нигдѣ не живется: вездѣ плохо! Мужъ мой и похвались ему, что сотъ шесть будетъ, да и ударилъ себя рукой по груди, гдѣ лежали деньги въ сумочкѣ. Хозяинъ обрадовался, это-де хорошо: вотъ заживешь, говоритъ, такъ заживешь, тамъ на эти деньги и дворъ, и землю купишь, и садъ и огороды, и все, что твоей душѣ угодно... вотъ заживешь, такъ ужъ будешь вѣкъ меня помнить...» Охъ! продолжала она: и точно, что заставилъ ты себя помнить, попутай и накажи тебя

Богъ!.. Да нѣтъ, такіе, какъ ты, живутъ, а вотъ мужа моего сардечнаго ужь нѣтъ на свѣтѣ!

«На другую ночь, мы снялись съ якоря и вышли въ лиманъ. Такихъ же, какъ мужъ мой, что сманили отъ господъ на волю, было еще три человѣка, вотъ, что вы у насъ работника видѣли, такъ это одинъ изъ нихъ — а молодица я одна только была: тѣ, кто холостой, а кто жену покинулъ да ушелъ одинъ. На дубу было съ хозяиномъ также три человѣка. Ночь прошла благополучно, а днемъ плыли мы недалеко: подошедши же подъ камыши, тамъ притаились. Вечеромъ опять снялись да пошли; и вѣтеръ и теченіе были попутные, такъ мы къ свѣту и вышли въ море. Насталъ опять вечеръ — и хозяинъ принялся поить гостей своихъ, будто радуясь, что благополучно ушли. Всѣ перепились и уснули. Я долго сидѣла и плакала, мужъ на меня разсердился и прогналъ меня; такъ я и свернулась и улеглась на другомъ концѣ дуба, на носу, а они спали въ кормѣ. Съ зарей я проснулась, поглядѣла туда — еще спятъ всѣ. Немного погодя, я опять поглядѣла—что-то больно жаль стало мнѣ мужа — тѣ проснулись: кто сидѣлъ, кто ходилъ, а Степана не видать. Сердце такъ во мнѣ и заныло, словно тѣсно ему стало; что такое, по чемъ и по комъ—и сама не знаю. Поглядѣла я еще, пошла въ корму, пересмотрѣла всѣхъ—нѣтъ моего муженька... я къ одному, къ другому—всѣ молчатъ... Господи, что такое сталось надъ нами грѣшными? проклятые, что они надъ нимъ сдѣлали? За тѣмъ-то и спрашивали они, много ли у тебя денегъ... Упоивъ его, хозяинъ снялъ съ него кожаный карманъ, а самаго выкинулъ въ море... Господи, упокой грѣшную душу его, прости и помилуй его, хоть за мученическую смерть!..»

Она было замолчала, залившись слезами, а немного погодя опять взмолилась, чтобъ я ее увезъ въ Россію.

«Шли мы во всю ночь, со свѣтомъ залегли въ камышахъ, пролежали опять до ночи, тамъ пошли и пришли до свѣта на это мѣсто, гдѣ, по примѣтамъ, долженъ былъ стоять за камышами дубъ; тутъ ломились мы камышами по плавнѣ, часа три; изъ силъ выбились, такъ-что бросили было и хлѣбъ; отходнувъ, однако, пошли еще далѣе, по звѣздамъ, потому-что идешь по колѣни и по поясъ въ водѣ, а камыши лѣсомъ стоятъ, такъ-что свѣту Божьяго не видать, ну вышли мы, наконецъ, на самый берегъ лимана. Не услышалъ Богъ молитвы моей; а я молчу, говорить не смѣю ничего, только молюсь: Господи, умилосердись надъ нами, дай намъ Богъ заплутаться тутъ, чтобъ и до вѣку не найдти ни дубка, ни хозяина его, а пошатавшись бы воротиться опять домой... нѣтъ: какъ только стала заниматься заря, то увидали мы въ сторонѣ, подъ берегомъ, этотъ злыдарный дубъ...

«Хозяинъ принялъ насъ ласково, обрадовался намъ, поднесъ вина—и мужъ меня заставилъ выпить—«вотъ», сказалъ тотъ, «видишь ли каково винцо? а и оно тамъ вольное, хоть самъ кури, хоть пей, хоть лей, хоть пожалуй шинкуй, ни на что нѣтъ запрету! А что», спросилъ онъ, когда поднесъ мужу, который бывало, не пилъ вовсе, другой стаканъ: «а что, братъ, скажи правду, собралъ деньжонокъ сколько-нибудь? Вѣдь безъ денегъ нигдѣ не живется: вездѣ плохо! Мужъ мой и похвалился ему, что сотъ шесть будетъ, да и ударилъ себя рукой по груди, гдѣ лежали деньги въ сумочкѣ. Хозяинъ обрадовался, это-де хорошо: вотъ заживешь, говорятъ, такъ заживешь, тамъ на эти деньги и дворъ, и землю купишь, и садъ и огороды, и все, что твоей душѣ угодно... вотъ заживешь, такъ ужь будешь вѣкъ меня помнить...» Охъ! продолжала она: и точно, что заставилъ ты себя помнить, попутай и накажи тебя

Богъ!.. Да нѣтъ, такіе, какъ ты, живутъ, а вотъ мужа моего сардечнаго ужь нѣтъ на свѣтѣ!

«На другую ночь, мы снялись съ якоря и вышли въ лиманъ. Такихъ же, какъ мужъ мой, что сманили отъ господъ на волю, было еще три человѣка, вотъ, что вы у насъ работника видѣли, такъ это одинъ изъ нихъ — а молодица я одна только была: тѣ, кто холостой, а кто жену покинулъ да ушелъ одинъ. На дубу было съ хозяиномъ также три человѣка. Ночь прошла благополучно, а днемъ плыли мы недалеко: подошедши же подъ камыши, тамъ притаились. Вечеромъ опять снялись да пошли; и вѣтеръ и теченіе были попутные, такъ мы къ свѣту и вышли въ море. Насталъ опять вечеръ — и хозяинъ принялся поить гостей своихъ, будто радуясь, что благополучно ушли. Всѣ перепились и уснули. Я долго сидѣла и плакала, мужъ на меня разсердился и прогналъ меня; такъ я и свернулась и улеглась на другомъ концѣ дуба, на носу, а они спали въ кормѣ. Съ зарей я проснулась, поглядѣла туда — еще спятъ всѣ. Немного погодя, я опять поглядѣла—что-то больно жаль стало мнѣ мужа — тѣ проснулись: кто сидѣлъ, кто ходилъ, а Степана не видать. Сердце такъ во мнѣ и заныло, словно тѣсно ему стало; что такое, по чемъ и по комъ—и сама не знаю. Поглядѣла я еще, пошла въ корму, пересмотрѣла всѣхъ—нѣтъ моего муженька... я къ одному, къ другому—всѣ молчатъ... Господи, что такое сталось надъ вами грѣшными? проклятые, что они надъ нимъ сдѣлали? За тѣмъ-то и спрашивали они, много ли у тебя денегъ... Упоивъ его, хозяинъ снялъ съ него кожаный карманъ, а самаго выкинулъ въ море... Господи, упокой грѣшную душу его, прости и помилуй его, хоть за мученическую смерть!..»

Она было замолчала, залившись слезами, а немного погодя опять взмолилась, чтобъ я ее увезъ въ Россію.

Я просилъ ее досказать, что же сталось потомъ съ прочими и въ особенности съ нею самою. «Да чтожь!» сказала она, подгорюнясь: «богатаго-то мужика сманивъ обобрали да утопили, а бѣдныхъ взяли въ кабалу: насчитали на нихъ за хлѣбъ, за провозъ, да просятъ еще деньги, за то-де, что увезли на волю, да въ вѣковѣчные работники и взяли ихъ; вотъ тебѣ и воля. А имъ, бѣднымъ, тутъ куда дѣваться? Все одна шайка, эти старые бродяги, всѣ за одного стоятъ, пожалуй, еще убьютъ, не что возьмешь.»

— Ну, а ты же, какъ живешь?

— Да какъ, батюшка,—сказала она и опустила голову, будто не смѣла глядѣть на меня прямо, и тяжело вздохнула;—извѣстно, наше дѣло сиротское, такъ вотъ и живу.

— Да у кого же ты живешь?

— У хозяина.

— У какого хозяина?

— Да у того самого, что мужа-то сгубилъ, батюшка, что приходилъ за нами на дубу въ лиманъ; это онъ самый и есть... (Она робко оглянулась и снова залилась слезами.) Горькая участь моя, баринушка! и утопиться-то не дали мнѣ, когда я хотѣла было кинуться въ море, туда же, гдѣ безбожники утопили бѣднаго Степана; хозяинъ сперва обманывалъ меня, сталъ божиться, что мужъ мой переселъ ночью на другой встрѣчный дубъ, и что мы его уже застанемъ здѣсь. Когда прибыли мы сюда, такъ стали утѣшать меня, что мужъ мой скоро будетъ, а послѣ сказали, что онъ пьяный утопился. Да нѣтъ, не вѣрила я имъ съ самаго начала: чуяло сердце мое, что они надъ нимъ сдѣлали. Разъ, одинъ работникъ нашъ, какъ хозяина не было дома, сталъ тосковать да каяться, что зачѣмъ послушался недобраго человѣка да ушелъ сюда — и сталъ было онъ меня подговаривать бѣжать

съ нимъ, да и признался мнѣ, что хоть и былъ самъ въ то время хмѣленъ, а видѣлъ и помнитъ, что Степана обобрали и утопили.

— А ты какъ же тутъ живешь?—продолжалъ я допытываться: — тоже работницей, или какъ?

— Да,—отвѣчала она, будто нехотя: — и работаю, что въ домѣ нужно, извѣстно по хозяйству... только что грѣха много на душу приняла... Неволя, барынушка, сами знаете, нашей сестрѣ одной куда дѣваться, когда своей воли нѣтъ!..—И зарыдала снова, и опять стала проситься со мной.—Онъ держитъ меня замѣстъ хозяйки,—продолжала она, успокоившись немного:—и что я перенесла побоевъ, когда я не соглашалась на волю его, такъ ужь я и не знаю, какъ жива осталась...

Тутъ хозяинъ воротился, вошелъ спокойно въ избу, а Домаха, отворотившись, занялась хозяйствомъ и скрыла тревожное свое положеніе. Хозяинъ подсѣлъ ко мнѣ ласково и весело, сталъ бесѣдовать и разспрашивать о всякой всячинѣ и выпроводилъ меня утромъ съ поклонами и пожеланіями, помянувъ нѣскользо разъ Бога, безъ котораго, по его словамъ, ни до порога, и отъ котораго онъ желалъ мнѣ и самъ себѣ ждалъ, коли Его святая воля будетъ, всякаго благополучія...

ВОРЪ

— Вотъ сторона,—сказалъ пономарь, вошедши въ избу свою, гдѣ у него сидѣло нѣсколько гостей: — вотъ сторонка! а, чтобъ ихъ!.. У меня ночью съ телѣжонки колесо сняли! Вотъ не дрогнули бы руки этакого мошенника на первой осинѣ повѣсить, какъ окаяннаго!

— Оно правда, — сказалъ одинъ изъ гостей, старикъ съ почетной бородой: — что воровство ремесло плохое, и ворамъ спускать нечего; однако, сватушко, не проклинай его: воръ вору рознь.

— Какъ такъ? — спросилъ пономарь: — спасибо, что-ль, я ему скажу, что онъ у меня, мошенникъ этакой сущій, укралъ колесо? Какъ же такъ, что по твоему воръ вору рознь? По мнѣ укралъ, такъ укралъ, и на осину его!

— А вотъ какъ, сватушко: примѣромъ сказать, коли воръ твой, что снялъ у тебя колесо съ телѣжонки, надѣлъ его подъ свою телѣгу, по нуждѣ, да на немъ уѣхалъ, такъ это одно дѣло; коли онъ продалъ его, да купилъ хлѣба, такъ это другое; а коли онъ пропилъ его, отдалъ за стаканъ вина — такъ это опять третье; а еще, сватъ, вѣдь и это не одно, наткнулся

ли воринко твой на этотъ грѣхъ, или за тѣмъ пошелъ; въ первый ли разъ его понутало, аль ему дѣло это привычное.

— Правда,—сказалъ третій гость:—вѣдь убить человѣка—не шутка, не воровству чета, да и то не ровенъ часъ, не ровенъ случай. Сказываютъ бывальщинку къ этому случаю, что-де какой-то курскій воръ сталъ грабить хохла, подсидѣвъ его на большой дорогѣ; хохолъ такъ оробѣлъ, что не смогъ и противиться: курянинъ повалилъ мужика, прижалъ колѣномъ да, выхвативъ ножъ, положилъ его подлѣ на землю, снялъ шапку, перекрестился и сказалъ: «Господи, благослови *гороховаго!*» Какъ хохолъ мой услышалъ это, такъ откуда у него рысь взялась: исплошивъ курянина, выскочивъ изъ-подъ него да поваливъ его самого, онъ насѣлъ на него, да ухвативъ ножъ, сказалъ: «Господи, благослови *первато и послѣдняго!*» Такъ тутъ не одно, что курянинъ бы зарѣзалъ хохла, аль хохолъ курянина.

— Это другое дѣло, — возразилъ пономарь: — извѣстно, для спасенія живота своего всякая тварь подагательствуетъ; за это и Богъ проститъ, а вору всякая мука по-дѣломъ, воръ идетъ на то, чтобъ человѣка обидѣть, вопреки законовъ божескихъ. Сказано: не укради; воръ всяческое разореніе чинитъ и не кается, злобствуетъ противу рода человѣческаго; повѣшенный, что наряженный, кто разъ укралъ, воровать не перестанетъ; исправленіе вору—петли да осиновый кусъ.

— Постой-же, сватушко,—остановилъ его первый: — ты выслушай теперь мою бывальщину! Не о колесѣ твоемъ рѣчь: кто его укралъ, можетъ статься, и стоитъ того, что ты ему сулишь,—про это я ничего не знаю; да за споромъ дѣло стало, такъ выслушай теперь, что я тебѣ скажу.

«Жилъ-былъ богатый мужикъ; что ему дѣлается—всего вдоволь, такъ что въ избѣ тѣсно всему добру; онъ пристроилъ клѣть, да туда и сложилъ все залишнее. Богатому не спится, богатый вора боится, такъ и нашъ мужичекъ, нѣтъ-нѣтъ, да и выглянетъ опять ночью на дворъ, чтобъ не было изъяну. Разъ также вышелъ онъ, да и сталъ прислушиваться; ему послышалось, будто кто прошелъ подлѣ клѣти, словно солома подъ ногами прошелестѣла. Притаивъ духъ, хозяинъ мой опять услышалъ какой-то шорохъ и пошелъ красться, какъ подъ волка. Добравшись до клѣти, онъ сталъ поглядывать изъ-за угла: анъ кто-то смотритъ на него изъ-за другого угла. Хозяинъ откачнулся за уголъ, подумалъ, да опять выглянулъ, а тотъ то же себѣ, да опять-таки на него глядитъ. Не знаю, долго ль они этакъ въ переглядушки играли, только что воръ сталъ посмѣлѣе, высунулся на половину — и хозяинъ тоже, и глядятъ другъ другу прямо въ глаза.—«Что, братъ», спросилъ воръ потихоньку: «и ты никакъ на промыселъ вышелъ?» — Не што, землякъ, какъ видишь. — «Такъ пойдемъ, братъ, вмѣстѣ: и добыча, и грѣхъ, и горе,—все пополамъ.» — Ладно, пойдемъ, да куда же? — «Да не знаю, братъ; я-то человѣкъ небывалый, признаться, еще въ первый разъ вышелъ — и страшно, да нечего дѣлать; давай вотъ ломать клѣть; это хозяинъ богатый, что-нибудь да найдемъ». Ты въ первый, подумалъ хозяинъ:—такъ погоди-жь, я тебя отважу—въ другой разъ не пойдешь. «Пожалуй, давай,—сказалъ онъ, — да чѣмъ ломать? есть у тебя что?» — «Нѣту, братъ, ничего; развѣ поискать тутъ плахи какой да высадить дверь.» — «Погоди-ка, сказалъ хозяинъ:—у меня вотъ есть отмычки; я, видно, позапаслив̀ѣе тебя; авось не придется ли которая».—Самъ досталъ съ пояса ключъ и отомкнулъ клѣть. Вошли. Вотъ,—говоритъ хозяинъ: — сундукъ стоитъ, ломай — а самъ

пошелъ въ сторону, пошаритъ топора, либо безмена, чтобъ окрестить имъ вора. «Богъ съ нимъ», говоритъ этотъ: «и съ сундукомъ; мнѣ бы вотъ хлѣбушка найти — а тутъ-таки пахнетъ, братъ, свѣжимъ хлѣбомъ»—и пошелъ, потягивая носомъ.—Постой, сказалъ хозяинъ, вотъ я нашелъ,—и подалъ ему съ полки хлѣбъ—а тотъ кинулся на хлѣбъ этотъ, ухвативъ его обѣими руками, и давай улетать.—Что ты? не ужиналъ нонѣ, что ли? спросилъ хозяинъ, у котораго безменъ былъ уже въ рукѣ. «Какой ужинъ!» сказалъ воръ, а самъ, знай, ломаетъ да въ ротъ суетъ: «у меня, братъ, другія сутки, кромѣ воды, ничего во рту не было, отощалъ совсѣмъ.» Поѣвъ немного, онъ перекрестился, забралъ съ полки цѣлый хлѣбъ, да еще, начатой, который надъѣлъ, и хочетъ идти. — Что же ты? спросилъ еще разъ хозяинъ:—заберемъ тутъ еще что подъ руку попадется: тутъ добра много! «Богъ съ нимъ и съ тобою», сказалъ воръ: «и самъ не хочу, и другому закажу: слава Богу, что я до хлѣба добрался, на недѣльку будетъ съ меня, а болѣе ничего не надо.» — Ну, такъ поди-же сюда, возьми вотъ мѣшечекъ муки до отнеси домой, не бойся никого: кто спроситъ, такъ скажи, что хозяинъ далъ.—«Какъ хозяинъ? какой хозяинъ?—спросилъ оробѣвшій воръ.—Да, братъ, хозяинъ, вотъ онъ передъ тобой, и припасъ было на тебя обухъ! — Воръ какъ стоялъ, такъ и повалился ему въ ноги. — «Батюшка, не погуби!»—Вставай, я говорю, — сказалъ хозяинъ, — бери хлѣбъ свой, бери и муку и ступай съ Богомъ домой: счастливъ ты, что не позарился на другое добро; да смотри у меня, — прибавилъ онъ, взваливая мѣшечекъ муки ему на плечо и показывая ему безменъ, котораго не выпускалъ изъ рукъ:—смотри, чтобъ впередъ нога твоя не была здѣсь, а не то я тебѣ дамъ памятку... Воръ откланялся, побожился и зарекся, что въ не-

вый и въ послѣдній пошелъ на такое дѣло, перекрестился и пошелъ смѣло домой.

И пономарь согласился, что воръ вору — розынь и что нельзя безъ суда присуждать всякаго вора на осину.

СУХАЯ БѢДА

Послѣ скучнаго зимняго переѣзда, прибылъ я въ чувашскую деревеньку, гдѣ приходилось ночевать. Избушки, казалось, вросли въ землю; ихъ такъ занесло сугробами снѣга, что проѣзжіе, безъ малѣйшаго преувеличенія, глядѣли съ дороги въ крестьянскіе дворы, какъ съ горы въ пропасть, и легко могли бы вывалиться изъ саней, черезъ тынъ или кровлю, на такой крестьянскій дворъ. Дымъ валилъ изъ трубъ тутъ и тамъ изъ-подъ снѣга, и я невольно припомнилъ сказочныя преданія о затопленныхъ деревняхъ съ церквами.

Меня привезли, по указанію, въ лучшую избу. Кому случалось гостить у чувашъ, тотъ знаетъ, что такое лучшая чувашская изба: это курная русская избенка, во всѣхъ отношеніяхъ худшая изъ дурныхъ. Хозяинъ хотѣлъ мнѣ подать такъ называемаго квасу, пошелъ его искать подъ лавкой, досталъ оттуда деревянную чашку и подалъ ее мнѣ; я ему указалъ на плававшую въ квасу мертвую мышь; онъ взглянулъ, мигнулъ ее пальцами подъ лавку, поставилъ чашку сторонѣ, и пошелъ, чтобы мнѣ зачерпнуть квасу

въ другую посудину. «Не трудись», сказалъ я ему: «не надо; да скажи, пожалуй, для чего же ты не выплеснешь изъ чашки этотъ квасъ? Нешто ты станешь его пить?»—Ничего, отвѣчалъ онъ: слѣпая отецъ на печи есть, *она* выпьетъ.

Мнѣ хотѣлось ѣсть и пить, и я, по обыкновенію путниковъ, потребовалъ молока или яицъ. Послѣднія хоть тѣмъ хороши, что ихъ нельзя опоганить. Хозяинъ сказалъ что-то хозяйкѣ, почесался, подумалъ и объявилъ, что молока и яицъ нѣтъ. Я не хотѣлъ вѣрить, чтобы въ деревнѣ нельзя было достать того или другого, и потому настаивалъ; хозяинъ увѣрялъ, что скотина пала еще съ осени, а курицы давно перевелись отъ постоевъ. Послѣ долгихъ настояній и уговоровъ, онъ объявилъ, что у одного только мужика есть дойная корова, прочія всѣ отказались послѣ чумы, но что онъ сомнѣвается, можно ли будетъ достать у этого мужика молока, и прибавилъ, когда уже выходилъ изъ избы: «намъ туда нельзя ходить». Хозяйка не могла или не хотѣла мнѣ объяснить этого выраженія, и я поневолѣ выждалъ возвращенія хозяина, съ какимъ-то парнемъ: «его пошли», сказалъ мнѣ первый. Я далъ ему денегъ и наконецъ завладѣлъ кринкою молока. Наѣвшись и закуривъ трубку, я разговорился съ хозяиномъ, попотчивалъ его табакомъ и, вспомнивъ слова его, спросилъ объясненія, почему-де вамъ нельзя туда ходить? Онъ улыбался, почесывался, молвилъ что-то хозяйкѣ, которая засмѣялась, и на повторенный вопросъ мой отвѣчалъ только: «такъ, что нельзя, мы вишь не-другъ». Это еще болѣе завлекло мое любопытство, и я не отсталъ отъ чувашина, покуда онъ мнѣ не разсказалъ, въ чемъ дѣло.

Есть народы, напр. китайцы и японцы, у которыхъ самоубійство нипочемъ; трусъ по себѣ, китаецъ или японецъ, однакоже, будучи по своимъ понятіямъ

обезчещенъ, поруганъ, считаетъ долгомъ вспороть себѣ брюхо. Увѣряютъ даже, что они дѣлаютъ это иногда, вмѣсто поединка, на зло другъ другу: если обиженный распоретъ себѣ животъ, объявивъ при томъ имя своего обидчика, то этотъ обязанъ послѣдовать его примѣру: таковъ обычай, а обычай сильнѣе закона. Нѣчто похожее встрѣчается у чувашъ, хотя, можетъ быть, не въ той мѣрѣ и не въ такомъ общемъ распространеніи.

Чулка̀, отецъ того хозяина, у котораго взято было теперь молоко, былъ негодяй и воришка. Попавшись разъ на воровствѣ у Ярмука, у отца моего хозяина, Чулка поплатился зубомъ, который выбилъ ему Ярмукъ пестомъ. Золъ былъ Чулка̀ на это потому, что люди не давали ему проходу, указывая на выбитый рѣзецъ; но дѣлать нечего: виноватый молчитъ, и Чулка̀ также молчалъ. Въ отместку за зубъ свой, онъ рѣшился наказать Ярмука, укравъ у него лошадь. И тутъ Богъ его попуталъ: онъ попался съ лошадью, и поймалъ его опять самъ хозяинъ, Ярмукъ, но на сей разъ уже не удовольствовался тѣмъ, что отмялъ ему вволю бока, а связалъ его и представилъ начальству. Чулка убѣдительно отпрашивался, клялся, что больше у него воровать не станетъ, но Ярмукъ не хотѣлъ, видно, вводить его въ искушеніе и требовалъ расправы. Тогда Чулка поклялся отмстить ему съ такой злобой, что и Ярмукъ испугался было проклятій его, и потому скрутилъ ему руки потуже, далъ еще двѣ заушины и тотчасъ же повезъ на своей подводѣ, со старостой или сотскимъ, въ городъ.

Дѣло длилось, по обыкновенію, но наконецъ рѣшено было тѣмъ, чтобы наказать Чулка при полиціи, отдать его на поруки и оставить подъ присмотромъ. Приговоръ исполнили; но, по безпорядку, позабыли записать исполненіе въ журналъ и донести объ этомъ,

куда слѣдовало; черезъ мѣсяцъ, по случаю пересмотра вѣдомости нерѣшеннымъ дѣламъ, полиціи было сдѣлано подтвержденіе, чтобы наказать арестанта Чулка и оставить его на мѣстѣ жительства подъ присмотромъ. Чулка вытребовали, посѣкли и отпустили. Проходитъ еще мѣсяцъ; полиціи насылаютъ грозное приказаніе исполнить приговоръ немедленно и донести. Тутъ уже подавно разбирать было некогда: Чулка въ третій разъ потянули, вымстили на немъ выговоръ этотъ и неисправность пьянаго секретаря или письмоводителя, и наконецъ уже въ этотъ разъ донесли объ исполненіи и помѣтили дѣло конченнымъ.

Воротившись домой, Чулка былъ такъ золъ, что лѣзъ на стѣну; если бы онъ былъ не чувашинъ, то, конечно, посягнулъ бы на убійство своего заклятаго врага, Ярмука; но чувашинъ этого не сдѣлаетъ, и Чулка распорядился иначе; выждавъ ночь, онъ пошелъ и удавился на воротахъ Ярмука. Со свѣтомъ баба сунулась было изъ избы съ ведрами по воду—и ахнула, кинувшись опрометью назадъ. Хозяинъ выскочилъ и стоялъ столбнякомъ. Онъ былъ не японецъ, и потому вовсе не обязывался вспороть себѣ, въ честь повѣшеннаго сосѣда, брюхо, или послѣдовать его примѣру и удавиться; но Ярмуку грозила бѣда другаго рода, которая иногда стоитъ петли и веревки: судъ наѣдетъ со слѣдствіемъ и со всѣми принадлежностями къ нему и неминуемыми послѣдствіями...

Съ этихъ поръ, между семействами Ярмука и Чулка основалась вѣковѣчная вражда и ненависть, хотя одинъ изъ этихъ родоначальниковъ, какъ мы слышали, 20 лѣтъ назадъ удавился, а другой волею Божіею самъ собою скончался. Вражда эта простиралась до того, что никто изъ семьи Ярмука не ходилъ въ домъ Чулка и обратно, почему хозяинъ мой и не хотѣлъ или не смѣлъ идти туда за молокомъ.

Такой висѣльникъ извѣстенъ у насъ въ народѣ подъ названіемъ *сухой бѣды*; и, говорятъ, понынѣ еще чуваши въ злобѣ своей грозятъ иногда другъ другу тѣмъ, что сулятъ на дворъ сухую бѣду, т. е. обѣщаютъ одинъ у другого на дворѣ удавиться.

НАХОДКА

Послѣ отечественной войны, казаки возвращались на Донъ. Много-ли ихъ пошло и много-ли пришло—это, какъ Платовъ сказалъ, домашній счетъ; но тѣмъ, которые благополучно добрались во-свояси, было о чемъ пересказать, а, можетъ, было чѣмъ и порадовать своихъ: добычи было много. Полкъ шелъ черезъ Золотоношскій уѣздъ. День былъ воскресный; казаки, по тогдашнему обычаю, брели вразбродь, кучками, а отсталые, либо подгулявшіе, тянулись и попарно, и по одному.

Плетется по столбовой дорогѣ казакъ, повѣсилъ голову, и думаетъ: «конечно, оно нечего сказать, плакаться грѣшно, далъ Богъ и мнѣ поживу, не стыдно будетъ домой глаза показать; однакожъ, другимъ-иным счастье послужило еще получше... вотъ, у Маслова, хоть онъ, кажись-бы, и не то, чтобъ изъ самыхъ бойкихъ, особенно какъ гдѣ дѣло пойдетъ въ настоящую, однакожъ, на это его пострѣла стало: у него подушка набита хорошо; и не пухъ да мягко сидится—диво, что лошадь не подломится подъ нимъ—сѣдло, только-что человѣку подъ силу поднять... и у Мухранова тожь, червонцамъ счету нѣтъ—чай, домой пріѣдетъ, со старухой своей въ недѣлю не сосчитаютъ... посы-

ластъ-же Господь иному человѣку такое счастье... Есть, правда, есть и у меня, да не противъ ихъ... а вотъ тутъ еще и сапожишки купить надо, обносился совсѣмъ,—прибавилъ онъ, поглядывая на сапогъ:—раздѣлывать подушку для этой малости не хочется, а что при себѣ было деньжонокъ, издержалъ все, т. е. прогулялъ, ну, да нашему брату нельзя, чтобъ ину-пору не развеселить сердце, не выпить, то-есть... а въ этихъ сапогахъ не доѣдешь до дому—нѣтъ, ужь совсѣмъ плохи...»

Въ это время идетъ ему на встрѣчу молодой парень, который возвращался отъ обѣдни, изъ ближняго села, домой. Онъ честно поздоровался съ казакомъ и пошелъ было своимъ путемъ. Онъ въ это время думалъ про себя такъ: и немного бы человѣку надо, чтобъ вѣкъ прожить по-людски да по-божески, такъ и этого не откуда взять. Вотъ, еслибъ не воскресный день, такъ никто-бъ меня не увидалъ въ новыхъ чоботахъ, да и то новое, потому что берегу, что въ праздникъ только обуваю, а куплены они уже давно. Воловъ только одна пара, а другой купить не на что; спрягаемъ съ сосѣдомъ, когда пашемъ, да за то жь и я на него пашу—оно и тяжело, и не напашешься. А были бы у меня волы, пошелъ-бы я чумаковать; повезъ бы муку, крупу да сало въ Крымъ, а оттуда соль; а тамъ пошелъ бы на Донъ за таранью—вотъ бы и заработалъ копѣйку...»

— Стой,—закричалъ казакъ, выхвативъ саблю изъ ноженъ:—стой да снимай скорѣе чоботы, обмѣняемся. Мужикъ глядитъ на него, ротъ разинувъ, ровно не слышитъ, что тотъ сказалъ; а казакъ, глянувъ еще разъ взадъ да впередъ по дорогѣ, нѣтъ-ли кого, замахнулся на бѣдняка саблей да кричитъ:—изрублю всего, искрошу на мѣстѣ, снимай, говорю, сапоги, да бери ноги!—«Господь съ тобою, что ты это дѣлаешь, зем-

лякъ?» взмолился хохолъ; «въ воскресный день, среди бѣлаго дня на разбой выѣзжаешь; да побойся-жь Бога и побойся людей: тутъ теперь народъ ходитъ и ѣздитъ по дорогѣ...» Какъ вытянетъ его казакъ полосой, плашмя, по спинѣ, такъ мой хохолъ тутъ же и присѣлъ на мѣстѣ, и скинулъ оба сапога въ одинъ мигъ, какъ вотъ пальцемъ кивнуть, и вскочилъ опять на ноги и подаетъ ихъ казаку; а тотъ еще кричитъ: «скорѣй! сымай; коли сымаешь!»—На, говоритъ бѣднякъ:—возьми, Господь съ тобой. Казакъ взялъ сапоги, оглянулся еще разъ кругомъ, слѣзъ и сталъ разуваться. Онъ не хотѣлъ ограбить мужика и увезти у него сапоги, а хотѣлъ только обмѣнять свои изношенные на пару новыхъ.—На, собака, подержи коня, сказалъ онъ, передавая чембуръ въ руки хохла:—да молись Богу, что не на такого напалъ: другой бы уходилъ тебя тутъ же на мѣстѣ, и кафтанъ-то снялъ бы съ плечъ. Самъ присѣлъ, снялъ съ себя проворно сапоги, сунулъ ихъ въ руки мужика и сталъ обувать новые.

Хохолъ держитъ въ одной рукѣ поводъ коня, въ другой старые, изношенные сапоги, глядитъ на нихъ, да и думаетъ: «вотъ еще, чего добраго, заставитъ меня эти сапожишки надѣть! Хорошъ же я буду, какъ въ нихъ ворочусь домой! Вѣдь меня засмѣютъ люди, и хозяйка въ глаза наплюетъ, да такъ и подѣломъ; это курамъ на-смѣхъ, пойти въ воскресный день къ обѣднѣ въ новыхъ сапогахъ, а воротиться вотъ въ какихъ...»

— А, чтобъ тебя чортъ взялъ и съ сапогами твоими! сказалъ казакъ, и мужикъ теперь только оглянулся: второпяхъ, казакъ нашъ насилу попалъ ногой въ голенище, да пяткой прихватилъ края и завернулъ внутрь; дергаетъ, тянетъ, суетъ ногу, да не справиться; и что больше торопится, то хуже.

Мужикъ мой вдругъ словно свѣтъ увидѣлъ: какъ хватитъ онъ казака его же сапогами по лбу, закричавъ;

«такъ обувай же, коли обуваешь!» да какъ вскочитъ на коня, да голыми пятками его по бедрамъ — только его и видѣли.

Казакъ вскочилъ было да пустился за нимъ въ погоню—такъ пѣшій конному не товарищъ, а тутъ еще одинъ сапогъ надѣтъ до половины, и нога запуталась въ голенищѣ.

— Стой, сдѣлай милость, стой; на, возьми свои сапоги! —кричитъ казакъ, запыхавшись, выбившись изъ силъ и спотыкаясь черезъ свои же ноги; такъ не слышитъ, видно, мужикъ: знай несется во весь духъ, а скоро скрылся, и слѣдъ простылъ.

Казакъ, привыкшій, можетъ-статься, обижать другихъ, но не привыкшій, чтобъ его обижали, сталъ рвать на себѣ волосы и плакать и вопить, какъ по родному покойнику. И то сказать, какъ ему теперь показаться въ полкъ, безъ лошади, безъ всего, и какъ отовраться передъ начальствомъ? Бѣда да и только. Сѣлъ онъ, поправилъ и надѣлъ сапогъ, да пошелъ было степью вслѣдъ за своимъ невольнымъ обидчикомъ, такъ раздумалъ и сталъ: куда я пойду, гдѣ я его найду? Простора на всѣ четыре стороны много, а кто былъ мужикъ этотъ и откуда, я не знаю. Подумалъ казакъ, плюнулъ, почесалъ затылокъ и воротился въ городъ.

Дорогою онъ останавливался раза два и заламывалъ руки: но страхъ и горе опять погнали его впередъ; къ начальству, подумалъ онъ, больше не къ кому идти теперь—должно быть, начальство разыщетъ.

Отыскавъ исправника, онъ принесъ жалобу, что-де, сошедшись на дорогѣ съ мужикомъ, сталъ съ нимъ разговаривать, а тамъ спѣшился да пошелъ по пути съ нимъ рядомъ, потомъ отдалъ ему поводъ лошади, отошедши на минуту въ сторону, а тотъ сѣлъ и ускакалъ. Опасаясь за такой случай большихъ непріят-

ностей, исправникъ сталъ всѣми силами стараться отыскать виноватаго; но прошло нѣсколько дней, всѣ разосланные сыщики воротились и не нашли ничего. Казакъ не даетъ покоя исправнику, проситъ и плачетъ день и ночь, а, наконецъ, въ отчаяніи, кается ему, глазъ-на-глазъ, во всей правдѣ и обѣщаетъ тысячу рублей, только бы найти сѣдло съ подушкой: остальное пусть пропадетъ. Ему сѣдло съ подушкой дороже лошади: лошадь, говоритъ, была плохая, а сѣдло съ подушкой завѣтныя.

Протекло, однакожь, еще два дня; казакъ изъ себя выходитъ, сулитъ двѣ, три тысячи, признавшись, что у него въ подушкѣ сѣдельной зашито было золотомъ шесть тысячъ рублей; исправникъ всѣ силы и средства употребилъ — нѣтъ, и нѣтъ никакихъ слѣдовъ. Казакъ волосы рветъ на себѣ, а пособить нечѣмъ.

Вдругъ даютъ знать, что въ глухой балкѣ, въ степи, нашли казачью лошадь съ сѣдломъ, съ сумами, съ шинелью и другими вещами въ торокахъ. Исправникъ зоветъ казака, сказываетъ ему о находкѣ и говоритъ: «поѣдемъ сейчасъ туда.» Боже мой! казакъ чуть съ ума не сошелъ отъ радости: обнимается и цѣлуется со всѣми, кается и проситъ прощенья, не сказывая въ чемъ—садится и ѣдетъ.

Пріѣзжаютъ на мѣсто; у моего казака духъ захватываетъ отъ страха и нетерпѣнія — спрашиваютъ сотскаго: у кого на дворѣ казачья лошадь? кому сдана на руки?—У меня, говоритъ сотскій.—Гдѣ она у тебя? выводи сейчасъ на дворъ! Казакъ бросился напередъ, вслѣдъ за сотскимъ—моя, кричитъ, она и есть. Сбруято давайте, пожалуйста, сбрую! сѣдло съ приборомъ, то есть.—Вотъ и сѣдло, и весь приборъ, и все, какъ нашли, говоритъ сотскій.—А подушка? подушка моя гдѣ? закричалъ не своимъ голосомъ казакъ, увидѣвъ голое сѣдло —Вотъ тутъ разбирай, сказалъ сотскій:

какъ нашли, такъ и есть, все цѣло; вотъ это никакъ подушка, да только взрѣзана, вишь!

Казака почти обморокъ ошибъ на мѣстѣ. У него въ подушкѣ было золотомъ не шесть, а болѣе тридцати тысячъ рублей. Исправникъ посвисталъ, глядя на все это, пожалъ плечами, да и отошелъ. Тутъ взятки гладки! подумалъ онъ, и тотчасъ же велѣлъ подавать свою бричку.

Неподалеку отъ большой дороги, гдѣ казакъ такъ неудачно обмѣнялся сапогами, жилъ мужичокъ Охримъ, порядочный хозяинъ, но бѣдненекъ, хотя и не пьющій и работящій. Видно, однакожъ, ему помаленьку счастье послужило: вскорѣ послѣ описаннаго нами случая прикупилъ онъ парочку воловъ и сталъ хозяйничать полнымъ плугомъ; на другой годъ, не прежде, прикупилъ еще двѣ пары, продавъ напередъ выгодно пшеницу; тамъ пошелъ чумаковать и видно торговалъ хорошо, потому что года черезъ четыре сталъ отправлять въ Крымъ и на Донъ возовъ по десяти и больше. Богъ ему помогъ, и онъ вскорѣ купилъ порядочный кусокъ землицы и выбрался жить на хуторъ; а когда люди привыкли уже къ тому, что у Охрима свой хуторъ, гдѣ онъ живетъ съ сыновьями и со снохами, и съ дочерьми, и съ зятьями, то не дивились болѣе и богатству его, хоть иные и моргали усомъ, когда бывала рѣчь объ этомъ, замѣчая, что съ работы будешь горбатъ, но не будешь богатъ.

Исправникъ, о которомъ мы говорили, давно уже былъ уволенъ отъ должности и жилъ у себя дома, также на хуторѣ, который и пріобрѣлъ на службѣ, вѣроятно, также работой; по крайней мѣрѣ, онъ всегда достояніе свое называлъ трудовымъ и *благо*-пріобрѣтеннымъ. Припоминая иногда происшествіе съ казакомъ, онъ перекашивалъ ротъ, проглаживалъ подбородокъ и говорилъ про себя: «да, счастливъ твой

НАХОДКА

Послѣ отечественной войны, казаки возвращались на Донъ. Много-ли ихъ пошло и много-ли пришло—это, какъ Платовъ сказалъ, домашній счетъ; но тѣмъ, которые благополучно добрались во-свояси, было о чемъ пересказать, а, можетъ, было чѣмъ и порадовать своихъ: добычи было много. Полкъ шелъ черезъ Золотоношскій уѣздъ. День былъ воскресный; казаки, по тогдашнему обычаю, брели вразбродь, кучками, а отсталые, либо подгулявшіе, тянулись и попарно, и по одному.

Плетется по столбовой дорогѣ казакъ, повѣсилъ голову, и думаетъ: «конечно, оно нечего сказать, плакаться грѣшно, далъ Богъ и мнѣ поживу, не стыдно будетъ домой глаза показать; однакожь, другимъ-иным счастье послужило еще получше... вотъ, у Маслова, хоть онъ, кажись-бы, и не то, чтобъ изъ самыхъ бойкихъ, особенно какъ гдѣ дѣло пойдетъ въ настоящую, однакожь, на это его пострѣла стало: у него подушка набита хорошо; и не пухъ да мягко сидится—диво, что лошадь не подломится подъ нимъ—сѣдло, только-что человѣку подъ силу поднять... и у Мухранова тожь, червонцамъ счету нѣтъ—чай, домой пріѣдетъ, со старухой своей въ недѣлю не сосчитаютъ... посы-

лаетъ-же Господь иному человѣку такое счастье... Есть, правда, есть и у меня, да не противъ ихъ... а вотъ тутъ еще и сапожишки купить надо, обносился совсѣмъ,—прибавилъ онъ, поглядывая на сапогъ:—раздѣлывать подушку для этой малости не хочется, а что при себѣ было деньжонокъ, издержалъ все, т. е. прогулялъ, ну, да нашему брату нельзя, чтобъ ину-пору не развеселить сердце, не выпить, то-есть... а въ этихъ сапогахъ не доѣдешь до дому—нѣтъ, ужь совсѣмъ плохи...»

Въ это время идетъ ему на встрѣчу молодой парень, который возвращался отъ обѣдни, изъ ближняго села, домой. Онъ честно поздоровался съ казакомъ и пошелъ было своимъ путемъ. Онъ въ это время думалъ про себя такъ: и немного бы человѣку надо, чтобъ вѣкъ прожить по-людски да по-божески, такъ и этого не откуда взять. Вотъ, еслибъ не воскресный день, такъ никто-бъ меня не увидалъ въ новыхъ чоботахъ, да и то новое, потому что берегу, что въ праздникъ только обуваю, а куплены они уже давно. Воловъ только одна пара, а другой купить не на что; спрягаемъ съ сосѣдомъ, когда пашемъ, да за то жь и я на него пашу—оно и тяжело, и не напашешься. А были бы у меня волы, пошелъ-бы я чумаковать; повезъ бы муку, крупу да сало въ Крымъ, а оттуда соль; а тамъ пошелъ бы на Донъ за таранью—вотъ бы и заработалъ копѣйку...»

— Стой,—закричалъ казакъ, выхвативъ саблю изъ ноженъ:—стой да снимай скорѣе чоботы, обмѣняемся. Мужикъ глядитъ на него, ротъ разинувъ, ровно не слышитъ, что тотъ сказалъ; а казакъ, глянувъ еще разъ взадъ да впередъ по дорогѣ, нѣтъ-ли кого, замахнулся на бѣдняка саблей да кричитъ:—изрублю всего, покрошу на мѣстѣ, снимай, говорю, сапоги, да бери мои!—«Господь съ тобою, что ты это дѣлаешь, зем-

лякъ?» взмолился хохолъ; «въ воскресный день, среди бѣлаго дня на разбой выѣзжаешь; да побойся-жъ Бога и побойся людей: тутъ теперь народъ ходитъ и ѣздитъ по дорогѣ...» Какъ вытянетъ его казакъ полосой, плашмя, по спинѣ, такъ мой хохолъ тутъ же и присѣлъ на мѣстѣ, и скинулъ оба сапога въ одинъ мигъ, какъ вотъ пальцемъ кивнуть, и вскочилъ опять на ноги и подаетъ ихъ казаку; а тотъ еще кричитъ: «скорѣй! сымай; коли сымаешь!»—На, говоритъ бѣднякъ:—возьми, Господь съ тобой. Казакъ взялъ сапоги, оглянулся еще разъ кругомъ, слѣзъ и сталъ разуваться. Онъ не хотѣлъ ограбить мужика и увезти у него сапоги, а хотѣлъ только обмѣнять свои изношенные на пару новыхъ.—На, собака, подержи коня, сказалъ онъ, передавая чембуръ въ руки хохла:—да молись Богу, что не на такого напалъ: другой бы уходилъ тебя тутъ же на мѣстѣ, и кафтанъ-то снялъ бы съ плечъ. Самъ присѣлъ, снялъ съ себя проворно сапоги, сунулъ ихъ въ руки мужика и сталъ обувать новые.

Хохолъ держитъ въ одной рукѣ поводъ коня, въ другой старые, изношенные сапоги, глядитъ на нихъ, да и думаетъ: «вотъ еще, чего добраго, заставитъ меня эти сапожишки надѣть! Хорошъ же я буду, какъ въ нихъ ворочусь домой! Вѣдь меня засмѣютъ люди, и хозяйка въ глаза наплюетъ, да такъ и подѣломъ; это курамъ на-смѣхъ, пойти въ воскресный день къ обѣднѣ въ новыхъ сапогахъ, а воротиться вотъ въ какихъ...»

— А, чтобъ тебя чортъ взялъ и съ сапогами твоими! сказалъ казакъ, и мужикъ теперь только оглянулся: второпяхъ, казакъ нашъ насиду попалъ ногой въ голенище, да пяткой прихватилъ края и завернулъ внутрь; дергаетъ, тянетъ, суетъ ногу, да не справиться; и что больше торопится, то хуже.

Мужикъ мой вдругъ словно свѣтъ увидѣлъ: какъ хватитъ онъ казака его же сапогами по лбу, закричавъ;

«такъ обувай же, коли обуваешь!» да какъ вскочитъ на коня, да голыми пятками его по бедрамъ — только его и видѣли.

Казакъ вскочилъ было да пустился за нимъ въ погоню—такъ пѣшій конному не товарищъ, а тутъ еще одинъ сапогъ надѣтъ до половины, и нога запуталась въ голенищѣ.

— Стой, сдѣлай милость, стой; на, возьми свои сапоги! —кричитъ казакъ, запыхавшись, выбившись изъ силъ и спотыкаясь черезъ свои же ноги; такъ не слышитъ, видно, мужикъ: знай несется во весь духъ, а скоро скрылся, и слѣдъ простылъ.

Казакъ, привыкшій, можетъ-статься, обижать другихъ, но не привыкшій, чтобъ его обижали, сталъ рвать на себѣ волосы и плакать и вопить, какъ по родному покойнику. И то сказать, какъ ему теперь показаться въ полкъ, безъ лошади, безъ всего, и какъ отовраться передъ начальствомъ? Бѣда да и только. Сѣлъ онъ, поправилъ и надѣлъ сапогъ, да пошелъ было степью вслѣдъ за своимъ невольнымъ обидчикомъ, такъ раздумалъ и сталъ: куда я пойду, гдѣ я его найду? Простора на всѣ четыре стороны много, а кто былъ мужикъ этотъ и откуда, я не знаю. Подумалъ казакъ, плюнулъ, почесалъ затылокъ и воротился въ городъ.

Дорогою онъ останавливался раза два и заламывалъ руки: но страхъ и горе опять погнали его впередъ; къ начальству, подумалъ онъ, больше не къ кому идти теперь—должно быть, начальство разыщетъ.

Отыскавъ исправника, онъ принесъ жалобу, что-де, сошедшись на дорогѣ съ мужикомъ, сталъ съ нимъ разговаривать, а тамъ спѣшился да пошелъ по пути съ нимъ рядомъ, потомъ отдалъ ему поводъ лошади, отошедши на минуту въ сторону, а тотъ сѣлъ и ускакалъ. Опасаясь за такой случай большихъ непріят-

ностей, исправникъ сталъ всѣми силами стараться отыскать виноватаго; но прошло нѣсколько дней, всѣ разосланные сыщики воротились и не нашли ничего. Казакъ не даетъ покоя исправнику, проситъ и плачетъ день и ночь, а, наконецъ, въ отчаяніи, кается ему, глазъ-на-глазъ, во всей правдѣ и обѣщаетъ тысячу рублей, только бы найти сѣдло съ подушкой: остальное пусть пропадетъ. Ему сѣдло съ подушкой дороже лошади: лошадь, говоритъ, была плохая, а сѣдло съ подушкой завѣтныя.

Протекло, однакожъ, еще два дня; казакъ изъ себя выходитъ, сулитъ двѣ, три тысячи, признаваясь, что у него въ подушкѣ сѣдельной зашито было золотомъ шесть тысячъ рублей; исправникъ всѣ силы и средства употребилъ — нѣтъ, и нѣтъ никакихъ слѣдовъ. Казакъ волосы рветъ на себѣ, а пособить нечѣмъ.

Вдругъ даютъ знать, что въ глухой балкѣ, въ степи, нашли казачью лошадь съ сѣдломъ, съ сумами, съ шинелью и другими вещами въ торокахъ. Исправникъ зоветъ казака, сказываетъ ему о находкѣ и говоритъ: «поѣдемъ сейчасъ туда.» Боже мой! казакъ чуть съ ума не сошелъ отъ радости: обнимается и цѣлуется со всѣми, кается и проситъ прощенья, не сказывая въ чемъ—садится и ѣдетъ.

Пріѣзжаютъ на мѣсто; у моего казака духъ захватываетъ отъ страха и нетерпѣнія — спрашиваютъ сотскаго: у кого на дворѣ казачья лошадь? кому сдана на руки?—У меня, говоритъ сотскій.—Гдѣ она у тебя? выводи сейчасъ на дворъ! Казакъ бросился напередъ, вслѣдъ за сотскимъ—моя, кричитъ, она и есть. Сбруято давайте, пожалуйста, сбрую! сѣдло съ приборомъ, то есть.—Вотъ и сѣдло, и весь приборъ, и все, какъ нашли, говоритъ сотскій.—А подушка? подушка моя гдѣ? закричалъ не своимъ голосомъ казакъ, увидѣвъ голое сѣдло —Вотъ тутъ разбирай, сказалъ сотскій;

какъ нашли, такъ и есть, все цѣло; вотъ это никакъ подушка, да только взрѣзана, вишь!

Казака почти обморокъ ошибъ на мѣстѣ. У него въ подушкѣ было золотомъ не шесть, а болѣе тридцати тысячъ рублей. Исправникъ посвисталъ, глядя на все это, пожалъ плечами, да и отошелъ. Тутъ взятки гладки! подумалъ онъ, и тотчасъ же велѣлъ подавать свою бричку.

Неподалеку отъ большой дороги, гдѣ казакъ такъ неудачно обмѣнялся сапогами, жилъ мужичокъ Охримъ, порядочный хозяинъ, но бѣдненекъ, хотя и не пьющій и работящій. Видно, однакожь, ему помаленьку счастье послужило: вскорѣ послѣ описаннаго нами случая прикупилъ онъ парочку воловъ и сталъ хозяйничать полнымъ плугомъ; на другой годъ, не прежде, прикупилъ еще двѣ пары, продавъ напередъ выгодно пшеницу; тамъ пошелъ чумаковать и видно торговалъ хорошо, потому что года черезъ четыре сталъ отправлять въ Крымъ и на Донъ возовъ по десяти и больше. Богъ ему помогъ, и онъ вскорѣ купилъ порядочный кусокъ землицы и выбрался жить на хуторъ; а когда люди привыкли уже къ тому, что у Охрима свой хуторъ, гдѣ онъ живетъ съ сыновьями и со снохами, и съ дочерьми, и съ зятьями, то не дивились болѣе и богатству его, хоть иные и моргали усомъ, когда бывала рѣчь объ этомъ, замѣчая, что съ работы будешь горбатъ, но не будешь богатъ.

Исправникъ, о которомъ мы говорили, давно уже былъ уволенъ отъ должности и жилъ у себя дома, также на хуторѣ, который и пріобрѣлъ на службѣ, вѣроятно, также работой; по крайней мѣрѣ, онъ всегда достояніе свое называлъ трудовымъ и *благо*-пріобрѣтеннымъ. Припоминая иногда происшествіе съ казакомъ, онъ перекашивалъ ротъ, проглаживалъ подбородокъ и говорилъ про себя: «да, счастливъ твой

Богъ, Охримъ, что ты богатѣлъ осторожно, понемногу, и что я ужь болѣе не исправникъ; а теперь бы я зналъ, гдѣ искать потрохи казачьей подушки!»

А казакъ? Товарищи прозвали его, послѣ этого происшествія, чоботомъ, и онъ за слово это каждый разъ лѣзъ въ драку, очертя голову. Говорятъ, онъ подъ конецъ едва-ли не сошелъ съ ума.

ИСКУШЕНІЕ

Бореніе добра и зла, этихъ двухъ духовныхъ началъ въ человѣкѣ, тысячу разъ было представлено и описано въ самыхъ разнообразныхъ видахъ: но я не помню, чтобъ гдѣ-нибудь борьба эта представлена была такимъ очевиднымъ, осязательнымъ образомъ и въ такомъ простомъ, несложномъ видѣ, какъ она представляется въ слѣдующемъ истинномъ происшествіи.

Кто не знаетъ нашихъ разносчиковъ, коробейниковъ, лукошниковъ, офеней, которые разъѣзжаютъ по всей Россіи съ такъ называемымъ краснымъ и бакалейнымъ и всякимъ другимъ товаромъ и снабжаютъ всѣхъ хозяекъ въ деревняхъ и городишкахъ ситчикомъ, шелчкомъ, узорчикомъ, тесемочкой, петелькой и путовкой, и иногда даже какой-нибудь книжкой, сонникомъ, гадальщикомъ, писчей и швейной бумагой, дѣтскими игрушками, курильными свѣчами, ладаномъ и стираксой—словомъ, почти всѣмъ, что необходимо въ семейномъ, домашнемъ быту и чего не всегда достать можно въ уѣздномъ городѣ? Такой-то промышленникъ подъѣхалъ къ барскому двору, противу обыкновенія этихъ людей, рысью: это было зимой, часу въ восьмомъ утра, когда только-что разсвѣло. Лошадь была вся въ мылѣ, разносчикъ пріѣхалъ въ-одиночку и, со-

скочивъ съ воза, поспѣшно снялъ шапку и перекрестился. Онъ, сидя на возу, почти также запыхался, какъ и лошадь его.

Вошедши во дворъ, на которомъ, какъ видно, случалось ему быть не въ первый разъ, потому что онъ торговалъ давненько, онъ освѣдомился у людей, вставъ ли баринъ, и просилъ доложить о себѣ, подошедши самъ вслѣдъ за человѣкомъ въ переднюю. «Скажи, что ничего не нужно», отвѣчалъ баринъ слугѣ: «я вѣдь только на прошедшей недѣли съ ярмарки; у меня все закуплено». Разносчикъ, который стоялъ въ сѣняхъ вплоть у дверей въ покои, подперши бороду рукой и наклонивъ голову противъ щелки притворенныхъ дверей, отступилъ на полъ-шага, чтобы дать мѣсто возвращаемуся слугѣ и, не выждавъ его отвѣта, лишь только тотъ растворилъ дверь въ переднюю, возвысилъ свой голосъ: «сельди есть голландскія, сыръ настоящій швейцарскій, помада, духи французскіе, жилеты англицкіе, макароны, берлинская шерсть, баульчики, сахаръ, чай, кофе»...

Такъ какъ помѣщикъ отвѣчалъ на всю рѣчь эту: «Здорово, братецъ, здорово! Нѣтъ, теперь не надо мнѣ ничего», то нашъ офеня уже смѣло втерся въ двери, отвѣсилъ поклонъ и продолжалъ насчитывать товаръ свой; вѣдь помѣщикъ съ нимъ заговорилъ, такъ онъ считалъ себя въ правѣ войти и продолжать бесѣду. «Не надо, любезный, ничего», сказалъ тотъ; «я недавно запасся всѣмъ».—Такъ хоть изюмцу возьмите, сударь, чернослву французскаго... есть у меня и ножи преотличные, столовые и поварскіе.—«Да не надобно ничего».—А изъ краснаго товара не требуется ничего-съ?—«Нѣтъ, ничего не нужно».—Сдѣлайте милость, батюшка, прикажите хоть принести показать что-нибудь, можетъ статься, изъ бакалейныхъ приглянется что-нибудь... игрушки дѣтскія, погремушки...

«Да не надо-же ничего, тебѣ говорятъ!»—Батюшка, сдѣлайте милость, прикажите на дворъ взъѣхать, хоть сердце отвести, хоть духъ перевести...

— Да что съ тобой?—спросилъ наконецъ помѣщикъ, видя этого человѣка, котораго онъ зналъ уже давно, въ какомъ-то безпокойствѣ, въ суетахъ и въ страхѣ.

— Батюшка,—отозвался, вздохнувъ тяжело, владимірецъ:—кормилецъ! да со мной такіе страхи приключились, что я о-сю-пору сердца въ себѣ не ощущаю, ногъ подъ собою не слышу; ради вѣчнаго спасенія, прикажите на дворъ къ себѣ заѣхать—и лошадь замаялъ было совсѣмъ—какъ отпрягу только, то разскажу милости вашей все—страхъ, инно волосъ дыбомъ стоитъ, шапка сама съ головы лѣзетъ...

Помѣщикъ успокоилъ его, позволилъ заѣхать на дворъ и отпречь, велѣлъ накормить заѣзжаго, а тамъ сталъ его разспрашивать. Послѣ многихъ вздоховъ, стоновъ и благодареній Богу, тотъ началъ такъ:

— Наше дѣло, сами изволите знать, батюшка, торговое; изъ-года-въ-годъ, изо дня въ день, все въ пути въ дороженькѣ; такъ по мѣстамъ, гдѣ по привычкѣ пристаешь, есть добрые, знакомые люди. Вотъ, у меня и былъ, батюшка, недалече отсель такой хорошій, знакомый человѣкъ, у котораго я приставалъ, бывало, уже годовъ съ семь. Господь съ нимъ и Богъ его прости, родимый; не хочу и называть мѣста этого, не токма что его самого. Пріѣхалъ я вечоръ къ нему.—Здравствуй, молъ, Егоръ. Здравствуй, говоритъ—что, какъ у тебя, постарому?—Да, благодаря Бога, ничего. Ну, слава Богу.—А заѣхать можно?—Для чего жъ? просимъ милости; еще, вишь, этакъ сказалъ, потому что онъ добрый, хорошій человѣкъ. Я заѣхалъ. Почемъ-молъ у тебя сѣно, овесъ?.. Ну, лошадь поставилъ, все убралъ, хозяинъ вороты заперъ—а дворъ

хорошій, обнесенъ и крытый—я и пошелъ маленько въ избу, погрѣться-таки погрѣться, а поѣсть-таки поѣсть, да опричь того и еще было у меня на умѣ одно дѣло: такъ, думаю, здѣсь можно, хозяинъ знакомый и хорошій, такой добрый человѣкъ, и чистая изба у него особнякомъ, топленая, такъ я туда и заберусь. Ну, пошелъ.

«Наше дѣло торговое, кормилецъ, а торгъ деньгу любитъ, а деньга счетъ любитъ. Мы, вишь, беремъ товаръ у хозяевъ за круговой порукой, потому что не хватаетъ силъ торговать на свой грошъ; забираешь товаръ гдѣ поподручнѣе; разочтешься, да деньги и ушлешь хозяину, либо со своимъ братомъ, коли знакомый да туда ѣдетъ, либо по почтѣ; нечего дѣлать, ину пору лучше заплатить, да чтобъ только вѣрно дошли. Такъ либо тутъ, либо тамъ, надо выручку сосчитать путемъ; оно хоть и не Богъ-вѣсть-что, какая выручка съ нашей торговли—не бывалыя это времена—да все сосчитать да услать надо. Вотъ, я и хотѣлъ позаняться вечеркомъ; взялъ съ собой мошну, а бумажникъ и такъ при мнѣ, да взялъ счеты и пошелъ въ избу—да вотъ было запамятовалъ, что взялъ съ собой еще и бирку, на которой, для памяти, помѣчалъ продажу.

«— Въ свѣтелку можно къ тебѣ на часъ, хозяинъ, коли нѣтъ заѣзжихъ?—Можно; да ты что хочешь дѣлать?—Надо бы мнѣ вотъ,—и указалъ на мошну.—Ладно, говоритъ, поужинай сперва съ нами; хозяйка уже собираетъ. Поужинали, помолились, поблагодарилъ я хозяина и хозяйку; онъ и зажегъ лучину и пошелъ, а я за нимъ.

«Сѣлъ я за столъ, высыпалъ деньги и сталъ считать и раскладывать: серебро особо, мѣдь особо, а тамъ опять цѣлковики по себѣ, полтинники тожъ, по десяткамъ, и мелочь, а самъ кладу на щеты. Съ ко-

стей да на-кости, позанялся, и признаться, не вдогадъ ничего, и не гляжу и не вижу, что около меня дѣется: хозяинъ-молъ хорошій, знакомый и добрый человѣкъ, такъ считаю, горя мало, чтобъ скорѣе покончить.

«Хозяинъ вышелъ было, притворивъ дверь, тамъ опять пришелъ, опять вышелъ, опять пришелъ, подновилъ лучину въ свѣтцѣ, да къ печи пошелъ, да опять таки къ дверямъ—я глянулъ на него, что-молъ онъ изъ угла въ уголъ мотается? онъ отвернулся да отошелъ, стало-быть за какимъ-нибудь дѣломъ хозяйскимъ пришелъ, думаю, пусть его: а самъ за свое. Опять онъ подошелъ, да какъ-то сталъ тяжело вздыхать, словно стонетъ; поворачался у конника, взялъ топоръ, положилъ его на лавку, вышелъ зачѣмъ-то, опять пришелъ, взялъ топоръ да сталъ, словно призадумался; я глянулъ на него, а онъ стоитъ, сердечный, и самъ не свой, бѣлый какъ полотно, а глаза словно у звѣря...

«Вдругъ онъ, кормилецъ, какъ кинетъ топоръ отъ себя подъ кутникъ, да какъ крикнетъ не своимъ голосомъ: «Господи Іисусе Христе, избави меня отъ дьявольскаго искушенія!..» Я вскочилъ съ мѣста, ровно ошалѣвшій—отъ кинулся на меня... кормилецъ, да какой страшный! сроду не видалъ я такого человѣка. Лицо все у него дергаетъ, а самъ, словно въ лихорадкѣ, кинулся онъ на меня, ухватилъ меня за руку, да какъ закричитъ: «молись, молись! меня дьяволъ соблазнилъ, я хочу тебя убить, клади поклоны, читай молитвы...» Я упалъ передъ образомъ, а хозяинъ со мной рядомъ; я читаю молитвы, а онъ, знай, крестится, да кладетъ земные поклоны: ужь я, кормилецъ, читалъ, читалъ, всѣ молитвы и каноны, сколько знаю на память, разъ по десяти каждую; тогда только, наконецъ, ему, видно, маленько отпустило; заплакалъ, взвылъ голосомъ и слезы полились ручьемъ...

«Я сгребъ второпяхъ со стола всѣ деньги въ полу, да вонъ изъ избы, бѣгомъ подъ навѣсъ: высыпалъ ихъ въ мѣшокъ, свернулъ, запряталъ, да перекрестившись—запрягать... Руки дрожатъ, глаза меркнутъ, и не знаю, какъ Богъ помогъ заложить... и погналъ я съ этого двора, и гналъ, что есть духу, до вашей милости, всю ночь. Вотъ, батюшка, я и пріѣхалъ, не слышу ногъ подъ собой, ровно самъ въ оглобляхъ былъ, ровно не своя голова на плечахъ; все помутилось .. Слава Тебѣ, Господи, да вамъ спасибо; теперь только-что маленько отдохнулъ... А былъ онъ, кажись, человѣкъ, добрый, и такой прехорошій...

ЦЫГАНКА

Верстахъ въ двѣнадцати отъ Одессы есть нѣмецкая колонія на берегу моря, и туда выбирается изъ города на лѣто до 35-ти семей мѣстныхъ жителей и пріѣзжихъ, для купанья въ морѣ и чтобъ уйти отъ нестерпимой жары и пыли. Колонія эта, которая нѣмцами называется Люстдорфъ, переиначена русскими въ Люстру и подъ этимъ названіемъ извѣстна во всемъ округѣ. Невдалекѣ отъ нея лежитъ селеніе мѣстныхъ жителей, смѣси русскихъ съ малороссіянами, Большой Фонтанъ; по другую сторону Люстры селеньице, Бурлацкая Балка, гдѣ поселился всякій сбродъ, такъ называемые мѣщане; подальше, на лиманѣ, поселены греки, арнауты и еще нѣмцы, но католики, тогда какъ люстровскіе—лютеране.

На этомъ пространствѣ всегда можно найти кочующихъ цыганъ. Если семья этихъ природныхъ коваленъ, кузнецовъ, найдетъ въ деревнѣ много работы и займутъ тамъ, то имъ иногда отводятъ порожнюю избу; цыгане отъ этого въ дурную погоду не отказываются, но тотчасъ же дѣлаютъ въ хатѣ нѣкоторыя хозяйственныя измѣненія, для большихъ житейскихъ удобствъ: окна и двери выставляются вонъ, какова-бы ни была погода; безъ этого цыгану душно. Впрочемъ,

походная кузница разбивается обыкновенно въ чистомъ полѣ, за селомъ и, заключая въ себѣ также общее жилье всего цыганскаго семейства, состоитъ изъ ветхаго шатра, который однимъ краемъ примыкаетъ вплоть къ землѣ, между тѣмъ, какъ другой не доходитъ до земли на аршинъ: задъ загороженъ повозкой, а передъ открытъ. Шатеръ этотъ становится плотной стороной, смотря по времени года, то противъ солнца, то противъ дождя и вѣтра.

Полянка между селеніемъ и кабакомъ, по направленію къ морю, ничѣмъ не была занята, когда мы вечеромъ по ней прогуливались, а рано утромъ стояло тамъ два шатра изъ задымленнаго, чернаго отрепья. Это было въ понедѣльникъ, который, какъ увѣряютъ, празднуется цыганами вмѣсто воскресенья, и близость шинка, повидимому, была очень кстати: три цыгана шатывались въ дверяхъ этого заведенія, размахивая руками и наклоняя въ раздумьи головы, не зная сами, куда они идутъ или намѣрены идти, въ шинокъ-ли, или изъ шинка. Вскорѣ явились три цыганки, конечно жены ихъ, а за ними цѣлая толпа ребятишекъ, изъ которыхъ большіе тащили меньшихъ нагишомъ, и притомъ не такъ, какъ обыкновенно носятъ на рукахъ грудныхъ дѣтей, а переваливъ ихъ черезъ себя какъ ни попало, и придерживая ихъ также за что ни попало, за руку или за ногу. Бабы взяли мужиковъ своихъ подъ руки и вывели изъ шинка, убѣждая ихъ идти домой. Но тутъ, на чистомъ воздухѣ, однимъ изъ цыганъ овладѣла охота поплясать; онъ стряхнулъ съ себя навязчивую бабу и, приподнявъ руки, долго прилаживался и примѣрялся, но какъ-то не могъ справиться съ ногами. Веселое расположеніе его перешло и на двухъ его товарищей: и тѣ также пустились въ пляску, или, по крайней мѣрѣ, порывались къ тому всѣми силами, между тѣмъ какъ жены ихъ хватали

своихъ мужей то за руку, то за одежду, бранились и растаскивали ихъ врозь. Наконецъ, пляска ихъ кончилась, бабы нахлобучили на мужей своихъ шапки, и каждая потащила друга своего въ таборъ.

Одна изъ цыганокъ привлекла при этомъ случаѣ на себя особенное наше вниманіе: она была бѣлокура; одежда на ней была та же, какъ и на прочихъ, и какъ носятъ всѣ волошскія и бессарабскія цыганки: шерстяная, полосатая юпка, такой же поясъ, въ ладонь ширины, на головѣ платокъ, повязанный по-цыгански, то есть свисшій однимъ угломъ по спинѣ: на плечахъ рубашка, ноги босыя, а изъ-подъ платка разстилаются всклоченныя космы, — но волосы эти были свѣтлорусые, тогда какъ всякому извѣстно, что у цыганъ волосы черные, какъ смоль. Мы посмотрѣли за нею велѣдъ, и, занявшись предположеніями на счетъ этой необычайности, пошли своимъ путемъ.

На слѣдующій день, проходя къ морю мимо небольшого цыганскаго табора, мы заглянули подъ шатры. Въ глубинѣ, подлѣ телѣги, была вырыта небольшая круглая ямка, надъ которою стоялъ столикъ, всего въ четверть вышины; русая молодая хозяйка со старухой, настоящей вѣдьмой, сидѣли за этимъ столомъ, поставивъ ноги въ ямку и кроили что-то изъ рядинны, если не изъ стараго мѣшка. Ножницы, безъ сомнѣнія, домашняго издѣлія, были въ родѣ тѣхъ, которыми стригутъ овецъ. Въ сторонѣ, болѣе напереди, другая ямка, кузнечный горнъ, съ парою безконечно-заплатанныхъ мѣховъ, которыми работала дѣвка, покачиваясь изъ стороны въ сторону, между тѣмъ какъ хозяинъ ковалъ что-то на наковальнѣ, поставленной въ самой серединѣ шатра. По сторонамъ валялись ребятишки, изъ которыхъ одинъ игралъ привязанною на ниткѣ мертвою чайкой. Приходъ нашъ оживилъ все населеніе двухъ наметовъ: бабы стали нагло клянчить и ка-

нючить и тотчасъ же выгнали всѣхъ ребятишекъ въ пляску: замѣчательно, что у всѣхъ былъ хорошій слухъ: дикія пѣсни ихъ не оскорбляли уха. Только пожилые мужчины, хозяева, сохранили при этомъ позорищѣ степенность свою, подавая видъ, будто не заботились о томъ, что вокругъ ихъ дѣлалось; а бѣлокурая цыганка была молчаливѣе и скромнѣе прочихъ.

Вечеромъ мы сидѣли въ деревнѣ дома, въ палисадникѣ, и пили чай, какъ увидѣли знакомцевъ нашихъ: старую цыганку и бѣлокурую, которыя обходили всѣ дворы и собирали подаяніе. Старуха навьючила молодую шерстяною, полосатою переметною сумой, которая была ужь порядочно набита картофелемъ и хлѣбомъ; старуха выпрашивала подаяніе, а молодая носила пошу. Онѣ подошли по очереди домовъ и къ намъ. Разглядѣвъ поближе бѣлокурую, мы еще болѣе убѣдились, что это не можетъ быть цыганка, и любопытство наше было сильно возбуждено.—Два, три вопроса ничего не рѣшили: русая цыганка молчала, или отвѣчала однимъ словомъ, а вѣдьма говорила за троихъ, разсыпаясь въ похвалахъ и пожеланіяхъ, и выпрашивая все, что только попадалось ей на глаза. «Подай милостынки, Христа ради». — говорила она съ рѣзкимъ удареніемъ своимъ на каждомъ слогѣ:—«и богатъ будешь, и хорошъ, и дѣти будутъ большія. . подай добра паня, оброкъ подушный платить, вотъ у нея»— указывая на молодую—«два маленьки близнятка...» У всѣхъ цыганокъ, какъ извѣстно, есть близнята; по крайней мѣрѣ, онѣ въ томъ увѣряютъ васъ, когда просятъ подаянія. Взявъ поданный ей хлѣбъ, старуха успѣла разглядѣть, что на столѣ есть сахаръ, и продолжала просить, для близнятъ-же, по кусочку сахару. Когда она получила его, то стала освѣдомляться, нѣтъ-ли старенькаго платьица, отопочковъ, паголенковъ, или другихъ какихъ обносковъ? Я показалъ ей сере-

бряную монету и глаза у нея заискрились, какъ у волка; но я не далъ ей денегъ, а обѣщалъ дать, если молодая разскажетъ всю правду, какъ она попала въ цыганки. Послѣ продолжительной божбы, что бѣлокурая родилась въ таборѣ и настоящая цыганка, старуха жадно протянула руку—но я положилъ монету въ карманъ. Русая все молчала, но по пріемамъ видно было, что она рѣшилась добыть деньги во что бы ни стало, и потому я настаивалъ, увѣряя ее при томъ, что я не сыщикъ и не доносчикъ, и спрашиваю изъ одного только любопытства, но даромъ денегъ не отдамъ. «Она полька», — сказала наконецъ старуха, — «изъ Польши: она сама къ намъ пришла, давно; ѣсть нечего было, голодъ, а она мала была, сирота—и пристала». Я хотѣлъ слышать всѣ подробности этого отъ нея самой; старуха поощряла ее къ разсказу, повторяя по своему: говори, говори! Но бѣлокурая робко цѣдила слово за словомъ сквозь зубы и не хотѣла разговориться. Я отдалъ двугривенный старухѣ и велѣлъ ей идти своимъ путемъ. Она было снова окинула все глазомъ и стала просить еще хлѣбца съ масломъ, еще старый платочекъ и рубашку. Прогнавъ ее, я напоилъ молодую чаемъ, зазвавъ ее во дворъ, и наконецъ, не безъ труда, заставилъ разсказать ея похожденія.

Она точно была полька, помнила отчій домъ только очень темно, но увѣряла, что у нихъ были павлины и золотые воробьи, т. е. канарейки, и была также прислуга, изъ которой она одного помнила по имени. Она помнила также, что отецъ ѣзжалъ на охоту съ собаками; начавъ въ раздумьѣ щупать и поглаживать рукой бархатную кацавейку на женѣ моей, она какъ будто припомнила какой-то давнишній сонъ и сказала, наконецъ, что у матери было точно такое платье, которое малютка любила гладить рукой; наконецъ,

она думаетъ, что у нея были старшіе братья, а болѣе ничего не помнитъ. «Мала была», — продолжала она, пожимая плечами: — «ничего не знаю. Садъ былъ у насъ, и груши были; помню какъ старшій братъ,— должно быть, что братъ — лазилъ на дерево и трясъ груши, а я собирала. Больше ничего не помню», — повторила она. — Пришла бѣда, стали поляки биться съ русскими—и этого я ничего не знала, только помню, что всѣ бранили и боялись москалей. Пришло къ намъ войско конное, что собиралось на москалей; храбровали они всю ночь, пѣсни пѣли, вино пили, а на улицахъ разложили огни; помню, какъ я стояла съ бабой за воротами, слушала и смотрѣла, и баба учила меня бранить москалей. Вдругъ со всѣхъ сторонъ стали палить, всѣ бросились бѣжать; сдѣлалась такая давка, что баба насилу втащила меня въ хату: по улицамъ все стрѣляли; въ домѣ, вокругъ меня, кричали, плакали, молились и бранились; видно, отецъ и братья также бились на улицахъ, въ домѣ ихъ не помню; хата наша загорѣлась, солдаты набѣжали — больше ничего не знаю; какъ я вышла, что со мною было, ничего не помню—мала была, глупа. Всѣ хаты горѣли. И ночь пришла, и день пришелъ, онѣ все еще горѣли, а я сидѣла въ саду и плакала. Одинъ-ли вечеръ ли сталъ, два-ли, не помню, а я все одна сидѣла въ саду, все хотѣла въ хату, а хаты нѣтъ и людей нѣтъ ни одного. Я ѣла груши да сырую пшонку, и все плакала; а дымъ меня чуть не задушилъ. Я пошла бродить, сама не зная, гдѣ и куда, все бѣжала по дорогѣ и плакала; повстрѣчались мнѣ москали (солдаты) — дали хлѣба сухого и напоили водой, пожалѣли меня, а сами пошли дальше. Я сперва бѣжала за ними слѣдомъ, потомъ утомилась, сѣла и уснула на мѣстѣ, а тамъ встала, да опять побѣжала дальше и пришла къ добрымъ людямъ; они стояли въ полѣ, какъ мы теперь

стонмъ, и ихъ никто не трогалъ, ни москали, ни поляки; имъ было не страшно: хаты не ма у нихъ, скарбу не ма, одна лошаденка, да и та такая, что никому не годится—и не страшно. Я пришла къ нимъ; они накормили меня, спрашивали откуда я, хотѣли отвести домой—я ничего не знаю, только плачу. Пошли они на другое мѣсто, и меня взяли съ собой; опять меня спрашивали, много, не знаю ничего, только плачу Такъ они пошли, а я все съ ними жь,—такъ и пристала къ нимъ и осталась при нихъ.

— Ну, а дальше что было, когда стала ты подростать?

— А дальше все ничего не помнила, не знала, чья я; стала цыганка. Когда я выросла, такъ отдали меня замужъ за своего; вотъ и живемъ.

— Какъ же тебя, бѣдную, замужъ отдали? приневолили?

— Нѣтъ; зачѣмъ? неволи нѣтъ. Сказали, что пора, и пошли на Днѣстръ: тамъ, сказали, будетъ мужъ, и пришли, посмотрѣли; такой годится тебѣ? спросили; что жь? коваль, молодой, чоботы есть свои, отецъ ятку (шатеръ) даетъ—годится. И отдали.

— Какъ же васъ вѣнчали?—спросилъ я; но она не поняла меня и я съ трудомъ растолковалъ ей свой вопросъ.

— Нѣтъ этого у насъ,—сказала она, махнувъ рукой:—такъ отдали.

— А праздникъ былъ?

— Праздникъ былъ; пиво, вино—и пѣсни пѣли, а старухи плясали.

— Отчего же старухи, а не молодыя?

— Молодицамъ у насъ не хорошо плясать, а старухамъ можно.

— И дѣти есть у тебя?

— Есть, трое.

— Бѣлыя или черныя?

Она засмѣялась и отвѣчала:

— Всякія есть, и бѣлыя, и черныя: одинъ черноволосый, а двое сами черные, а волосы бѣлые.

— Была ли ты когда-нибудь послѣ опять на своей родинѣ?

— А Богъ знаетъ, можетъ быть и была, коли жь я ся не знаю: Польша велика, а я была мала, глупа, не помню ничего.

— Такъ тѣ помнятъ, старики, которые тебя взяли тамъ?

— Богъ знаетъ: можетъ и помнили-бъ, да гдѣ они теперь? Старые померли оба, а тѣ пошли своей дорогой, когда отдали меня; они ходятъ по своимъ мѣстамъ, а мы по своимъ. Въ годъ, либо въ два—разъ встрѣтимся, да опять и разойдемся.

— А, можетъ быть, дома твои родные живы: отецъ, мать, братья?

— А Богъ ихъ знаетъ! Нѣтъ, говорятъ, не живы. Всѣ пропали какъ война была, и погорѣли, и пропали.

Старуха, обошедши рядъ домовъ, подошла опять къ нашимъ воротамъ, стояла, ухмыляясь, опершись на свой посохъ, будто спрашивая: «не ужь-то-де бесѣда ваша все еще не кончилась?» Я спросилъ еще молодую, какъ ее зовутъ? — Юдвися, — сказала она. Понявъ, что это было польское имя Людовика, я спросилъ еще: прежнее ли это имя ея, или оно дано ей цыганами?—Прежнее, отвѣчала она:—такъ меня звали дома; это я помнила, сказала добрымъ людямъ, которые меня, сироту, приняли, и такъ меня съ тѣхъ поръ называютъ.

Старуха навьючила на Юдвисю полную на обѣ половины переметную суму, попробовала еще, голосомъ вкрадчивой довѣрчивости, выпросить ленточку; тамъ спросила: нѣтъ ли хоть ломаной подковы или другого

стараго желѣза, и, наконецъ, отправилась съ невѣсткой подъ свою ятку.

Я разсказывалъ, въ теченіе лѣта, многимъ посѣтителямъ люстровскихъ морскихъ водъ объ этой мнимой цыганкѣ и о приключеніяхъ ея. Мы полагали объявить объ этомъ въ вѣдомостяхъ, съ тѣмъ, что если кто-нибудь изъ родныхъ ея остался въ живыхъ, то, можетъ быть, отзовется и отыщетъ свою потерянную дочь или сестру подъ закоптѣлымъ шатромъ цыганскаго табора. Всѣ цыгане нынѣ, по крайней мѣрѣ, приписаны къ какому либо мѣсту и считаются въ сословіи казенныхъ или господскихъ крестьянъ. Я собирался разспросить объ этомъ нашего цыгана, не показывая виду, для чего я это дѣлаю, и не сомнѣвался, что по этимъ разспросамъ можно будетъ, въ случаѣ нужды, его отыскать.

Въ одинъ вечеръ, когда мы опять, по обыкновенію, сидѣли въ надворномъ палисадничкѣ и пили чай, къ намъ вошелъ хорошо одѣтый мужчина, лѣтъ около тридцати, съ усами, съ продолговатымъ польскимъ лицомъ и статною осанкой, въ соломенной широкополой шляпѣ и цыфрованной венгеркѣ. Поклонившись, онъ сказалъ мнѣ, съ удареніемъ на каждый предпослѣдній слогъ: «Извините, я пришелъ къ вамъ на пару словъ. Я сегодня, сейчасъ только, слышалъ о похожденіяхъ одной цыганки, или дѣвочки, увезенной въ молодости цыганами—и мнѣ сказали, что вы лично ее видѣли и разспрашивали?

— Точно такъ, это справедливо.

— Пожалуйста, сдѣлайте одолженіе, разскажите мнѣ все, что вы объ ней знаете... я желалъ бы... она, можетъ быть... видите, у меня когда-то пропала безъ вѣсти маленькая сестра, а именно при такихъ обстоятельствахъ, какъ здѣсь разсказываютъ объ этой цыганкѣ: это было въ Любартовѣ.

Я ему разсказалъ все. Мелочи и подробности, которыя она помнила съ издѣтства своего, а еще болѣе и самое имя Людовика убѣдили его, что это должна быть его сестра. Онъ былъ зажиточный помѣщикъ, пріѣхавшій сюда съ семействомъ для купанья. Разсказъ мой произвелъ въ немъ сильное волненіе; на глазахъ его навертывались слезы. Онъ былъ въ недоумѣніи, что ему дѣлать, какъ ее разлучить съ мужемъ, и будетъ-ли это доброе дѣло, составитъ-ли это ея счастье? А куда дѣваться съ ними, если они захотятъ остаться кочевыми цыганами? А можно-ли, слышавъ все это, оставить дѣло безъ вниманія и не заботиться о давно потерянной и теперь случайно отысканной сестрѣ.—Напередъ всего,—сказалъ я:—вамъ надобно посмотрѣть на нее и разспросить ее, убѣдиться въ самоличности ея—а тамъ... подумайте. «Пойдемте вмѣстѣ», — сказалъ онъ, взявъ меня за руку.

Подъ шатромъ нашли мы все въ томъ же видѣ и порядкѣ, какъ прежде, но на этотъ разъ Юдвися работала мѣхами, лежа между ними на колѣняхъ, а мужъ ея ковалъ.—Долго мы стояли, стараясь завязать съ нею разговоръ, но обстоятельства были къ тому самыя неудобныя. Товарищъ мой, въ сильномъ волненіи, уставилъ глаза на нее и не могъ доискаться языка. Замѣтно было, что старуха и мужъ ея стали какъ-то безпокойны: можетъ быть, послѣдній разговоръ мой съ Юдвисей, такъ живо напомнившій ей давномину вшее, растревожилъ ее, заставилъ грустить и задумываться — и въ такомъ случаѣ старуха, конечно, жалѣла, что допустила ее до такой бесѣды; поэтому присутствіе наше не могло быть ей пріятно; словомъ, —было замѣтно, что они насъ дичились. Я увелъ посѣтителя, и мы сговорились выбрать болѣе удобное время для разспросовъ. Утромъ на другой день, мы

снова пошли туда, но, дошедши при выходѣ изъ селенія до того мѣста дорожки, откуда видѣнъ былъ цыганскій шатеръ, нашли одно только порожнее мѣсто. Мы подошли: двѣ ямки—одна, служившая вмѣсто стульевъ или дивана, потому что въ нее ноги ставили; другая, гдѣ былъ горнъ, — обозначали мѣсто бывшаго тутъ переноснаго жилья; болѣе не было никакихъ слѣдовъ. Молча побрели мы домой, и товарищъ мой во всю дорогу не сказалъ ни одного слова.

КАПИТАНША

Горемычное житье военнымъ барынямъ, да за то и пребойкія особы изъ нихъ удаются, истинно боевыя и военныя! Иныя даже службу фронтовую до послѣдней тонкости понимаютъ, знаютъ и шагъ, и выносъ ноги, и всѣ ружейные пріемы и постройки. Порицая, по истинной справедливости, тѣхъ гг. офицеровъ, у которыхъ, по неопытности ихъ или по какому-то прирожденному недостатку, командныя слова ровно съ полки срываются,—онѣ, напротивъ, знаютъ наперечетъ всѣхъ прилично-голосистыхъ сыновъ отечества по цѣлому корпусу, и для отдыха послѣ обиходныхъ, мелочныхъ дрязгъ скудельной жизни своей, съ большимъ удовольствіемъ развлекаются бесѣдой о томъ, какъ кто себя велъ и держалъ на послѣднемъ смотру или ученьѣ...

А стоянки, а переходы, вслѣдъ за мужьями, изъ села въ село, изъ деревни въ деревню, изъ мѣстечка въ городишко, а изъ городишка въ мѣстечко? Походная бричка, крытая, съ приправленными фартуками, обитая либо подкладочнымъ холстомъ, либо толстымъ зеленымъ сукномъ, иногда даже, для красы, съ красными выпушками? Въ бричку эту впрягается пара коней, можетъ быть, нѣкогда строевыхъ, обращенныхъ потомъ въ подъемныхъ, а наконецъ выранжированныхъ—пара

коней этихъ, съ которыми здоровается мимоходомъ весь полкъ, называя ихъ по кличкѣ, Васькой и Мухортымъ, пыхтятъ и тащатъ весь домашній скарбъ семьи, состоящей изъ семи или десяти душъ; самихъ душъ этихъ я ужъ и не кладу въ счетъ, чтобъ не пугать Ваську съ Мухортымъ, но и души всѣ тутъ же на-лицо, при своемъ добрѣ... Переходъ за переходомъ, и притомъ шагъ за шагомъ, ковчегъ этотъ перевалиается отъ привала къ ночлегу, а отъ ночлега на дневку, и опять на привалъ; походная семья до того обжилась съ чужимъ хозяйствомъ, что и не замѣчаетъ недостатка своего; хозяйская кочерга и ухватъ любой избы какъ-будто старые знакомые военной семьи, и самыя дѣтки даже привыкаютъ называть *домомъ своимъ* тотъ уголъ, въ которомъ придется на этотъ разъ переночевать...

Прибывъ на мѣсто стоянки, располагаются пошире, требуютъ отъ хозяина разной утвари на подержаніе, устраиваютъ жилье на скорую руку, какъ Богъ велѣлъ, и затѣмъ спѣшатъ вытеребить помятые чепцы и отдать честь командиршѣ. Съ ровнями мы рѣдко знаемся; тутъ либо мы сами, либо мужья наши въ размолвкѣ, которая прикрывается развѣ однимъ только чинопочитаніемъ. Отдавъ этотъ долгъ природѣ, мы забираемъ сподручныя свѣдѣнія о сосѣдяхъ, о помѣщикахъ, и если удается намъ свести какое-нибудь мѣстное знакомство, то оно прибавляетъ изрѣдка пеструю страничку въ однообразную, строевую жизнь нашу...

На границѣ Бессарабіи, въ такъ называемомъ мѣстечкѣ, гдѣ жилъ и самъ панъ, довольно-хлѣбосольный семьянинъ, стояла частичка полка, то есть рота, съ капитаномъ своимъ. Полковникъ, молодой и веселый волокита, недавно переведенный изъ гвардіи, сталъ частенько навѣщать, по службѣ, эту роту, съ тѣхъ поръ, какъ побывалъ въ домѣ пана и вглядѣлся хоро-

шенько въ молодую, прелестную хозяйку, которая была еще тѣмъ милѣе, что у мужа ея погреба славились своими винами, а въ особенности венгерскимъ. У каждаго свой вкусъ,—и полковникъ находилъ, что венгерское даже и по себѣ, а тѣмъ болѣе при содѣйствіи такой милой хозяйки, пить очень можно.

Итакъ полковникъ опять пріѣхалъ и, кончивъ очень скоро, по вѣрному глазу и опытности своей, пригонку амуниціи, отправился къ пану и, разумѣется, былъ приглашенъ къ обѣду на рюмку венгерскаго, вмѣстѣ съ частію наличнаго штаба своего и съ ротнымъ командиромъ.

Ротная командирша, ожидая возвращенія мужа, сидѣла у раскрытаго окна и дышала на вѣтеръ. Жара смертная; молдаванское солнце парило такъ, что собакамъ было лѣнь лаять на прохожихъ и даже воробьи молчали. Нянька съ дѣтьми уснула, но капитаншу разсердили мухи, и она рѣшилась высидѣть полудникъ свой подъ окномъ, обмахиваться и глядѣть черезъ палисадникъ на улицу, то есть, на раскаленный песокъ и голыя каменья при-днѣстровской почвы.

Среди этой торжественной тишины и безмолвія на улицахъ, издали послышался глухой стукъ и какой-то вялый голосъ. Вотъ и развлеченье! Она, капитанша наша, стала прислушиваться, тщетно попытавшись выглянуть преждевременно изъ окна, гдѣ застила густая вишня: почему капитанша и не могла ничего разсмотрѣть. Въ это время вошелъ деньщикъ съ ножомъ и сапожнымъ молоткомъ, собираясь на досугѣ наколоть къ вечеру сахару. «Иванъ», сказала барыня: «послушай, что это такое? Никакъ кто-то ѣдетъ?» Иванъ слегка прислушался, не сходя съ своего мѣста, и отвѣчалъ спокойно:—«Это, сударыня, бричка Алексѣя Кирилыча» и прибавилъ: — «сахаръ колоть прикажете?»

— Алексѣя Кирилыча? Татъ выйдь лучше, да погляди: стало быть, это къ намъ. А я, Боже мой! неужели они теперь къ обѣду ѣдуть? Не можетъ быть! Скорѣе же, Иванъ, да кофе надо сейчасъ готовить... Вздумали-таки наконецъ пріѣхать, а долго не рѣшались...

Алексѣй Кирилычъ былъ женатый, капитанъ другой роты, которая стояла верстахъ въ двадцати. Опытное ухо Ивана не ошиблось: бричка была точно Алексѣя Кириловича. Пара тощихъ клячъ, именно Васька и Мухортый, тащили ее походнымъ шагомъ. Понуривъ головы, онѣ волокли эту колесницу, и деньшику Аркадію, добряку, но неописанному болвану, стоило большого труда не дать Васькѣ съ Мухортымъ уснуть надъ своей работой. Походная бричка, въ видѣ фургона, была застегнута и закупорена отъ пыли кругомъ. Опытный путникъ легко разсудитъ, каково въ ней было сидѣть подъ этимъ тропическимъ солнцемъ; наша капитанша, глядя спокойно изъ окна на укутанную со всѣхъ сторонъ бричку, отерла себѣ потъ съ лица. Аркадій уговаривалъ лошадей прирысить немного, увѣряя ихъ, что вотъ уже пріѣхали, но онѣ отвѣчали на это, потряхивая дружно головами и продолжая выступать мѣрнымъ гусинымъ шагомъ.

Между тѣмъ, хозяйка уже вскочила и въ два или три темпа надѣла на голову другой, запасный чепецъ и накинула болѣе благовидный платокъ. Возвратившись въ ту же минуту, она спѣшила на встрѣчу гостямъ своимъ и чуть не обняла, съ пріятной улыбкой, Ивана, вошедшаго въ это время въ дверь. «Что же?» спросила она. — Да не знаю, сударыня, никакъ мимо, не къ намъ. — «Какъ же такъ! Что это значитъ?» — Не знаю; да, видно, можетъ статься, то есть, не порожняя-ли бричка-то, не въ починку ли, что-ли, ее привезли; вотъ я погляжу... Но сильный стукъ и брякъ

съ громкими восклицаніями раздался въ это время внезапно съ противной стороны; бричка катилась обратно, прыгая по песку съ камня на камень, и на этотъ разъ уже мчалась подъ гору крупною рысью, такъ что Васька съ Мухортымъ поперемѣнно даже сбивались на мель, а немилосердый Аркадій все еще стегалъ ихъ и понукалъ. Подкативъ прямо подъ крыльцо нашей капитанши (мы эту будемъ называть нашею, а ту чужою), бричка остановилась; Аркадій слѣзъ, ворча вслухъ: «вотъ, не въ добрый часъ Господь понесъ; эка, подумаешь, притча... и согнали со двора!...» Затѣмъ онъ принялся отстегивать запоны и высаживать, во-первыхъ, капитаншу; во-вторыхъ, сестру ея; въ третьихъ, сынка, тамъ дочку, и еще сына, и такъ далѣе; высадивъ же, наконецъ, семилѣтнюю, босую няньку, бывшій фурлейтъ, а нынѣшній деньщикъ, всунулъ голову въ пустую бричку и спросилъ: «ну, что? всѣ ли? аль еще кто есть? не потерять-бы кого, бѣда!»

Чужая капитанша и весь причетъ ея перецѣловались съ нашею и усѣлись съ разсказами. Наша осматривала гостей своихъ, не понимая, что все это значитъ; а что-нибудь не даромъ, что-нибудь да есть! И гостья, и сестра ея, одѣты не такъ, какъ одѣваются къ своей сестрѣ капитаншѣ: на первой было даже извѣстное шелковое, бурое платье; даже дѣтки всѣ были вычесаны и умыты. Хозяйка смалчивала, однакоже, до времени, зная уже, что Иванъ, во всякомъ случаѣ, узнаетъ отъ Аркадія все, что нужно. Подали кофе, послѣ непродолжительнаго стукотка въ сосѣдней комнатѣ, за которымъ слѣдовалъ знакомый шорохъ, при ссыпкѣ колотаго сахара въ жестянку. Разговоръ, по военному обычаю, не долго держался общихъ мѣстъ и перешелъ въ частную бесѣду о личности о начальникахъ, о томъ, кто что сказалъ и кто что на это

отвѣчалъ, и что потомъ изъ этого вышло. Вдругъ дверь растворилась, и вошелъ нашъ капитанъ.

Поздоровавшись съ гостями и сказавъ, что-де слава Богу, обѣдъ кончился, мочи нѣтъ терпѣть въ эту жару — онъ во все время какъ-то посмѣивался и улыбался, поглядывая замысловато на свою гостью. Слово за словомъ, и она, смекнувъ, что тутъ уже скрывать было нечего, созналась въ какомъ-то замѣшательствѣ, что собралась было съ первымъ визитомъ къ помѣщику, запоздала немного, и потому пріѣхала, какъ видно, не во-время, не подозрѣвая, впрочемъ, чтобы самъ полковникъ былъ тутъ... Дѣло заключалось вотъ въ чемъ.

Бричка съ капитаншей вкатила во дворъ пана, когда этотъ, съ полковникомъ и другими гостями своими, сидѣлъ еще за обѣдомъ, который, впрочемъ, подходилъ къ концу, и потому венгерское уже сдѣлало свое дѣло. Обѣдали подъ широкимъ навѣсомъ, который придѣланъ былъ къ дому во всю длину его. Кто-то оглянулся и сказалъ тутъ полковнику: «а, вотъ и экипажъ нашъ пріѣхалъ!» Полковникъ, который вовсе не былъ еще расположенъ разстаться съ милою хозяйкою, подлѣ которой сидѣлъ, и съ венгерскимъ, стоявшимъ подлѣ него, вскочилъ, расходившись, изъ-за стола, и, не посмотрѣвъ вовсе, кто такой въѣхалъ на дворъ, закричалъ зычнымъ голосомъ своимъ: «Куда васъ чортъ несетъ! убирайтесь!»

Аркадій, подобравъ мигомъ вожжи, поворотилъ оглобли и помчался во весь опоръ со двора. Получивъ такое приказаніе полковника, онъ не считалъ нужнымъ ожидать дальнѣйшихъ распоряженій своего непосредственнаго начальства: а такъ какъ ему приказано, по сдачѣ клади въ усадьбѣ, искать пріюта для лошадей у нашего капитана, то онъ, при такихъ обстоятельствахъ, и прикатилъ прямо къ нему подъ крыльцо. Тутъ полковникъ согналъ со двора, думалъ онъ, такъ

ужь намъ, на чужой сторонѣ, больше некуда дѣваться, какъ къ своимъ.

Разъясненіе этой загадки, по какому поводу, то-есть, послѣдовало такое незаслуженное, позорное изгнаніе чужой капитанши съ панскаго двора, нѣсколько успокоило разобиженную командиршу роты, которая — не рота, то-есть, а капитанша—въ самомъ дѣлѣ поставлена была въ довольно затруднительное положеніе. Она сдѣлалась необычайно-любезною и милою въ обращеніи съ нашей капитаншей, которая, соболѣзнуя о такомъ непріятномъ случаѣ, и радуясь, какъ увѣряла, что онъ доставилъ ей удовольствіе принять у себя сослуживку, въ самомъ дѣлѣ, не печалилась ни о чемъ, а радовалась — только не тому, а доброму уроку, который чужая капитанша получила за то, что отправляется къ помѣщикамъ на первый визитъ съ такимъ нагруженнымъ рыдваномъ, съ чадами и домочадцами и семилѣтней нянькой...

КАНДИДАТЫ

Да чего же, скажите, нельзя употребить во зло и чего-не сумѣетъ человѣкъ—или даже обстоятельства—перевернуть на изнанку? Я вамъ разскажу замѣчательный примѣръ по этому случаю, примѣръ, который не выходитъ у меня изъ головы въ теченіе пятнадцати лѣтъ.

Что можно сказать противъ заведенія очереди при пріемѣ дѣтей въ казенныя учебныя заведенія? Кто прежде записанъ, тотъ прежде и поступаетъ: этого требуетъ самая святая справедливость. Нынче правительство отмѣнило вовсе кандидатство, но когда оно было, что же можно было въ сущности противъ него сказать? Кандидатство есть очередь по старшинству записки. Между тѣмъ, послушайте, что изъ этого вышло.

Убогій дворянинъ, у котораго было всего-на-все пятнадцать душонокъ за душой, и который, прослуживъ несчастливо, прижилъ тройхъ сыновей, состарѣлся, овдовѣлъ, жилъ съ ними въ такъ называемой деревнѣ своей и, вмѣстѣ съ обѣднѣвшими отъ неурожаевъ

крестьянами, едва только могъ питаться. Заботясь о дѣтяхъ, онъ успѣлъ воспользоваться благодѣніемъ правительства и записалъ ихъ въ одинъ изъ кадетскихъ корпусовъ. Повторяю, не только не могъ онъ дать имъ дома какое-нибудь образованіе, но съ трудомъ только, и то можетъ быть, скудно, кормилъ ихъ. Записавъ ихъ, онъ спалъ скопойно и ждалъ очереди. Пріемное испытаніе пугало его иногда, но онъ всѣми силами старался передать дѣтямъ все, что могъ, занимался съ ними самъ день-деньской съ утра до вечера, и ему казалось, что они будутъ приготовлены не хуже другихъ и даже, можетъ быть, лучше многихъ.

Старикъ все болѣе и болѣе свыкался съ мыслію, что дѣти его пристроены; живучи одинъ, безъ службы и занятій, онъ день и ночь думалъ только объ нихъ и ни о чемъ болѣе не заботился. Онъ разсчитывалъ, когда имъ должна быть очередь къ пріему, сколько лѣтъ каждому изъ нихъ доведется пробыть въ корпусѣ, сколько рублишекъ онъ успѣетъ накопить въ это время для каждаго къ выпуску, въ какую цѣну возьметъ сукна для обмундировки; и наконецъ — какъ доживетъ, если Богъ дастъ, до того, что увидитъ дѣтей своихъ, всѣхъ трехъ, въ офицерскихъ мундирахъ на царскомъ хлѣбѣ. Это казалось ему крайнимъ предѣломъ благополучія; другихъ желаній и молитвъ у него было. Забота о пристройкѣ дѣтей занимаетъ всякаго порядочнаго отца; но здѣсь эта забота возрасла уже почти до нѣкотораго рода помѣшательства; по крайней мѣрѣ, старикъ объ одномъ только этомъ предметѣ могъ мыслить и говорить.

Сосѣдъ нашего старика, человѣкъ позажиточнѣе, также записалъ дѣтей своихъ — впрочемъ, старшихъ годами — въ одинъ изъ корпусовъ. По этому поводу, старикъ почасту ѣзжалъ къ сосѣду за справкой, не

пишутъ-ли чего изъ Питера, да не слыхать-ли чего о томъ, скоро-ли-де наши дѣти поступаютъ на очередь. Прошло года два, и сосѣдъ все еще не могъ сказать старику ничего положительнаго, утѣшая его, однакоже, тѣмъ, что, стоя въ кандидатахъ, дѣти ихъ неминуемо будутъ приняты. Но въ одинъ изъ такихъ пріѣздовъ, сосѣдъ встрѣчаетъ старика вѣстію, которая поразила его какъ громомъ. «Меня увѣдомляютъ, сказалъ сосѣдъ, что дѣти мои исключаются изъ кандидатовъ, какъ вышедшія изъ пріемныхъ лѣтъ. Это непріятно:—что я теперь стану съ ними дѣлать? Куда я ихъ дѣну? Воспитать на свой счетъ тяжело; здѣсь въ глуши даже невозможно, а жить съ ними въ городѣ—на это меня не станетъ. Да, плохо, плохо, любезный сосѣдъ; смотрите, чтобъ и съ вами не случилось того же?»

Сосѣдъ могъ бы и не договаривать этого предостереженія: оно не вело ни къ чему; тутъ мѣры помощи не зависѣли отъ озабоченнаго и удрученнаго родителя, а ему было тяжело и безъ того. Старикъ сдѣлался разсѣянъ, мраченъ, задумчивъ, поводилъ глазами туда и сюда, крѣпился, но видимо упалъ духомъ, и сосѣдъ уже не зналъ, что начать съ своимъ гостемъ. Этотъ сказалъ, наконецъ, что ему какъ-то не здоровится, сѣлъ на телѣжку свою и поѣхалъ въ раздумьи домой.

Горькими слезами облилъ онъ на крыльцѣ троихъ дѣтей своихъ, разжалобивъ и ихъ заставивъ рыдать въ угоду бѣднаго отца; потомъ онъ собрался съ духомъ, замолкъ и наружно нѣсколько успокоился. Но старикъ ночь не спалъ, а продумалъ до бѣла свѣта, и все ничего не придумалъ. По расчету, онъ видѣлъ ясно—или напуганное воображеніе его въ томъ убѣждало—что на будущій годъ неминуемо та же участь должна постигнуть и его дѣтей; а что тогда съ ними

будетъ—этого онъ не умѣлъ себѣ объяснить. Пущу ихъ по-міру, повторялъ онъ, пожимая плечами, вотъ все, что я могу для нихъ сдѣлать. Сошью каждому своими руками по котомкѣ—и съ Богомъ, кормитесь, дѣтки, какъ птицы небесныя, и растите, какъ онѣ растутъ!

Въ тревожномъ, душевно-лихорадочномъ состояніи провелъ онъ дня три. Затѣмъ лицо его прояснилось; онъ обнималъ дѣтей безпрестанно съ какою-то страдальческою нѣжностью и украдкою утиралъ слезу; но въ немъ вообще появилось какое-то мужество и рѣшимость. Никто не зналъ, да и не заботился о томъ, что онъ думаетъ и гадаетъ. О голышахъ заботиться некому.

«Я малодушенъ, сказалъ онъ однажды вечеромъ самъ себѣ: рѣшился, а медлю. Чего же еще ждать? Ну, если первая почта привезетъ мнѣ вѣсть, что дѣти мои исключены? Тогда гораздо труднѣе будетъ поправить дѣло; можетъ быть, даже будетъ поздно—а теперь, когда они еще состоятъ кандидатами, это легко, это зависитъ отъ меня». Онъ горько улыбнулся; потомъ лицо его приняло мрачный, почти дикій видъ; потомъ онъ вспомнилъ дѣтей, которыя уже спали; мгновенно выраженіе лица его смягчилось, слеза брызнула, и онъ пошелъ за перегородку, гдѣ спали его дѣти.

Съ разсвѣтомъ въ эту же ночь, одна изъ числа пятнадцати душъ нашего бѣднаго старика, то-есть, одинъ изъ крестьянъ его, прискакалъ на разбитой клячонкѣ къ сосѣду и со страху только разводилъ руками, хлопалъ губами и долго не могъ вымолвить ни одного слова. «Баринъ Богу душу отдалъ!» сказалъ онъ наконецъ, и смотрѣлъ какимъ-то дикимъ, будто сказалъ не то, или не такъ, или главнаго не договорилъ.

Старикъ въ эту ночь поднялъ на себя руку и лишилъ себя жизни. Этимъ средствомъ онъ надѣялся пристроить дѣтей, основываясь на благодѣтельномъ постановленіи, что *круглые сироты не держатъ пріемнаго испытанія и принимаются во всякое время безъ очереди.*

— Не хороша твоя новѣстушка,—сказалъ одинъ изъ собесѣдниковъ, послѣ всеобщаго молчанія, вскочивъ съ мѣста и выколачивая трубку;—моя будетъ лучше, только что короче воробьинаго носа, а и она также гласитъ про кандидатство. — Отецъ привозитъ сына, дождавшись благополучно очереди, и смѣло представляетъ его на пріемное испытаніе, завѣряя, что онъ самъ не разъ прослушивалъ сына во всѣхъ наукахъ и что онъ все знаетъ твердо по программѣ. «Очень рады», отвѣчаетъ инспекторъ: «привезите сына завтра въ 9 часовъ». Сына привезли; но онъ, что говорится, въ зубъ толкнуть не умѣетъ; стоитъ бѣднякъ, да хлопаетъ глазами, будто впервые отъ-роду слышитъ то, о чемъ его спрашиваютъ. Разумѣется, что ему забрили затылокъ. Отецъ прибѣгаетъ, отчанный, разобиженный до-нельзя: «Помилуйте», говоритъ, «что вы со мной дѣлаете? Это нападки, воля ваша, нападки... Сынъ мой знаетъ все, все, милостивый государь; я его переспросилъ и теперь опять, и сегодня еще разъ...—Позвольте, окажите правосудіе, позвольте переспросить при васъ...»—«Извольте»—отвѣчалъ въ недоумѣніи инспекторъ, любопытствуя увидѣть, какого рода будетъ испытаніе...

Отецъ беретъ въ руки программу, содержащую въ себѣ, какъ извѣстно, подробное исчисленіе всѣхъ предметовъ, изъ коихъ воспитанникъ долженъ быть приготовленъ, сынъ становится чинно передъ папенькой, и по слову: «ну, говори»—начинаетъ скороговоркой читать наизустъ всю программу...

Бѣдный отецъ! какъ онъ былъ разочарованъ, когда ему объяснили дѣло — и бѣдный сынъ, который убилъ нѣсколько мѣсяцевъ на то, чтобъ выдолбить или вызубрить на память претолстую печатную тетрадь, содержащую въ себѣ программу ученія.

ВАРНАКЪ.

.. Мы похоронили его кой-какъ, не то что говорится просто, а бѣдно, какъ нельзя бѣднѣе. Онъ былъ здѣсь всѣмъ чужой, жилъ бобылемъ и не оставилъ полтинника на еловую домовину; нашлись однакожъ люди, которые, любя человѣка, не покинули и трупа его. Мертвый не безъ могилы, какова ни есть она. Посылали даже за попомъ, но дряхлый старикъ не могъ ѣхать 70 верстъ въ открытыхъ саняхъ и въ такую распутицу, а обѣщалъ поминать покойника у себя. Одинъ изъ варнаковъ-сторожиловъ, человѣкъ самой почтенной, маститой наружности, но большой руки плутъ, который, въ чаяніи отпущенія ему одного смертнаго грѣха за проводы сорока покойниковъ, не упускалъ ни одного случая для пополненія этого счета,—читалъ надъ нимъ псалтирь. Провожали гробъ всего человѣкъ пятокъ да большая сибирская собака, чёрный Куланъ, не отстававшій въ послѣднія семь лѣтъ отъ своего хозяина. Это тотъ самый песъ, который грызся однажды съ волкомъ зѣвъ-ъ-зѣвъ, заступившись за покойнаго, и наконецъ, при помощи его, одолѣлъ звѣря.

Пару глиняныхъ чашекъ своей работы, пару ложекъ, тулупъ, стеганный поддѣвокъ, два полукаф-

тана—одинъ плохой, другой получше, три рубахи и пару сапогъ, роздали мы такимъ же голышамъ, какимъ былъ заживо тотъ, на котораго мы справили теперь деревянный тулупъ и отмежевали вотчину въ косую сажень; письмовникъ Курганова и небольшую кипу листовъ, исписанныхъ рукою покойника, я взялъ съ собою. Этимъ жилье его опросталось и очистилось, потому что образъ, столъ и лавки были хозяйскіе, того крестьянина, у котораго покойникъ стоялъ, занимаясь то плотничаньемъ, то гончарнымъ ремесломъ. Онъ кормился этимъ, хотя прежде, въ Россіи то есть, какъ здѣсь говорятъ, бывалъ плотникомъ, а въ гончары попалъ только здѣсь, самоучкой. Но онъ содержалъ себя этимъ съ трудомъ и по нуждѣ, потому что рѣдкое населеніе и огромныя разстоянія нашего края не дозволяли ему развозить товаръ свой для продажи на сторону: а по сосѣдству, скопидомки жили бережно и били мало горшковъ. Сверхъ того, онъ послѣдніе два года много хворалъ и съ трудомъ только работалъ. Хозяинъ, выпроводивъ насъ, растворилъ окна и сталъ выметать свѣтелку, какъ это водится послѣ покойника, готовя ее, на случай, подъ новаго постояльца. Долговъ не осталось впрочемъ послѣ него ни гроша; онъ разсчитался съ міромъ гладко

Живучи столько лѣтъ по сосѣдству съ этимъ человѣкомъ и узнавъ его коротко, я, дома, призадумался. Сѣвъ съ трубкой у окна, я глядѣлъ на нашу преславную распутицу: по лицу земли, которой отъ вѣку до вѣку суждено было оставаться мерзлымъ материкомъ, мчалась и скользила мутная, грязная, пѣнистая волна; ужь всѣ овражки заиграли, ледяныя кленки и обручи разсыпались, и зародышъ во всякомъ зернѣ копошился. Черезъ недѣлю уже все покроется зеленью; черезъ двѣ, ботва и листва густо покроютъ поле и лѣсъ; а надолго-ли все это?—Бывало, мы съ покойникомъ въ

это время исхаживали много, много пути: ружьишко за плеча, и пошелъ. Стрѣлокъ онъ былъ хорошій, и случалось, что промыслъ этотъ бывалъ для него прибыльнѣе гончарнаго. А товарищъ былъ онъ вѣрный, неизмѣнный, но давно уже хилѣлъ душой или сердцемъ, духовною утробой: нѣтъ сомнѣнія, что здѣсь плоть изнемогала подъ бременемъ и гнетомъ скорбящаго духа.

Я принялся разсматривать полученные мною, по самоуправному наслѣдству, листки, вѣрнѣе сказать, разрозненные лоскутки бумажки разной величины, писанные, судя по чернилам и почерку, въ разное время, но не менѣе того составляющіе одно цѣлое. На одномъ листкѣ было приписано съ поля: «Судъ на обидчиковъ моихъ», но это было замарано блѣдными пожелтѣвшими чернилами, и пониже написано: «Грѣшное покаянніе мое». На листкахъ были написаны то молитвы, повидимому имъ самимъ по какому-либо случаю сложенныя, то письма, вѣроятно никуда не отправленныя, то замѣтки и короткія разсужденія разнаго рода, а главное, послѣдовательный рядъ отрывочныхъ воспоминаній. Здѣсь у насъ нѣтъ въ обычаѣ разспрашивать людей о прошлой жизни ихъ и о поводѣ ихъ ссылки: тутъ всякаго цѣнятъ по тому, какимъ онъ себя покажетъ въ новыхъ отношеніяхъ своихъ, и не рѣдко случается, что люди близкіе, живучи вмѣстѣ по-нѣскольку лѣтъ, вовсе не знаютъ, кто и что они были, и какъ сюда попали. То же случилось и съ нами: будучи много лѣтъ товарищами, мы другъ друга никогда не разспрашивали о прошедшемъ, а проговаривались развѣ о томъ и семъ случайно, коли къ слову придется. По общимъ слухамъ, мы полагали, что онъ попалъ сюда по какому-то бѣдственному приключенію; самъ же онъ говаривалъ близкимъ, что въ преступленіи не виноватъ, а въ несчастіи своемъ самъ вино-

венъ; что преступленія нѣтъ на немъ, а грѣха много. Итакъ, изъ лоскутковъ и записокъ этихъ я впервые узналъ въ нѣкоторой подробности жизнь и похожденія этого человѣка. Передаю разсказъ этотъ, гдѣ только можно, его же словами; пополняю по необходимости то только, чего тутъ и тамъ недоставало. Можетъ быть, кого-нибудь займетъ прямодушный разсказъ человѣка, давно уже умершаго для родины своей гражданскою смертію, закинутаго девятымъ валомъ судьбы въ новое отечество, для новой скудной жизни, а нынѣ уже вновь народившагося въ коренной отчизнѣ своей, для жизни духовной.

Покойная барыня наша — такъ начинаетъ онъ разсказъ свой—была, пожалуй, что и добрая барыня, да больно причудлива и безтолкова. Что взбрело на умъ, тѣмъ и бредитъ, то и видитъ, а впередъ и по сторонамъ—ничего. Не чая худа, творила она этимъ много худого. Я выросъ у нея въ домѣ на старинномъ хозяйствѣ, гдѣ дворовыхъ было до сотни, гдѣ крохи со стола подбираются, яйца подъ курицами считаются, а кладь другая хлѣба ускользаетъ промежъ пальцевъ, а лишнія пустоши отдаются, по заведенному порядку, подъ съёмъ, по полтинѣ мѣдью за десятину. Меня приказано было учить грамотѣ и готовить въ конторщики, а учился я вмѣстѣ съ барченками, только за особымъ столомъ. Всѣ шалости дѣлались у насъ съ ними пополамъ и съ-обща; я никакъ уже не считалъ себя крестьяниномъ, а покрайности полубарченкомъ. Вотъ у меня и зародилась дурь немужицкая, а на барскую стать, и всѣ затѣи мои стали походить на барскія. Когда я бывалъ въ милости у барчатъ, заодно съ ними состряпавъ какую-нибудь шалость, то меня кормили съ барскаго стола, а когда они, перессорясь между собою, доносили на меня, то молодого конторщика сѣкли, въ острастку молодымъ господамъ, а ино-

гда еще отправляли на кирпичный заводъ—ссылочное мѣсто, гдѣ запрещено было варево, а всѣ состояли на сухоядѣніи,—на хлѣбѣ и водѣ.

Въ это время я отданъ былъ старшему изъ молодыхъ господъ нашихъ, однихъ со мною лѣтъ, для прислуги. И баринъ, и слуга подросли, и общія шалости ихъ, тайкомъ отъ барыни, мало-по-малу стали принимать уже иную, не совсѣмъ ребяческую складку. У барченка моего, при всѣхъ дурныхъ замашкахъ такого воспитанія, было прободатливое сердчишко, раненько разогрѣтое въ дѣвичьей старой барыни, гдѣ не переводились швеи, вязеи и кружевницы всѣхъ разрядовъ и возрастовъ. Я былъ тутъ, по наряду, пособникомъ и помощникомъ; скоро и во мнѣ самомъ проснулось и заговорило ретивое—да не на тотъ ладъ. Для барина все это были однѣ игрушки да потѣхи, а за меня принялась она, дурь эта, злою сокрушительницею... Скажу напередъ, что грѣха я не зналъ, а тоску нажилъ такую неизбывную, что почитай одурѣлъ.

И что за причуды и безсмысленныя затѣи роятся въ своевольномъ сердцѣ нашемъ, отколѣ берутся онѣ и куда норовятъ? Сѣнныхъ дѣвушекъ, ровней и дружекъ мнѣ на подборъ и выборъ, было съ десятка три; такъ вотъ не туда мы глазомъ накинули: подымай выше...

Стала догадываться тутъ чему-то старая кружевница барынина, дѣвка съ сѣдой косой, да набранившись со швеями и вязеями, пошла да и донесла барынѣ обо всѣхъ шашняхъ ихъ и барчатъ, да кстати ужь вплела туда и меня. Тутъ пошла по всему дому такая переборка, что я вижу страшный день этотъ передъ собою, будто все это сбылось только вчера.

Сѣнныхъ дѣвушекъ, швей и кружевницъ моихъ пересѣкли; которой полголовы остригли, которой косу обрѣзали; молодыхъ баръ переселили въ другіе покои,

такъ что имъ не стало другого выхода изъ дому, какъ черезъ комнату старой барыни—еслибъ не было оконъ; а меня тотчасъ же велѣно сдать въ рекруты.

На счастье, не то на бѣду мою — и самъ не знаю —у меня былъ дядя, старый конторщикъ, любимецъ старой барыни, тотъ самый, который отдавалъ землю въ оброкъ, по полтинѣ мѣди за десятину; онъ пожалѣлъ меня за молодость мою, говорилъ, что слѣдовало бы начать расправу съ баръ, а не съ меня, и приказалъ мнѣ тотчасъ бѣжать и хорониться дня три въ лѣсу, а послѣ держалъ меня у себя въ подпольѣ. Черезъ нѣсколько дней, дядя вызвалъ меня оттуда, объявилъ прощенье и приказалъ тотчасъ же готовиться въ путь, на чужую сторону. Дѣло это сдѣлалось такъ: выждавъ, покуда у старой барыни прошло горячее сердце, онъ съумѣлъ приноровиться въ добрый часъ къ обычаю ея и упросилъ, чтобъ меня, замѣсто солдатства, выгнать на полуторный оброкъ. Онъ самъ внесъ за меня тотчасъ же оброку за полгода впередъ, приказалъ мнѣ стараться, какъ можно, объ уплатѣ его, выдалъ мнѣ изъ конторы билетъ и велѣлъ тотчасъ же отправляться, не мѣшкая ни минуты, чтобъ барыня не передумала. Съ нею это случалось.

На селѣ нашемъ водился одинъ общій промыселъ, переходившій по наслѣдству на всѣхъ, какъ болячка. Имъ однимъ и промышляли всѣ оброчные: строили барки, лодки и струги, ходили съ топоромъ, а также въ паромщики и перевозчики, по разнымъ мѣстамъ, а иные и просто въ бурлаки, на низовье. Какъ избалованный полубарченокъ, называемый въ шутку племянникомъ любимой барской курицы, а стало быть и бѣлоручка, я топора въ рукахъ не держивалъ. Однако дѣлать больше нечего, пошелъ я искать такого хозяина, чтобъ принялъ въ перевозчики, поколѣ не навыкну порядкомъ къ топору.

Оброчные ребята жили у насъ въ городѣ Котахъ, и я пришелъ туда-же. Отыскалъ я своихъ, поздоровался — кто потужилъ со мною, кто посмѣялся—иди, говорятъ, въ нашу артель, отъ своего не откидываться стать; хозяинъ знаетъ нашихъ и приметъ тебя: ты парень молодой, здоровый. Поглядѣлъ я на нихъ, какъ они живутъ, и какъ мнѣ съ ними жить доставалось — такъ только вздохнулъ, да скрѣпя сердце смолчалъ: изба на двѣ половины, называемая бѣлокъ за то, что печи съ трубами — печи во всю стѣну, полати во всю избу, нары чуть не во весь помостъ; народу набито видимо-невидимо... Тутъ въ Сибири ѣдятъ нашего брата одни клопы *); ну, хоть и докучливо, да не такъ велика птица; а тамъ, одной крупной скотины, таракановъ да прусаковъ, не огребешься, а мелкой пѣшей и конной рати—туча-тучами. Нечего дѣлать однако; чужая сторона хоть и мачиха, да не отбыть ея. Пошелъ я въ плотники и въ паромщики, а какъ сказался хозяину, изъ какихъ я мѣстъ, то онъ принялъ меня безъ слова, зная по землякамъ моимъ наши промыслы. Черезъ мѣсяцъ времени и у меня въ рукахъ топоръ пошелъ повертываться не хуже, чѣмъ у людей, и зажилъ было я по-людски...

Но, кого Господь чѣмъ захочетъ взыскать, взыщетъ, а покарать—такъ покараетъ. Что разъ сошло съ рукъ, на томъ таки суждено было мнѣ опять спотыкнуться и не сносить головы. Полубарскія затѣи у меня не шли съ ума; во снѣ и на яву одно грезится, что я-де молодецъ изъ молодцовъ, дѣтина, какого по бѣлу свѣту не сыскать и въ сказкѣ не сказать; и думается, и видится, какъ бы чудомъ какимъ въ люди выдти, черное житье да черную работу бросить, за-

*) Въ Сибири блохъ нѣтъ, онѣ пропадаютъ даже на собакахъ, нѣтъ и таракановъ.

жить бы дворянчикомъ, сладко съѣсть, мягко спать, да ходить въ тонкомъ сукнѣ; то видится вотъ княжна, не то царевна какая, полюбила меня не въ примѣръ прочимъ, къ себѣ призываетъ, всяческими милостями осыпаетъ, золотой казной одѣляетъ. Поди-де сюда, Иванъ, крестьянскій сынъ, поди на бѣлы руки мои, подъ шелковы кудри мои, вотъ тебѣ дорогой подарочекъ: завѣтный золотъ перстень, алый шелковый платъ да серебряна опоясочка; потри правой рукой золотъ перстень — быть тебѣ, на зло и зависть всѣмъ, молодымъ красавчикомъ, бояриномъ; тряхни золотой опоясочкой—не потовой мѣдный грошъ, а даровое золото посыплется; махни шелковымъ платочкомъ — я стою передъ тобой, что листъ передъ травой...

По сосѣдству нашего плотничья подворья жилъ пребогатый купчина, а у него была однѣмъ-одна дочь. Увидалъ я ее впервые, когда шла она съ отцомъ изъ церкви, въ праздничный день, разубранная, разукрашенная, ну волосъ въ волосъ моя сказочнам царевна: и походка такая, и стать такая-жь, и личикомъ какъ будто на нее похожа... повязка съ жемчужною подвязью и назатыльникомъ, жемчужные борки ожерельемъ, какъ вотъ будто кто на мою красавицу горстями высыпалъ жемчугъ, вся имъ облита; сарафанчикъ штофный, розовый, съ золотой обошвой; тѣлогрѣя парчевая, бористая на черныхъ соболяхъ, фата кованая *)...

Ну, мнѣ-ли, бобылю бездомному, ссыльному на полуторный оброкъ холопу, заглядываться на птицу такого полета, какова была Марѳа Петровна Столешникова?—Да на нее не смѣли умомъ накинуть и лучшіе купеческіе сынки котовской знати; ни одна

*) Два неразрѣзанныхъ шелковыхъ платка, шириной, съ золотыми цвѣтами.

сваха и подумать не смѣла о томъ, чтобы ступить ногою черезъ порогъ такого дома; всѣ котовцы и безъ разговору знали, что въ Котахъ нѣтъ дружки для этой пташки, а что, знать, повезутъ ее въ Москву—тамъ утерять ей завѣтную дѣвью волюшку свою, тамъ сложить дѣвичью красу...

Изъ первыхъ заработковъ справилъ я себѣ тонкаго сукна сибирку; деревенскую высокую шляпу съ подхватомъ замѣнилъ щегольскимъ *срызкомъ*, низкой шляпой на бекрень, купилъ и сапоги съ оторочкой и шелковый поясъ... хоть ѣсть-не-ѣсть и пить-не-пить, а безъ этого не жить. Каждое воскресенье, каждый Божій праздникъ стерегъ я Марѳу Петровну, когда она шла чинно съ отцомъ, по выходѣ изъ церкви, спускаясь по ступенямъ съ широкой соборной паперти. Никто не замѣчалъ сумасбродныхъ продѣлокъ моихъ, никому конечно вдогадъ не было, чтобы стоящему въ толпѣ черни, бездомному шатуну залицаться подъ кованую фату. Но Марѳа Петревна видѣла и замѣчала меня. Отчего же она, дочь Петра Сидоровича Столешникова, видѣла и замѣчала барочнаго плотника, чернорабочаго, молодого дѣтину съ лубковыми мозолями на ладоняхъ, за которымъ и всего-то животовъ было: крестъ да пуговица, рубаха красной александрейки да топоръ съ ясеневымъ топорищемъ? Не знаю; а спросить объ этомъ ее мнѣ не доводилось; да едва ли только знала и сама она.

Сталъ я, какъ бары дѣлаютъ, ходить подъ окнами терема Марѳы Петровны, сталъ чаще попадаться ей встрѣчу; ужъ что со мною, горемычнымъ пентюхомъ, дѣлалось — не знаю, а не повидавъ Марѳы Петровны дня три, бывало мнѣ хоть зарѣзаться, хоть утопиться; а вижу—опять разгуляюсь, опять свѣтъ ясный увижу передъ собою, и самъ съ собою какъ будто полажу... Ни разу я съ нею не говаривалъ, никакихъ не было

межъ нами пересыловъ, и никому на умъ не приходило, зачѣмъ я, грѣшный, каждый праздникъ хаживалъ въ соборъ къ обѣднѣ. Знать, некому было сказать мнѣ: «ну съ нашимъ-ли рыломъ въ соборъ къ обѣднѣ— будетъ съ насъ и въ приходскую!» И у меня въ помыслѣ не было попытки, чтобъ снознаться ближе съ Марѳой Петровной, ниже поразмыслить о томъ, что я дѣлаю и куда бреду?—Шелъ день за-днемъ, шесть дней хозяйской работы, а спать про себя; придетъ воскресенье, кто куда, у кого гдѣ какая погулка—у меня все одно, и другаго не надо. Только и было всѣхъ помышленій моихъ, словно одной этой встрѣчей былъ я и живъ, и сытъ, и пьянъ, и здоровъ; а какъ еще она осыплетъ меня взглядомъ своимъ, то пойду, бывало, своей дорогой, и духъ займется, и въ головѣ зашумитъ, словно передъ обморокомъ; и хожу послѣ этого цѣлую недѣлю королевичемъ, на четверть повыше всѣхъ генераловъ...

Работникомъ оставался я трезвымъ и хорошимъ, ни за одно дурное дѣло не брался, потому что худое мнѣ и на умъ не шло, ради стыда передъ Марѳой Петровной и передъ самимъ собою. Мнѣ вотъ казалось, будто она все видитъ и слышитъ, и знаетъ, что я дѣлаю; такъ я себя ужь и держалъ, чтобъ этого не бояться.

Вдругъ пронесся слухъ, что у Петра Сидорыча дочь просватана. Человѣкъ онъ въ городѣ былъ изъ первыхъ, и го́вору объ этомъ прошло не мало. Я прислушивался, разспрашивалъ, какъ бы изъ сторонняго любопытства, и вижу, что слухъ походитъ на дѣло. Старикъ-де разсудилъ, что Марѳѣ Петровнѣ пора замужъ, что самъ онъ ужь въ лѣтахъ и подъ-Богомъ ходитъ, а роду-племени нѣтъ, успокоить старости своей негдѣ, богатства передать некому; а куда-де пойдетъ оно, какъ я умру, а она останется круглой

сиротой? Нахаловъ-то много, отбою не будетъ; а путнаго прядъ-ли найдешь. Вотъ онъ и сталъ самъ пріискивать жениха такого, чтобы взять его въ домъ, усыновить, передать исподволь при себѣ дѣла и оставить ему все свое богатство. Былъ у Петра Сидорыча какой-то старинный пріятель, такой, съ которымъ знались они смолоду, но жилъ онъ въ другой губерніи и торговалъ бѣдно. У этого пріятеля двое сыновей, одинъ въ такихъ лѣтахъ, что годился въ дружки Марѣѣ Петровнѣ. Вотъ Петръ Сидоровичъ и вздумалъ идти къ дѣлежъ со старымъ другомъ: отдай мнѣ, говоритъ, одного сына, а другой пусть останется тебѣ; я же за это передамъ ему достатокъ свой, помогу и тебѣ. Не видавъ нареченнаго зятька своего съ малыхъ лѣтъ его, Столешниковъ вызвалъ его и объявилъ съ плеча, что беретъ его замѣсто сына. Ты-де, чай, человѣкъ небогатый, неизбалованный, а изъ хорошей семьи; знаю я отца твоего, знавалъ и дѣда; чай, мотать не станешь, пойдешь по своимъ; авось станешь слушаться меня старика, поколь я живъ, а послѣ чтить будешь память мою.

Всякая самоувѣренность, самонадѣянность человѣка родится отъ себялюбія и самотности его; оттого, что думаешь только о себѣ, и что мнѣніе свое считаешь непогрѣшимымъ. Дѣда зналъ, такъ за дѣда бы и отдавалъ, а съ чего же взялъ отдавать за внука, котораго не знаешь? — Отъ увѣренности, что, коли я выберу, то будетъ хорошъ; а коли я жалую его своею милостію и богатствомъ, такъ онъ будетъ въ моихъ рукахъ: что захочу, то изъ него и сдѣлаю. — А для чего я хочу въ свою голову закабалить дочь, отдать ее, словно товаръ, съ товаромъ же и съ деньгами? — Для того, чтобъ было кому меня помянуть, почтить память мою; пуще всего мы боимся того, что со смертію и знатность, и богатство наше — все порѣшится, и помину

ему не будетъ; даже некому будетъ поплакать по насъ, пожалѣть,—такъ купить хоть скорбника за свои деньги... а развѣ скорбникъ этотъ не станетъ зырить смерти твоей, какъ воронъ крови?

Что было со мною—не знаю, какъ и сказать: какъ будто ничего, а какъ будто и послѣдній часъ мой насталъ. Ну чтожь? просватана Марѳа Петровна, такъ просватана; кажется, меня это не касается; я кто-же ей буду? — А тамъ опять, какъ захватитъ поперекъ сердца — кто его знаетъ, не разберешь. За себя я ея николи не чаялъ; что надо будетъ ей идти замужъ,— зналъ, вотъ оно-бы, казалось, все въ порядкѣ... такъ мнѣ-бы вотъ хотѣлось положить голову свою за нее на плаху, только; а тамъ — лишь она бы знала это, да и выходила бы съ Богомъ за счастливаго и и любаго. Вижу, что дурь одна по мнѣ ходила—да дѣваться некуда, такъ было, такъ и говорю. Кого жь я полюбилъ болѣ: ее, или себя? — Коли ее, то для чего жь подносить ей голову свою на плахѣ, — на радость что-ли? Успокоить развѣ хотѣлъ я этимъ жизнь ея, упрочить семейное счастье?—Казнись же всякъ, глядя на меня; всѣ мы одни горшки, всѣ изъ одной глины вылѣплены.

Идемъ мы разъ какъ-то артелью съ работы; гляжу— у воротъ Петра Сидоровича бричка, и бричка чужестранная, въ Котахъ такой не бывало. Растворились ворота, прикащики низко кланяются, бричка въѣхала во дворъ. Это отецъ съ сыномъ пріѣхалъ, привезъ на смотрины казать своего женишка. Рѣчи Петра Сидорыча къ нему я ужь говорилъ; Марѳа Петровна, теремная жилица, знаетъ одну волю батюшкину; старики дѣло промежъ себя покончили и простились до осени. На Покровъ—свадьба.

Встрѣчалъ и провожалъ я опять Марѳу Петровну, по старому, а заноза какая-то засѣла; щемило, да и

только. Она сердешная, бывало, никогда больше одного разу не взглядывала на меня, въ одну встрѣчу, хоть и случится стоять поодаль при ней долго, и теперь тожь, этого обычая она не мѣняла, да словно взглянетъ на меня жалостливѣе, больнѣе прежняго. Память мутилась въ головѣ, сердце надрывалось; такъ я и бродилъ пестомъ, словно толокна въ ступѣ наѣвшись, ничего не зналъ, ничего не думалъ, ничего не помнилъ.

Пришла осень и Покровъ, пріѣхалъ и женихъ съ родителями, и заняли они цѣлую половину въ домѣ Столешникова, заранѣе приготовленную. Въ Котахъ огласилось, что быть скоро свадьбѣ; люди бѣгали смотрѣть на жениха, словно на бухарскаго посланника. Я не ходилъ, ровно все одно мнѣ, каковъ онъ ни будь. Что тутъ было толковъ! Одинъ не могъ надивиться, что Петръ Сидоровичъ отдаетъ такую цѣнную дочь за голыша, тогда какъ нашлись-бы женихи рóвни; другой, для чего не беретъ онъ въ зятья знатнаго, почетнаго, чиновнаго, дворянскаго роду, умнаго, ученаго, образованнаго; для чего, пуще всего, не отдаетъ дочери за военнаго, которые бъ сразу расхватали и дюжину такихъ невѣстъ... Я поглядѣлъ только, да и подумалъ про себя: «не такой товаръ, чтобъ его на дюжины класть»; и отошелъ въ сторону. Забившись къ самый темный уголъ полатей, я пролежалъ тамъ дуракъ-дуракомъ круглыя сутки, сказавъ, что голова болитъ. Её таки и воротило у меня къ затылку. Черезъ сутки я всталъ и пошелъ, какъ ни въ чемъ не бывало, на работу.

Сыграли свадьбу, и я стоялъ съ народомъ подъ окнами, гдѣ столпился весь котовскій православный людъ; и глядѣлъ я на все, какъ помню, смирно и спокойно; знать, я и былъ опять похожъ на себя, потому что никому, на меня глядя, никакой догадки въ голову

межъ нами пересыловъ, и никому на умъ не приходило, зачѣмъ я, грѣшный, каждый праздникъ хаживалъ въ соборъ къ обѣднѣ. Знать, некому было сказать мнѣ: «ну съ нашимъ-ли рыломъ въ соборъ къ обѣднѣ — будетъ съ насъ и въ приходскую!» И у меня въ помыслѣ не было попытки, чтобъ спознаться ближе съ Марѳой Петровной, ниже поразмыслить о томъ, что я дѣлаю и куда бреду? — Шелъ день за-днемъ, шесть дней хозяйской работы, а спать про себя; придетъ воскресенье, кто куда, у кого гдѣ какая погулка — у меня все одно, и другаго не надо. Только и было всѣхъ помышленій моихъ, словно одной этой встрѣчей былъ я и живъ, и сытъ, и пьянъ, и здоровъ; а какъ еще она осыплетъ меня взглядомъ своимъ, то пойду, бывало, своей дорогой, и духъ займется, и въ головѣ зашумитъ, словно передъ обморокомъ; и хожу послѣ этого цѣлую недѣлю королевичемъ, на четверть повыше всѣхъ генераловъ...

Работникомъ оставался я трезвымъ и хорошимъ, ни за одно дурное дѣло не брался, потому что худое мнѣ и на умъ не шло, ради стыда передъ Марѳой Петровной и передъ самимъ собою. Мнѣ вотъ казалось, будто она все видитъ и слышитъ, и знаетъ, что я дѣлаю; такъ я себя ужь и держалъ, чтобъ этого не бояться.

Вдругъ пронесся слухъ, что у Петра Сидорыча дочь просватана. Человѣкъ онъ въ городѣ былъ изъ первыхъ, и говору объ этомъ прошло не мало. Я прислушивался, разспрашивалъ, какъ бы изъ стороннаго любопытства, и вижу, что слухъ походитъ на дѣло. Старикъ-де разсудилъ, что Марѳѣ Петровнѣ пора замужъ, что самъ онъ ужь въ лѣтахъ и подъ-Богомъ ходитъ, а роду-племени нѣтъ, успокоить старости своей негдѣ, богатства передать некому; а куда-де пойдетъ оно, какъ я умру, а она останется круглой

сиротой? Нахаловъ-то много, отбою не будетъ; а путнаго врядъ-ли найдешь. Вотъ онъ и сталъ самъ пріискивать жениха такого, чтобы взять его въ домъ, усыновить, передать исподволь при себѣ дѣла и оставить ему все свое богатство. Былъ у Петра Сидорыча какой-то старинный пріятель, такой, съ которымъ знались они смолоду, но жилъ онъ въ другой губерніи и торговалъ бѣдно. У этого пріятеля двое сыновей, одинъ въ такихъ лѣтахъ, что годился въ дружки Марѣѣ Петровнѣ. Вотъ Петръ Сидоровичъ и вздумалъ идти въ дѣлежъ со старымъ другомъ: отдай мнѣ, говоритъ, одного сына, а другой пусть останется тебѣ; я же за это передамъ ему достатокъ свой, помогу и тебѣ. Не видавъ нареченнаго зятька своего съ малыхъ лѣтъ его, Столешниковъ вызвалъ его и объявилъ съ плеча, что беретъ его замѣсто сына. Ты-де, чай, человѣкъ небогатый, неизбалованный, а изъ хорошей семьи; знаю я отца твоего, знавалъ и дѣда; чай, мотать не станешь, пойдешь по своимъ; авось станешь слушаться меня старика, поколь я живъ, а послѣ чтить будешь память мою.

Всякая самоувѣренность, самонадѣянность человѣка родится отъ себялюбія и самотности его; оттого, что думаешь только о себѣ, и что̀ мнѣніе свое считаешь непогрѣшимымъ. Дѣда зналъ, такъ за дѣда бы и отдавалъ, а съ чего же взялъ отдавать за внука, котораго не знаешь? — Отъ увѣренности, что, коли я выберу, то будетъ хорошъ; а коли я жалую его своею милостію и богатствомъ, такъ онъ будетъ въ моихъ рукахъ: что захочу, то изъ него и сдѣлаю. — А для чего я хочу въ свою голову закабалить дочь, отдать ее, словно товаръ, съ товаромъ же и съ деньгами? — Для того, чтобъ было кому меня помянуть, почтить память мою; пуще всего мы боимся того, что со смертію и знатность, и богатство наше — все порѣшится, и помину

ему не будетъ; даже некому будетъ поплакать по насъ, пожалѣть,—такъ купить хоть скорбника за свои деньги... а развѣ скорбникъ этотъ не станетъ зырить смерти твоей, какъ воронъ крови?

Что было со мною—не знаю, какъ и сказать: какъ будто ничего, а какъ будто и послѣдній часъ мой насталъ. Ну чтожь? просватана Марѳа Петровна, такъ просватана; кажется, меня это не касается; я кто-же ей буду? — А тамъ опять, какъ захватитъ поперекъ сердца — кто его знаетъ, не разберешь. За себя я ея николи не чаялъ; что надо будетъ ей идти замужъ,— зналъ, вотъ оно-бы, казалось, все въ порядкѣ... такъ мнѣ-бы вотъ хотѣлось положить голову свою за нее на плаху, только; а тамъ — лишь она бы знала это, да и выходила бы съ Богомъ за счастливаго и и любаго. Вижу, что дурь одна по мнѣ ходила—да дѣваться некуда, такъ было, такъ и говорю. Кого жь я полюбилъ болѣ: ее, или себя? — Коли ее, то для чего жь подносить ей голову свою на плахѣ, — на радость что-ли? Успокоить развѣ хотѣлъ я этимъ жизнь ея, упрочить семейное счастье?—Казнись же всякъ, глядя на меня; всѣ мы одни горшки, всѣ изъ одной глины вылѣплены.

Идемъ мы разъ какъ-то артелью съ работы; гляжу— у воротъ Петра Сидоровича бричка, и бричка чужестранная, въ Котахъ такой не бывало. Растворились ворота, прикащики низко кланяются, бричка въѣхала во дворъ. Это отецъ съ сыномъ пріѣхалъ, привезъ на смотрины казать своего женишка. Рѣчи Петра Сидорыча къ нему я ужь говорилъ; Марѳа Петровна, теремная жилица, знаетъ одну волю батюшкину; старики дѣло промежъ себя покончили и простились до осени. На Покровъ—свадьба.

Встрѣчалъ и провожалъ я опять Марѳу Петровну, по старому, а заноза какая-то засѣла; щемило, да и

только. Она сердешная, бывало, никогда больше одного разу не взглядывала на меня, въ одну встрѣчу, хоть и случится стоять поодаль при ней долго, и теперь тожъ, этого обычая она не мѣняла, да словно взглянетъ на меня жалостливѣе, больнѣе прежняго. Память мутилась въ головѣ, сердце надрывалось; такъ я и бродилъ пестомъ, словно толокна въ ступѣ наѣвшись, ничего не зналъ, ничего не думалъ, ничего не помнилъ.

Пришла осень и Покровъ, пріѣхалъ и женихъ съ родителями, и заняли они цѣлую половину въ домѣ Столешникова, заранѣе приготовленную. Въ Котахъ огласилось, что быть скоро свадьбѣ; люди бѣгали смотрѣть на жениха, словно на бухарскаго посланника. Я не ходилъ, ровно все одно мнѣ, каковъ онъ ни будь. Что тутъ было толковъ! Одинъ не могъ надивиться, что Петръ Сидоровичъ отдаетъ такую цѣнную дочь за голыша, тогда какъ нашлись-бы женихи ровни; другой, для чего не беретъ онъ въ зятья знатнаго, почетнаго, чиновнаго, дворянскаго роду, умнаго, ученаго, образованнаго; для чего, пуще всего, не отдаетъ дочери за военнаго, которые бъ сразу расхватали и дюжину такихъ невѣстъ... Я поглядѣлъ только, да и подумалъ про себя: «не такой товаръ, чтобъ его на дюжины класть»; и отошелъ въ сторону. Забившись въ самый темный уголъ полатей, я пролежалъ тамъ дуракъ-дуракомъ круглыя сутки, сказавъ, что голова болитъ. Её таки и воротило у меня къ затылку. Черезъ сутки я всталъ и пошелъ, какъ ни въ чемъ не бывало, на работу.

Сыграли свадьбу, и я стоялъ съ народомъ подъ окнами, гдѣ столпился весь котовскій православный людъ; и глядѣлъ я на все, какъ помню, смирно и спокойно; знать, я и былъ опять похожъ на себя, потому что никому, на меня глядя, никакой догадки въ голову

не приходило.. да и кому же, вправду, пойдетъ на умъ такая блажь... ну, про это полно.

Замужемъ видѣлъ я Марѳу Петровну все рѣже да рѣже; какъ-то случая такого не выходило, да и самъ я будто выбился изъ силъ, будто сердце мое, жерновами измолотое, заглохло и притихло. Я ходилъ, какъ живой, и правилъ всю работу, какъ слѣдуетъ.

Немного времени спустя, о молодомъ нашемъ прошли слухи недобрые. Что была у него, какъ говорится, дыра въ горсти, что моталъ безпутно, это бы не наше дѣло, Богъ съ нимъ; да худо то, что сталъ онъ горькимъ пьяницей и буяномъ, обидчикомъ молодой жены. Бился, бился съ нимъ Петръ Сидоровичъ, весь бѣлый свѣтъ виноватъ передъ нимъ и всѣхъ проклинаетъ, а самого себя не винитъ ни въ чемъ. Вотъ и прошелъ слухъ, что не сегодня, такъ завтра сгонитъ онъ сынка со двора совсѣмъ—а онъ замѣсто того самъ взялъ, да на утро и померъ.

Волей-неволей старикъ все добро свое покинулъ, съ собою не взялъ ничего. И пошелъ чортъ по кленкамъ, пошелъ зятекъ на просторѣ ходить такимъ козыремъ, что пыль столбомъ, дымъ коромысломъ. Безпутнѣе этого житья врядъ-ли кто видывалъ отродясь. Что она горя приняла—и не перечтешь, не перескажешь: Богъ одинъ про то и вѣдаетъ. А каково мнѣ-то было слышать все это—и про то Богъ одинъ вѣдаетъ, грудь одна знала да подоплека, а не сказывалъ я о томъ никому. Вижу я только, встрѣтивъ ее въ кои годы разъ, что стала она, сердешная, на себя не похожа. Молчу да терплю.

Въ Котахъ былъ обычай: большое гулянье въ Духовъ день въ рощѣ. На гулянье это не попадалъ развѣ тотъ изъ котовцевъ, кто помиралъ наканунѣ. Старъ и малъ, съ чадами и домочадцами, баринъ и слуга, барыня и судомойка — словомъ, ни одного калѣки ни-

щаго не оставалось въ городѣ, который бы можно въ этотъ день ограбить и выпустошить до-чиста, и сами хозяева и мѣстныя власти узнали бы объ этомъ не прежде, какъ воротившись къ свѣту домой,—все было въ рощѣ на гуляньѣ. Роща эта лежала за рѣкой, моста не было, а потому однимъ намъ, перевозчикамъ, и не было праздника въ этотъ день, они одни его не знали. Что было лодокъ у нашего хозяина, всѣ исправилъ онъ и пустилъ къ этому дню въ дѣло; да и мы всѣ, сколько насъ было у него рабочихъ и плотниковъ, всѣ до одного сидѣли въ веслахъ.

Стало густо смеркаться; въ рощѣ повсюду вынырнули изъ потемокъ огоньки; шумъ, гулъ, крикъ и пѣсни несутся издали на рѣку, то громче, то глуше, по прихоти вѣтра; сколько концовъ далъ я взадъ и впередъ, ужь и не помню, а стоялъ съ лодкой, усталый, у того берега подъ рощей, выжидая хорошихъ сѣдоковъ домой. Я сидѣлъ, свѣсивъ голову промежъ плечъ, призадумавшись, колобродилъ умомъ невѣсть гдѣ—то орломъ ширялъ, то бѣлымъ лебедемъ по поднебесью; дѣло безданное и безпошлинное, зато и бездоходное.—Перевозчикъ! взревѣлъ пьяный голосище почти надъ самымъ ухомъ моимъ, потому что хозяинъ этого голоса невольно свѣсился и наклонился впередъ. Я вздрогнулъ и, оглянувшись, увидѣлъ Марѳу Петровну съ мертвецки-пьянымъ хозяиномъ своимъ. Онъ мотался на покосныхъ ногахъ туда и сюда; ругался срамно и буянилъ; она, разодѣтая празднично, поддерживала его, ублажала въ страхѣ и умоляла сѣсть скорѣе въ лодку и ѣхать домой...

Я опомнился только, когда всплеснулъ веслами по мокрой зыби; молча гребъ я налѣгомъ враспашную, то глядя тупо передъ себя, на несродную чету, то поверхъ, въ темную рощу, осыпанную огоньками, какъ звѣздами. Было ужь поздно, и въ ней раздавались только

одинокіе, запоздалые, да дружные хмѣльные голоса отсталыхъ гулякъ, къ родѣ того, котораго я везъ. Ему не сидѣлось, черезъ силу Марѳа Петровна удерживала его на мѣстѣ; неугомонный буянъ, задорный и драчливый во хмѣлю, все придирался къ ней, ругался, и вдругъ ни съ того, ни съ сего, полѣзъ драться. Надорвалось у меня ретивое, какъ она взвыла подъ его лапищами... «На водѣ не драться», закричалъ я грознымъ голосомъ; онъ, заложивъ, видно, уши крѣпко, какъ будто не разслышалъ или не взялъ въ толкъ словъ моихъ, поглядѣлъ на меня да опять за то же. Я закричалъ на него острасткой еще погромче и привсталъ съ угрозой; только этого ему и надо было: онъ покинулъ хозяйку и сталъ придираться ко мнѣ. Я молчалъ и гребъ, не отзываясь ни чохомъ, ни вздохомъ; онъ-же, освирѣпѣвъ, полѣзъ ко мнѣ драться, да не зналъ, какъ черезъ всю лодку дойти: то привстанетъ и опять осядется, какъ лодку качнетъ, то полѣзетъ на корачкахъ, бранится на чемъ свѣтъ стоитъ и кулаками издали на меня тянется. Я гребу все молча; Марѳа Петровна сидитъ, плачетъ, хватаетъ его за полы, умоляетъ; онъ оретъ бранью и все лѣзетъ, хватаясь по краю — того и гляди вывалится: что я стану съ нимъ дѣлать? Наконецъ добрался-таки онъ до меня и не унимается, лѣзетъ. Я сжалъ кулаки на веслахъ, положивъ зарокъ — молчать и не трогать его пальцемъ, а грести, хоть бей онъ меня, хоть что хочешь дѣлай. Онъ былъ такъ пьянъ, что и лыко не вязалъ: чай, не могъ бы меня и больно ударить. Вскинувшись вдругъ на меня зря и встрѣтивъ толчекъ веслами, которыя заносилъ я въ это время, налегая впередъ, онъ повалился подъ лавку, опять вдругъ вскочилъ на ноги, хотѣлъ пасть на меня стойкомъ, повихнулся бокомъ и со всего размаху перекинулся черезъ голову въ воду.

Это было по самой срединѣ быстрой, глубокой рѣки; грузный винтомъ забіяка пошелъ ко дну, какъ топоръ, и пузыря не пустилъ. Что тутъ было, не сумѣю и сказать. Пробившись долго на мѣстѣ, чтобъ отыскать утопленника, и все по-пусту—его, конечно, уволокло теченіемъ, а и насъ также несло, ночь темна, я и потерялъ мѣсто самое и не могъ болѣе опознаться—я сѣлъ на свое мѣсто; руки мои опустились, не могъ я приняться за весла, да и не зналъ, куда грести, что дѣлать; она сидѣла на своемъ мѣстѣ, въ кормушкѣ, оба мы молчали. И самъ я теперь не пойму себя, отчего я не сталъ кричать, не звалъ помощи, отчего не присталъ тотчасъ къ берегу, чтобъ заявить обо всемъ начальству; ничего не знаю: знаю только, что сидѣлъ я, подпершись локтями и глядя себѣ въ ноги, и что лодку несло водой, таща безпамятныхъ, невѣдомо куда.

Заря стала заниматься.—Куда грести, Марѳа Петровна? спросилъ я,—насъ снесло далече. Это была первая моя рѣчь къ ней, потому что рѣчей не было у насъ, когда утонулъ хозяинъ ея; она словно была безъ памяти, я же прянулъ за нимъ, да выбившись изъ силъ, едва опять попалъ въ лодку; охалъ, говорилъ-ли что про себя, не помню, а бесѣды у насъ не было.—Куда грести, Марѳа Петровна?—Домой, проговорила она.—И вправду, куда жъ было еще грести, коли не домой; откуда такой глупый вопросъ взялся?

Я опять молча налегъ на весла и чуть не къ полудню только выгребъ противъ воды до мѣста.—Надо заявить, сказалъ я, опомнясь теперь; это было и всего-то второе слово мое къ ней.

Пошло слѣдствіе, меня стали винить, что я его утопилъ, что сгубили мы его вмѣстѣ; всѣ знали, каково житье ея было за покойникомъ, такъ оно бы, по людскому сужденію, дѣло сбыточное. Пуще всего уликой противъ меня было, что пропадали мы съ лодкой, не-

вѣдомо гдѣ и зачѣмъ, почти до полудня, а не пристали тотчасъ въ ночи къ пристани и не заявили дѣла. Съ утра ужь домашніе Марѳы Петровны спохватились хозяевъ, полиція и городъ всполошились, отыскивая пропавшихъ съ гулянья безъ вѣсти, и допросы ужь начались.

Что мнѣ было говорить, что ей бѣдной сказывать передъ судомъ, чѣмъ оправиться?—А каково-то мнѣ было объ эту пору, что втянулъ я ее, сердешную, однимъ только безразсудствомъ своимъ, въ такое дѣло?— Но есть на человѣческую глупость Божья премудрость и милосердіе: Марѳу Петровну онъ прибралъ къ себѣ, въ неземные лики свои, а мнѣ грѣшному велѣлъ искушаться еще, до сроку не изнемогая духомъ и не ропща. И не стану: одна голова не бѣдна, а и бѣдна, да одна.

Съ этого-то времени я и сталъ радушнымъ гостемъ земли, выжидая часу, когда Отецъ призоветъ къ себѣ блудныхъ дѣтей своихъ. Кто что ни говори—въ гостяхъ хорошо, а дома будетъ лучше.

КЛИКУША

Весною прибылъ я въ большую графскую вотчину, въ одной изъ сѣверныхъ губерній нашихъ, куда поступилъ я управляющимъ. Надобно сказать, что я дотолѣ крестьянами не управлялъ, кромѣ своего маленькаго имѣнія, на которомъ даже не могъ бы прожить самъ съ семействомъ; но я зналъ и любилъ хозяйство и занимался имъ уже давно, по книжному и наглядно. Я полагалъ, что нѣсколько знаю нашего крестьянина, бытъ, нужды, наклонности и замашки его, а потому и надѣялся сладить съ нимъ и принести нѣкоторую пользу. Словомъ, я съ большимъ усердіемъ и охотой занялся своею новою обязанностію и началъ съ того, что сталъ вникать во всѣ подробности крестьянскаго быта, и въ особенности мѣстнаго, бывшаго до меня, управленія. И вотъ, на первыхъ же порахъ, представился довольно замѣчательный случай для испытанія моихъ управительскихъ дарованій.

Разсматривая поданные мнѣ изъ конторы списки наличности разнаго рода, я, между прочимъ, остановился на одной довольно странной для меня статьѣ: въ какомъ-то валовомъ спискѣ наличныхъ, тягольныхъ и безтягольныхъ крестьянъ, бобылей, холостыхъ, престарѣлыхъ, калѣкъ, дряхлыхъ и хворыхъ, самымъ ди-

кимъ и безтолковымъ образомъ перемѣшаны были: коровы, козы, овцы, люди, гуси, индѣйки—по томашнему *торы*,—и бабы; въ томъ числѣ, между прочимъ, показано отдѣльно: *колдуновъ* 3, *кликушъ* 23.—Пересмотрѣвъ списокъ нѣсколько разъ и убѣдившись, что я не ошибаюсь, что колдуны и кликуши эти, хотя они и поставлены вслѣдъ за гусями и утками, относились не до какой-либо извѣстной мнѣ породы домашнихъ животныхъ, а до людей, я велѣлъ позвать старшаго конторщика; дѣло, очевидно, требовало объясненія.

Что это?—спросилъ я, указывая на вторую изъ сомнительныхъ статей.—Кликуши-съ, отвѣчалъ тотъ, посмотрѣвъ напередъ со вниманіемъ и убѣдившись, что тутъ не было никакой описки.—Да это я вижу; но что жь это значитъ, отчего онѣ кликуши? кто пожаловалъ ихъ въ это званіе?—Богъ ихъ знаетъ; колдуны, должно-быть; онѣ какъ выкрикиваютъ или выкликаютъ, такъ на нихъ, на колдуновъ, то есть, показываютъ; испорчены, должно быть-съ.—Кто жь у васъ завелъ порядокъ этотъ, чтобъ были кликуши, и давно-ли это ведется?—Давно будетъ-съ, чай споконъ-вѣку, и не впамять старикамъ. Безъ этого Божьяго наказанія никакъ нельзя: вотчина большая, сами изволите знать; это вѣдь здѣсь не только что у насъ, а по всему краю, дѣло извѣстное. Туда вонъ къ Шадринску, опять вотъ къ Чардыни, такъ ихъ и невѣсть что. А по описямъ ведутся онѣ, то есть, значатся у насъ для порядка, еще отъ покойнаго графа; и тогда уже были онѣ, кликуши эти, только не много; для этого самаго и приказано было ихъ переписать; ну, а замѣстъ того, онѣ пуще расплодились; такая бѣда, годъ-отъ-году все больше.—На работу ходятъ онѣ у васъ?—Которыя ходятъ, да плохо; какая у обѣдни выкликала, такъ ужь на недѣлѣ не работница, отдыхаетъ. Что съ ними станешь дѣлать, вонъ, иной такъ и свои старики боятся и ста-

росты; того гляди выкличетъ ихъ по имени, какъ залаетъ по собачьи. — Что это значитъ? Я тебя не понимаю; ты знаешь, я человѣкъ новый: говори толкомъ все.

Тогда я услышалъ вотъ что. Кликуши оказываютъ порчу и силу свою по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ, во время службы, обычно на церковной паперти; какъ только заблаговѣстятъ къ Достойной, а иногда какъ запоютъ Херувимскую, то одна изъ кликушъ, стоящихъ уже изъ предосторожности у самыхъ дверей въ церкви, или даже снаружи, на паперти,— одна изъ нихъ начинаетъ завывать дикимъ голосомъ или *голотать*, какъ выразился конторщикъ, и ее скорѣе выводятъ. Тутъ она начинаетъ заливаться всѣми голосами, дразнить всѣхъ звѣрей и животныхъ, особенно же кричитъ-по свиному, лаетъ и воетъ собакой. Между тѣмъ, другія пристаютъ къ запѣвалѣ подголосками, подкатываютъ очи подъ лобъ, подворачиваютъ *талы*, какъ здѣсь говорятъ; руки и ноги и наконецъ все тѣло начинаетъ корчить и сводить судорогами; бабы мои падаютъ, закидываютъ головы, воютъ и ломаются на всѣ лады, до изнеможенія; ихъ покрываютъ чѣмъ нибудь и оставляютъ въ покоѣ, а пришедъ въ себя, онѣ ничего не помнятъ. Иногда, въ неистовомъ крикѣ своемъ, безотвязно повторяютъ онѣ какое-нибудь одно слово, ломая и коверкая его такъ, что надобно догадываться и добираться до него съ трудомъ: смыслъ и таинственное значеніе этого слова составляетъ надолго завлекательную загадку для народа, который считаетъ это пророчествомъ и выводитъ изъ того свои заключенія. Если кликуша выкрикиваетъ такимъ образомъ кого-нибудь, именно, чье-нибудь имя, то указываетъ этимъ на колдуна, который ее испортилъ: колдунъ этотъ, слыша такую очевидную улику, и самъ не смѣетъ отпираться отъ вины своей, а либо кается прямо, либо

угрюмо молчитъ. Говорить нечего: улика налицо. Этихъ-то кликушъ и указываемыхъ ими колдуновъ, по заведенному изстари обычаю, вносили въ именные списки и показывали, какъ мы видѣли, въ особыхъ графахъ или статьяхъ, рядомъ съ *тарами* и *бочьками*, то есть индѣйками и свиньями.

Во избѣжаніе недоразумѣній, замѣчу здѣсь, что болѣзни кликушъ въ прямомъ и строгомъ смыслѣ нельзя назвать притворствомъ; но можно, по справедливости, назвать шалью, дурью, которую бабы напускаютъ на себя, глядя на другихъ. Первическіе и истерическіе припадки бываютъ, если не прилипчивы, то духовно или нравственно заразительны, возбуждая почти невольно переимчивость, поддерживаемую обычаемъ и неизвѣстными отношеніями мѣстности. Сильное нравственное сотрясеніе, особенно кстати приспособленное вліяніе страха, иногда въ болѣзняхъ этого рода оказываетъ волшебное пособіе; брось одна дурить, и велѣдъ за нею, по причинѣ той же непостижимой переимчивости, всѣ вдругъ выздоравливаютъ. Само собою разумѣется, что въ подобномъ случаѣ является отчасти и прямое притворство.

Я сталъ освѣдомляться, не лѣчили ли кликушъ этихъ, и услышалъ, что прежде много лѣчили, все дѣлали, что люди скажутъ, да ничего не было пользы. «Ихъ, сударь, лѣчить нельзя,—сказалъ конторщикъ самоувѣренно,—потому что это наслано, по вѣтру пущено, то есть онѣ испорчены. Бывало, за покойнаго графа дѣкарей привозили изъ города, и много хлопотъ было, и денегъ потратили, а толку нѣтъ. Который дѣло свое знаетъ, такъ самъ отказывается; а другой, несмыслящій, пить даетъ снадобья разныя; ну, отъ этого бывало еще хуже станетъ, и бросили. Возили и знахарей издалеча,—самыхъ докъ; случалось, что иной отводилъ, да только не надолго, до новаго мѣсяца

только, а тамъ опять то же. Рѣдко развѣ, когда сама на колдуна укажетъ, который испортилъ, и на того, который, то есть, можетъ осилить его, такъ поспорują-ются, да ино и одолѣетъ, который позаористѣе. А то, такъ вотъ онѣ и имѣются у насъ и шатаются; и домато у нихъ не споро, хозяйство запущено, да и работу господскую мало какую исправляютъ, поэтому и отъ старыхъ господъ еще приказаніе было, чтобъ не трогать ихъ.»

— А на богомолье ходятъ?—спросилъ я.

— Ходятъ, какъ же, онѣ только этимъ и дышатъ и отъ злой смерти спасаются. Какъ весна вотъ только настанетъ, то и пойдутъ себѣ ватагами со всего околотка, и въ Воронежъ, и въ самый Кіевъ другія ходятъ; а нѣтъ, такъ хоть по здѣшнимъ монастырямъ, къ Сергію Радонежскому, а ино и въ Соловки. Иная воротится, ей словно получше, мѣсяцъ-другой ходитъ словно здоровая, а тамъ опять схватитъ; какъ схватитъ одну, такъ, глядишь, и всѣ закликали.

Всего этого было мнѣ уже достаточно, чтобы сообразить значеніе кликушъ и подумать о попыткѣ избавиться отъ нихъ. Я сталъ однако разузнавать еще подъ рукою о родѣ жизни ихъ и объ отношеніяхъ ихъ къ колдунамъ, коихъ имена онѣ выкрикивали во время этихъ страшныхъ припадковъ. Я вскорѣ убѣдился до очевидности, что отношенія эти были двоякія: либо баба, послѣ какой-нибудь ссоры съ мужикомъ, нерѣдко и послѣ злобныхъ и слишкомъ неосторожныхъ угрозъ, за кои, подъ названіемъ: «похвальныхъ словъ», пришлось-бы отвѣчать, вдругъ дѣлалась кликушей и выкликала именно того мужика, на котораго зла; либо самъ мужикъ, и въ этомъ случаѣ всегда какой-нибудь отчаянный негодяй, пьяница и ославившійся воръ, бралъ на себя званіе колдуна, находя это довольно выгоднымъ въ житейскомъ быту своемъ. Здѣсь званіе кол-

дуна даже почетно, потому что ихъ честятъ хотя для вида и очень боятся. Такому колдуну всякъ первый шапку сымаетъ, величаетъ его по отчеству, кланяется въ поясъ, угощаетъ и потчуетъ и ублажаетъ; никто не смѣетъ сыграть или отпировать свадьбу, не поклонявшись напередъ колдуну-вѣдуну, не обдаривъ его и не получивъ отъ него согласія или одобренія. Такой мужикъ, бывъ до этого въ общемъ презрѣніи и не слышавъ ни отъ кого добраго слова, вдругъ, благодаря глупости и робости прочихъ, входитъ у нихъ въ почетъ, сидитъ на всякомъ пиру на первомъ мѣстѣ, ни передъ кѣмъ не ломаетъ шапки и даже не сымаетъ ее на приводѣ молодыхъ изъ-подъ вѣнца и въ другія торжественныя минуты этого празднества, нарушая самымъ соблазнительнымъ образомъ общее приличіе и пристойность.

Что касается собственно кликушъ, то, при осторожномъ и негласномъ разбирательствѣ, оказалось, что въ числѣ ихъ не было ни одной путной, работящей хозяйки; всѣ онѣ напередъ уже ославились въ быту своемъ, какъ нехозяйки и какъ неработницы, а затѣмъ ужь попали въ кликуши. Это дотого было всякому извѣстно, что даже сами крестьяне, которые суевѣрно и слѣпо вѣровали въ кликушъ, перебраниваясь съ плохой работницей или попрекая дурную хозяйку, нерѣдко говаривала: «она, знать, скоро въ кликушахъ будетъ.» За всѣмъ тѣмъ, если это черезъ нѣсколько времени сбывалось на дѣлѣ, то всѣ они, не менѣе того, соболѣзновали объ испорченныхъ, догадывались, кѣмъ это наслано, смотрѣли съ какимъ-то подобострастіемъ на всѣ продѣлки порченицы, и до того сами забывали о пророчествѣ своемъ, что имъ и въ мысль не приходило ничего, кромѣ прискорбной новости, что такая-то стала выкликать. Коли злая баба дурно жила съ мужемъ, ссорилась съ нимъ и потомъ дѣлалась кли-

кушей, то и самъ мужъ этотъ нелицемѣрно оплакивалъ семейное бѣдствіе свое, сожалѣя объ испорченной и проклятая вѣдуновъ.

Подумавъ объ этомъ дѣлѣ, я и самъ обнаружилъ къ несчастнымъ этимъ одно только сострадание и жалость, не подавъ никакого вида укоренившагося во мнѣ убѣжденія. Въ первое воскресенье я отправился къ обѣднѣ, съ намѣреніемъ посмотрѣть внимательно на кликушъ нашихъ, не таясь ни отъ кого, что желалъ бы ихъ видѣть въ припадкѣ. Молва объ этомъ разнеслась по селу, и онѣ точно на первый разъ меня потѣшили: представленіе было одно изъ самыхъ блистательныхъ. Любопытство ли и сострадание мое ихъ поощрили, хотѣли ль онѣ озадачить и пріучить меня съ самаго начала къ такому заведенному порядку и удержать за собою присвоенныя имъ права и преимущества, даже по конторскимъ описямъ,— не знаю; но онѣ были всѣ налицо и кудесили взапуски.

Оставшись спокойнымъ зрителемъ до конца этой продѣлки, я поговорилъ послѣ кротко съ кликушами, сожалѣлъ о несчастномъ положеніи ихъ и обѣщалъ всѣми силами постараться, чтобы оказать имъ пособіе, въ чемъ я тѣмъ болѣе надѣюсь, что графъ далъ мнѣ на это особыя приказанія и самыя подробныя наставленія, какъ и чѣмъ именно пользовать кликушъ. «Съ Божіею помощію можете надѣяться, сказалъ я, будьте только во всемъ послушны, покуда вы въ своей памяти; въ безпамятствѣ же, конечно, никто въ себѣ не воленъ, и тогда ужь распорядиться, какъ слѣдуетъ, будетъ мое дѣло. Средство, которое графъ непремѣнно приказалъ мнѣ употребить,—прибавилъ я—помогло въ вотчинѣ такого-то барина, въ такомъ-то мѣстѣ, гдѣ было много испорченныхъ и кликушъ; всѣ онѣ, благодаря Бога, теперь здоровы».

На слѣдующій же день я сталъ дѣлать гласныя пріуготовленія для пользованія моихъ больныхъ. Я приказалъ очистить во дворѣ одну половину небольшого отдѣльнаго строенія, наслалъ въ немъ нары, а въ окнамъ придѣлалъ рѣшетки; къ новой больницѣ этой приставленъ былъ особый цирюльникъ и двое сторожей; у крыльца поставлены были два чана, налитые водою; и все это дѣлалось съ большою оглаской и со всѣми возможными околичностями, и между прочимъ бабы наряжаемы были десятками, посмѣнно, для очистки и уборки приготовляемой больницы. Все это было ново въ здѣшнемъ краѣ; распоряженія мои и устройство это съ самаго начала обратили на себя общее вниманіе не только всей дворни, но и деревенскихъ крестьянъ, а въ особенности бабъ. Новаго заведенія дичились, но смотрѣли на него издали съ большимъ любопытствомъ и допытывались изподтишка, что изъ этого будетъ, и какимъ образомъ станутъ лѣчить кликушъ. Я молчалъ, не подавая виду, что замѣчаю это; ходилъ повременамъ осматривать заведеніе свое и говорилъ только при случаѣ, что графъ очень строго приказалъ мнѣ заботиться объ этихъ несчастныхъ женщинахъ и пользовать ихъ предписаннымъ способомъ, не уклоняясь ни на-волосъ отъ правилъ.

Наконецъ пришла суббота, и я уже распорядился наканунѣ съ вечера, чтобы всѣ бабы пришли на работу на барскій дворъ. Я приказалъ подъ рукой, чтобы непремѣнно и всѣ кликуши наши были тутъ же налицо, найдя предлогъ для спѣшной валовой работы и сказавъ, что буду угощать. Роздали ленъ по рукамъ, а я вызывалъ бабъ прясть взапуски, обѣщавъ лучшимъ пряхамъ подарки, а всѣмъ вообще угощеніе. Погода стояла прекрасная; бабы мои, разсѣвшись съ веретенами, покрыли собою весь огромный дворъ и, сгрудившись тутъ и тамъ кружками, запѣли пѣсни.

Старосты и десятскіе расхаживали для надзора, а я отпускалъ на крыльцѣ дома ленъ, принималъ и осматривалъ пряжу и поглядывалъ на заведеніе свое, при которомъ стояли безотлучно цирюльникъ со сторожами. Я могъ замѣтить, что новость эта привлекала общее вниманіе бабъ, и что въ числѣ шутокъ тутъ и тамъ прорывалась угроза: «а вотъ погоди, вотъ возьмутъ тебя лѣчить въ цирюльню.»

Въ такомъ положеніи были дѣла, какъ два работника вошли въ ворота и пронесли по всему двору, черезъ бабъ, трехсаженную доску, на коей, по желтому полю, полуаршинными черными буквами прописано было: *больница для кликушъ*. Я отправился вслѣдъ за вывѣскою черезъ весь дворъ, со всѣмъ штабомъ и придворными своими: тамъ цирюльникъ со служителями встрѣтили насъ, и вскорѣ вывѣска была поднята и поставлена на свое мѣсто. Жизнь и говоръ, пробѣгавшіе по бабьему базару, доказывали, что всѣ продѣлки эти возбуждаютъ сильное вниманіе и любопытство гостей моихъ. Я продолжалъ осматривать заведеніе внутри и снаружи, отдавая гласныя приказанія, чтобы цирюльнику со служителями въ воскресенье отнюдь никуда не отлучаться, чтобы все по приказанію моему было приготовлено, чтобы на погостѣ стояли двое носилокъ съ рядами и прочее; затѣмъ, какъ только сдѣлается съ кѣмъ припадокъ, тотчасъ уложивъ больную на носилки, нести въ новую больницу. Затѣмъ послалъ я цирюльника въ барскій дворъ за хранившимся у меня тамъ снарядомъ; онъ вынесъ оттуда, перейдя обратно весь дворъ, среди глазѣющей толпы бабъ, свѣтло-вычищенную полуторааршинную трубу бѣлой жести,—снарядъ, употребляемый садовниками въ теплицахъ и при цвѣтникахъ, для окропленія растеній дождемъ, и называемый спрыскомъ. Никѣмъ невиданная загадочная вещь эта заставила всѣхъ бабъ

моихъ сложить руки, разинуть рты и проводить глазами торжественное шествіе дивнаго снаряда. Что это такое? что изъ этого будетъ? какія это чудеса?

Я велѣлъ подать воды изъ приготовленныхъ чановъ и испробовать тутъ же въ нѣсколько пріемовъ спасительный снарядъ, изъ котораго толстая струя воды била водометомъ, какъ изъ заливной трубы, подъ самый свѣсъ кровли. Любопытство заставило сперва одну, а тамъ и другую и третью изъ числа пряхъ, привстать и подойти къ намъ поближе; остальныя стали чутко прислушиваться къ разговору и мало-по-малу тоже приближались. На вопросы старосты, какъ и что приказано будетъ дѣлать, и для чего принесена такая, никѣмъ невиданная, вещь, я объяснилъ ему, что по вновь открытому нынѣ и испытанному способу лѣченія кликушъ, эта штука оказываетъ удивительную помощь, и что это та самая вещь или приборъ, коимъ излѣчены всѣ испорченныя бабы въ томъ имѣніи, о коемъ я намедни говорилъ. Графъ нашъ нарочно выписалъ его оттуда. Какъ только появится припадокъ, то надобно тотчасъ употребить въ дѣло двѣ или три полныя трубки холодной воды: этого боится всякая порча пуще всѣхъ наговоровъ; тогда начинаетъ бить ознобъ того колдуна, который наслалъ порчу, а съ кликуши какъ рукой сыметъ. Для этого, по приказанію графа, здѣсь и будетъ всегда наготовѣ цирюльникъ со служителями и со всѣми нужными припасами; завтра, дастъ Богъ, какъ въ воскресный и тяжелый для кликушъ день, испытаемъ средство это и узнаемъ помощь его. Тогда, прибавилъ я, скажете спасибо своему доброму барину, графу, который такъ заботится о бѣдствующихъ.

При этомъ объясненіи фельдшеръ мой, продолжая опыты, пустилъ струю вверхъ подъ самую кровлю, упирая спрыскъ въ грудь и налегая на него обѣими

руками. Между бабами произошло какое-то общее волненіе. Возгласы ужаса и негодованія сливались съ воплями, взываніями и громкимъ хохотомъ. Неудомѣніе, изумленіе, страхъ, любопытство и злорадное удовольствіе высказывались тутъ и тамъ въ различной степени, среди окружавшей насъ шумной толпы. Видно было по всему, что никто не ожидалъ такого способа лѣченія; зная отвращеніе народа отъ подобнаго средства, закоренѣлые предразсудки его о томъ, что считается позоромъ, образъ мыслей и понятія,—я не ошибся въ выборѣ. Гласность, торжественность и рѣшительность всѣхъ приготовленій также много способствовали къ усиленію впечатлѣнія. Бабы мои закрывали лицо руками и съ визгомъ спѣшили на свои мѣста, за работу. Всѣ отъ меня разбѣжались; я опять стоялъ у больницы своей одинъ съ цирюльникомъ, подъ грозною вывѣскою и отвратительнымъ водострѣльнымъ орудіемъ... Я стоялъ, какъ комендантъ крѣпости, съ малочисленнымъ, но рѣшительнымъ гарнизономъ, при одинокой пушкѣ...

Я поглядѣлъ искоса на замѣченныхъ мною тутъ и тамъ въ толпѣ кликушъ, не оказывая имъ явно никакого вниманія, и замѣтилъ, что онѣ были въ какомъ-то тревожномъ смущеніи, не подходили съ прочими для разспросовъ, а оставались на своихъ мѣстахъ, косясь исподлобья на веселую, крикливую толпу и разспрашивая шопотомъ сосѣдокъ своихъ о томъ, что управляющій говорилъ и что тамъ дѣялось. Окончательно я еще разъ обратился къ бабамъ, взявъ самъ въ руки роковой снарядъ, и сказалъ: «бояться тутъ нечего, тетки, и вы не бойтесь и не пугайтесь; вамъ добра желаютъ, а не худа, все это дѣлается къ добру. Двѣ или три трубки этихъ, и всего-то съ небольшимъ полведра воды,—тутъ еще, кажись, страшнаго нѣтъ ничего. Графъ пишетъ, что если кликуша очень тяжело

испорчена, то дѣлаютъ трубку еще больше этой, одну вполведра...» Общій крикъ ужаса заглушилъ слова мои; бабы всполошились пуще прежняго, смѣхъ и горе заговорили повсемѣстно громкими, нестройными голосами... «Скажите спасибо намъ съ цирюльникомъ Осипомъ, — продолжалъ я, — лѣкарь не спрашивается у больного, а больной спрашивается у лѣкаря; а какъ дастъ Богъ здоровье, тогда всякая спасибо скажетъ. Графъ строго приказалъ мнѣ лѣчить всѣхъ кликушъ по этому способу; больница съ рѣшетками готова, и цирюльникъ съ приборомъ, и сторожа съ полотенцами, чтобы осторожно связать и успокоить бѣдную больную, коли очень будетъ биться.» Передавъ роковой снарядъ въ больницу и приказавъ еще разъ, что-бы носилки были заутро на погостѣ, я ушелъ домой.

Когда бабы кончили уроки свои, то лучшимъ пріхамъ роздали подарки, всѣхъ накормили и распустили по домамъ. Шумно и весело пестрая толпа пошла со двора; крикъ, визгъ, смѣхъ слышался еще долго, покуда бабы мои не разсыпались всѣ врозь по своимъ избамъ. Весь вечеръ только и было толковъ по деревнѣ, что о неслыханномъ позорѣ, который завтра ожидаетъ бѣдныхъ кликушъ; а когда на утро заблаговѣстили къ обѣднѣ, то все село, и старъ и малъ, спѣшили въ церковь, ожидая съ какимъ-то жаднымъ любопытствомъ развязки этого дѣла. Ребятишки и дѣвчонки съ утра уже толпились за угломъ у барскаго двора, заглядывая украдкой въ ворота и черезъ заборъ и всматриваясь въ больницу, чтобы видѣть, не дѣется ли тамъ какихъ чудесъ. На всякій случай я принялъ мѣры, чтобы кликуши мои всѣ, сколько ихъ состояло по списку, были въ церкви; самъ я отправился туда же; на погостѣ стояла уже пара носилокъ съ рабочими.

Подивитесь же моему дивному снадобью и неслыханному симпатичному дѣйствію его: вся обѣдня кончилась спокойно и благополучно, и ни съ одной кликушей не было припадка. Народъ какъ будто сталъ догадываться, что дѣло это не совсѣмъ чисто, и общая молва начала клониться противъ кликушъ и на пользу моего снадобья. Нѣсколько воскресныхъ и праздничныхъ дней сряду продолжалъ я еще принимать тѣ же мѣры предосторожности, безъ шуму, безъ упрековъ, безъ угрозъ, даже безъ всякихъ излишнихъ разсужденій, предоставляя крестьянамъ самимъ догадываться о причинѣ скромности кликушъ нашихъ и дѣлать какія-угодно заключенія; я поддерживалъ съ осторожностію мнѣніе, что вѣроятно колдуны убоялись трясучаго озноба, который бы долженъ одолѣть ихъ отъ припасеннаго на кликушъ снадобья, и поспѣшили снять порчу. И въ слѣдующіе затѣмъ воскресные дни все прошло ровно спокойно—вотъ каково удачно пріисканное лѣкарство! Съ этого времени кликуши перевелись у насъ во всемъ имѣніи графа, перевелись на все время моего пребыванія и болѣе ихъ не появлялось тамъ ни одной. Бабы сами не могли надивиться моему знахарству.

Ко всему этому остается прибавить только одно: то, что я теперь разсказывалъ, не сказка, а быль. Я бы очень желалъ, чтобы средство это было испытано другими.

БРЕДЪ

Усталый, изнеможенный воротился я съ прекраснаго, великолѣпнаго бала. Заря занималась; Божій міръ, послѣ законнаго отдыха, собирался отряхнуть студеную росу съ вѣкъ своихъ и оживалъ для дѣла, для труда и работы; думаю, что въ окрестныхъ селахъ босыя ноги уже спускались съ полатей, кутниковъ, конниковъ, голбцевъ, лавокъ и печей; что гласная позѣвота и тихая утренняя молитва просыпались, и что тутъ и тамъ костистые кулаки спросонья старались попасть въ рукава зипуна и сермяги. А я, съ одурѣвшею головою, въ полупамятномъ состояніи, ѣхалъ домой, покончивъ ночь восхитительною пляской.

Мнѣ, конечно, было не до работы; чуть-только не ползкомъ добрался я до логовища своего—какъ и что съ меня стянули, этого теперь не помню, хотя я, право, былъ не хмѣленъ, по крайней мѣрѣ не отъ вина:—затѣмъ, все пошло бродить вокругъ меня толчеёй, а я лежалъ въ усладѣ, но не могъ пошевелить и мизинцемъ.

«Отъ глупой головы и ногамъ-рукамъ житья нѣтъ», подумалъ я, или не подумалъ,—я думать не могъ въ это время—а навѣялась откуда-то такая думка: а почему же никто не скажетъ, что отъ глупыхъ ногъ

головѣ нѣтъ угомону?—Вотъ, ночь напролетъ ноги мои все писали городки да разводы по паркету — и ужь какъ писали! — а теперь — какъ будто голова не своя; чего не своя,—да я не знаю, на плечахъ-ли она у меня? Вотъ пощупалъ бы—да не могу и пальца пошевелить, не только поднять руку... А балъ великолѣпный—и что прелестей! вотъ тянутся вереницей, летомъ, летомъ.... бѣленькая, розовенькая, бѣленькая, голубенькая, еще розовенькая.... и все это кружится, вьется, несется.... что-то мутно становится и темно.... все это, конечно, одна оболочка, однѣ будущія выползины.....а что въ нихъ, этого не видно: чужая душа—потемки; все это, конечно, подготовлено не на вѣкъ, потому что день нашъ — вѣкъ нашъ, а что тамъ будетъ — этого никто не знаетъ, никто не видалъ....

Что за неумѣстное воображеніе! Кстати ли теперь поминать вѣчность, когда тѣшимся насущимъ....

Болѣе я ничего не помню; продолжалъ ли я бредить наяву, уснулъ ли я и видѣлъ сонъ, и отчего такой странный, дикообразный—ничего не знаю. Попалъ я куда-то, только не на балъ, а будто на похороны, да знать не наши, обряды были не тѣ, а неизвѣстнаго мнѣ народа; одежда будто наша, да насмѣхъ перелицована и перекроена; фраки были на людяхъ куцые, а поддѣвки или жилеты съ хвостами, и увѣряли меня всѣ въ голосъ, что это-де и пригожѣе, да и приличнѣе; въ зубахъ каждый изъ нихъ съ какою-то ужимкою держалъ *цивилизацію:*—такъ назывался у нихъ снарядецъ, на которомъ установлено было какое-то стеклышко въ оправѣ, черезъ которое они другъ на друга глядѣли. Наконецъ всѣ окружили покойника, и одинъ сталъ говорить рѣчь. Рѣчью этою я былъ смущенъ и пораженъ дотого, что не могу этого высказать: онъ говорилъ одну только похвалу покойнику, говорилъ такъ красно и убѣдительно, какъ у насъ

никто говорить не умѣетъ, а между тѣмъ, изъ-за этой хвалебной рѣчи, я слышалъ очень ясно и отчетисто другую рѣчь, которая даже какъ будто заглушила и вовсе устранила первую. Мнѣ казалось, будто всѣ прочіе слышатъ только первую и очень довольны ею, очень тронуты: а я, какъ пришедшій со стороны, слышу и понимаю совсѣмъ иное. Странно, что именно эта двойниковая рѣчь, вторая, врѣзалась въ бреду этомъ въ память мою отъ слова до слова, тогда какъ первая похвала заслугамъ, достоинствамъ и качествамъ покойника осталась въ памяти моей только въ самыхъ общихъ чертахъ, по смыслу ея; но я слышалъ и понималъ обѣ. Вотъ вторая, довольно дикая и странная, какъ она была мною тогда записана.

Послѣдній бенефисъ, или скоморохъ раскланивается.

Передъ нами, отцы и братья, лежитъ человѣкъ; нѣтъ, не человѣкъ,—трупъ; но и это звучитъ грубо, развѣ прибавить—бездыханный; обычно называютъ его также *бренными останками*, прахомъ, какъ зовутъ и прàсола, кулака-дармоѣда. Но это только случайное созвучіе, не идущее къ дѣлу.

Итакъ, передъ нами лежатъ бренные останки, прахъ. Но что же это такое? Что значитъ: трупъ, прахъ, останки, да еще и бренные?—Помню, что нѣкто называлъ такъ истасканную одежду свою, ошурки, обноски, отопки, никуда негодные пожитки, зовомые также хламомъ, буторомъ, даже шарàбарой.

И вправду, истасканная одежда, обноски съ отопками, вотъ что лежитъ теперь передъ нами. Какъ изношено, такъ и сложено, все въ цѣлости. Портной назвалъ бы вещь эту полною парой, служащій—мундиромъ, иной—халатомъ, а крестьянинъ—тяжелкомъ, какъ зоветъ онъ рабочій заплатанный зипунъ свой; а бояринъ не зналъ бы, какъ и назвать его,—до того

облаченіе его разнообразно и сложно. Между тѣмъ, если бы передъ нами лежали врастяжку и обноски такого боярина, спрашиваю васъ, куда бы намъ теперь съ ними дѣваться? Вчера еще облаченію этому не было цѣны, а нынѣ,—взгляните на него, не чуждайтесь своихъ обносковъ,—а нынѣ, что оно?—ветошь эта до того истаскана, что послѣдній нищій не приметъ ее въ подаяніе; какъ ни величай ее, а она никуда не годна, развѣ только годна къ тому, чтобы поплакать надъ нею и помянуть путемъ, по заслугамъ, того, кто эту пару, этотъ тяжелко на себѣ износилъ, кто истаскалъ его до ветоши.

Тяжелко—эта кличка мнѣ какъ-то по нраву—тяжело изношенъ и сброшенъ. Да, кому не тяжело износить такую плотную, добротную вещь до-тла; кому не тяжело промаяться и протолкаться съ нею до конца, въ этой суетѣ и суматохѣ, въ этой тѣснотѣ и давкѣ, гдѣ нельзя шагнуть впередъ, не осадивъ сосѣда локтемъ назадъ; гдѣ нельзя приподняться, не взмостившись другъ на друга, а между тѣмъ надо дѣлать это ловко, осторожно, искусно, надо убѣдить всѣхъ стоящихъ поодаль зрителей, что паришь самъ собою на воздухѣ; вспомните, что тяжелко этотъ изношенъ въ обществѣ нашемъ, между нами, гдѣ вся задача условнаго быта заключается въ удачномъ сочетаніи лисьяго хвоста съ волчьимъ зубомъ, тогда какъ Создатель нашъ не далъ человѣку ни того, ни другаго, а пріобрѣтается это только долгимъ, маятнымъ трудомъ. Воздадимъ же достойное достойному; устранимъ всякую лесть, но и всякую зависть; онъ уже не станетъ болѣе ни осаживать кого-либо изъ насъ локтями, ни взмащиваться на сутулыя плеча наши—онъ выбрался на чистую дорогу, куда бы она ни привела его, а намъ покинулъ память по себѣ да тяжелко свой, непригодный болѣе ни ему, ни намъ.

Покойникъ, какъ принято называть того, кто истаскалъ тяжелко свой въ прахъ, покойникъ воспитывался тамъ и тамъ, въ такомъ-то заведеніи или дома,—все равно. Изъ одного этого вы видите, какіе достойные, рѣдкіе люди были воспитатели его, какое примѣрное образованіе ему предстояло. Учить, обучать, значитъ передавать свѣдѣнія, познанія, пересыпая ихъ устно и чрезъ пропускную печатную бумагу въ память ученика; воспитывать, значитъ передавать правила и пріемы, какъ донашивать свой тяжелко и какъ его въ свою пору съ себя сбросить. Первое ученье, какъ всѣмъ вамъ извѣстно, необходимо, чтобы съумѣть дать отвѣтъ во время испытаній; второе-жь,—умѣнье носить кафтанишко свой лицомъ наружу, а ничкой въ себя, еще нужнѣе, потому что ходить по бѣлу свѣту въ выворотненомъ наизнанку кафтанѣ нельзя. Посему покойникъ и навыкалъ, какъ словесная тварь, къ словесной рѣчи это лицо кафтана: а какъ разумная тварь, къ различенію слова отъ *дѣла*, или, что одно и то же, чувствъ и мыслей отъ слова: это ничка, изнанка, которую всякъ бережетъ про себя. Но, говоря одно, а думая и дѣлая другое, онъ изрѣдка только выказывалъ свой волчій зубъ, успѣшно замѣняя его лисьимъ хвостомъ, что и служитъ признакомъ и ручательствомъ надежнаго воспитанія. Вы, конечно, поняли, любознательные слушатели, что это одно только обычное иносказаніе: что зуба, въ прямомъ смыслѣ, хвостомъ не замѣнишь, и что подъ этою картиною, для большой наглядности и назидательности, разумѣется умѣнье, навыкъ или сноровка носить тяжелко свой лицомъ наружу, сгибаясь и кутаясь имъ такъ, чтобы ничего не сквозило. Какъ острый, даровитый мальчикъ, покойникъ, съ самой молодости своей, скоро понялъ всю суть и сполна ее себѣ усвоилъ.

Но вы спросите: гдѣ-же и кто этому учитъ? Никто,

конечно, и нигдѣ. Напротивъ, воспитатели покойника твердили ему на словахъ и въ поученіяхъ всегда противное, то есть приказывали быть правдивымъ, честнымъ, прямымъ, даже добродѣтельнымъ; да вотъ бѣда,—отъ слова не сбудется, крикомъ изба рубится; поле—и все-то въ одинъ перекликъ, да не перейдешь самъ, такъ и не будешь тамъ, хошь кричи, не кричи. Покойникъ-же слѣдовалъ наставникамъ своимъ всегда и во всемъ, доколѣ ходилъ между нами въ тяжелкѣ своемъ, то-есть онъ всегда хвалилъ одну правду и всѣмъ наказывалъ любить ее; но онъ не путалъ слова и дѣла, и, различая одно отъ другого, какъ привыкъ видѣть сызмалу, говорилъ всегда, что должно, а дѣлалъ, что было нужно.

Такимъ образомъ онъ, при самомъ вступленіи своемъ на поприще свѣта и людей, зная, что душа человѣка—потемки, что она незрима ни для кого, небезуспѣшно старался иногда быть угоднымъ хотя внѣшними пріемами своими, особенно жъ людямъ, отъ коихъ мірская участь его могла зависѣть. Изъ всего этого сдѣлается понятнымъ, что онъ, глядя, напримѣръ, на *кривое*, не смигивая глазомъ могъ вымолвить самымъ убѣдительнымъ голосомъ: *прямо*, а еще краснорѣчивѣе могъ онъ написать, доказать и подписать это. Глядя на *прямое*, онъ также легко и свободно передѣлывалъ его въ *кривое*, утѣшая въ то же время слушателей своихъ прекраснымъ словомъ или поученіемъ о правдѣ и чести, а зрителей—самыми пріятными и мягкими пріемами. Словомъ, лицо и изнанка, верхъ и ничка, правша и пакша занимали у него каждое свое мѣсто, и онъ умѣлъ, какъ слѣдуетъ, отличать одно отъ другого и выказывать наружу, что должно, а думать и дѣлать, что нужно.

Если вамъ случалось бывать на народныхъ зрѣлищахъ нашихъ, гдѣ все творится передъ вами на хитро-

устроенныхъ подмосткахъ, съ легкимъ покатомъ впередъ, съ провалами, съ подъемами и другими замысловатыми приспособленіями, если вы тѣшились искусными лицедѣями, изъ коихъ каждый выходилъ къ намъ напоказъ въ своемъ тяжелкѣ, въ своемъ рабочемъ кафтанишкѣ, стараясь угодить на васъ и руками, и ногами, и голосомъ,—то вы, конечно, не отказывали имъ въ лептѣ своей, когда сборъ шелъ на пользу того, либо другаго, когда давался такъ называемый *бенефисъ*; а посему и польза этого умѣнья не подлежитъ спору, ни даже сомнѣнію: она очевидна.

Обратимся же въ послѣдній разъ къ лежащему передъ нами тяжелку, или къ отшедшему въ вѣчность хозяину его, къ тому, кто его истаскалъ: и онъ вѣкъ свой не сходилъ съ помоста, и если только бывали зрители или слушатели, живописалъ собою все, что шло къ дѣлу и къ мѣсту. Прибавимъ, что все представленіе это, на сколько оно продлилось, было сверхъ того именно тѣмъ, что называютъ *бенефисомъ*; сборъ шелъ на пользу хозяина. Спрашиваемъ, много ли бы онъ пріобрѣлъ, если-бы выходилъ всегда на помостъ въ одномъ безсмѣнномъ зипунишкѣ своемъ, казалъ бы верхъ и подбой его, лицо и изнанку, казалъ бы и себя самого, каковъ есть—чтобы онъ взялъ этимъ, кому угодилъ, кого удивилъ?

Но тяжелко истасканъ, выдти и показаться въ люди не въ чемъ; не взыщите, хозяинъ скрылся. Обычно приговариваютъ при этомъ: *миръ праху твоему*, и мы скажемъ: праху миръ; его никто болѣе не станетъ таскать по помостамъ; ему миръ и покой. Сдать его на вѣчныя времена въ платяную, поколѣ его моль и тля не изведутъ въ конецъ. Остатки та же моль разнесетъ на пыльныхъ лапочкахъ своихъ, а вѣтры развѣютъ по туку, вмѣстѣ съ самою молью.

А что жъ хозяинъ его?—У бѣднаго хозяина теперь

нѣтъ ни пары, ни мундира, ни жилета съ хвостами, ни даже тяжелка; ему выдти и показаться въ люди не въ чемъ. Онъ теперь ходитъ—а быть можетъ, и сидитъ гдѣ-нибудь—какъ есть, по себѣ, безо всего; онъ весь сквозитъ, обогнуться и выхорошиться нечѣмъ.

Очнувшись, я съ трудомъ опомнился отъ безсмысленнаго бреда и подумалъ: «Что за чепуха ину пору въ голову лѣзетъ? Ладно еще, когда знаешь, что это бредъ, чепуха; ну, а какъ она одолѣетъ тебя, что и не опознаешься, а подумаешь быль?—Вотъ и спятишь съ ума. Да, человѣкъ не скотина, испортить его не долго.»

Покойникъ, какъ принято называть того, кто истаскалъ тяжелко свой въ прахъ, покойникъ воспитывался тамъ и тамъ, въ такомъ-то заведеніи или дома,—все равно. Изъ одного этого вы видите, какіе достойные, рѣдкіе люди были воспитатели его, какое примѣрное образованіе ему предстоядо. Учить, сбучать, значитъ передавать свѣдѣнія, познанія, пересыпая ихъ устно и чрезъ пропускную печатную бумагу въ память ученика; воспитывать, значитъ передавать правила и пріемы, какъ донашивать свой тяжелко и какъ его въ свою пору съ себя сбросить. Первое ученье, какъ всѣмъ вамъ извѣстно, необходимо, чтобы съумѣть дать отвѣтъ во время испытаній; второе-жь,—умѣнье носить кафтанишко свой лицомъ наружу, а ничкой въ себя, еще нужнѣе, потому что ходить по бѣлу свѣту въ вывороченномъ на-изнанку кафтанѣ нельзя. Посему покойникъ и навыкалъ, какъ словесная тварь, къ словесной рѣчи это лицо кафтана: а какъ разумная тварь, къ различенію слова отъ *дѣла*, или, что одно и то же, чувствъ и мыслей отъ слова: это ничка, изнанка, которую всякъ бережетъ про себя. Но, говоря одно, а думая и дѣлая другое, онъ изрѣдка только выказывалъ свой волчій зубъ, успѣшно замѣняя его лисьимъ хвостомъ, что и служитъ признакомъ и ручательствомъ надежнаго воспитанія. Вы, конечно, поняли, любознательные слушатели, что это одно только обычное иносказаніе: что зуба, въ прямомъ смыслѣ, хвостомъ не замѣнишь, и что подъ этою картиною, для большой наглядности и назидательности, разумѣется умѣнье, навыкъ или сноровка носить тяжелко свой лицомъ наружу, сгибаясь и кутаясь имъ такъ, чтобы ничего не сквозило. Какъ острый, даровитый мальчикъ, покойникъ, съ самой молодости своей, скоро понялъ всю суть и сполна ее себѣ усвоилъ.

Но вы спросите: гдѣ-же и кто этому учитъ? Никто,

конечно, и нигдѣ. Напротивъ, воспитатели покойника твердили ему на словахъ и въ поученіяхъ всегда противное, то есть приказывали быть правдивымъ, честнымъ, прямымъ, даже добродѣтельнымъ; да вотъ бѣда,—отъ слова не сбудется, крикомъ изба рубится; поле—и все-то въ одинъ перекликъ, да не перейдешь самъ, такъ и не будешь тамъ, хошь кричи, не кричи. Покойникъ-же слѣдовалъ наставникамъ своимъ всегда и во всемъ, доколѣ ходилъ между нами въ тяжелкѣ своемъ, то-есть онъ всегда хвалилъ одну правду и всѣмъ наказывалъ любить ее; но онъ не путалъ слова и дѣла, и, различая одно отъ другого, какъ привыкъ видѣть съизмалу, говорилъ всегда, что должно, а дѣлалъ, что было нужно.

Такимъ образомъ онъ, при самомъ вступленіи своемъ на поприще свѣта и людей, зная, что душа человѣка—потемки, что она незрима ни для кого, небезуспѣшно старался иногда быть угоднымъ хотя внѣшними пріемами своими, особенно жъ людямъ, отъ коихъ мірская участь его могла зависѣть. Изъ всего этого сдѣлается понятнымъ, что онъ, глядя, напримѣръ, на *кривое*, не смигивая глазомъ могъ вымолвить самымъ убѣдительнымъ голосомъ: *прямо*, а еще краснорѣчивѣе могъ онъ написать, доказать и подписать это. Глядя на *прямое*, онъ также легко и свободно передѣлывалъ его въ *кривое*, утѣшая въ то же время слушателей своихъ прекраснымъ словомъ или поученіемъ о правдѣ и чести, а зрителей—самыми пріятными и мягкими пріемами. Словомъ, лицо и изнанка, верхъ и ничка, правша и пакша занимали у него каждое свое мѣсто, и онъ умѣлъ, какъ слѣдуетъ, отличать одно отъ другого и выказывать наружу, что должно, а думать и дѣлать, что нужно.

Если вамъ случалось бывать на народныхъ зрѣлищахъ нашихъ, гдѣ все творится передъ вами на хитро-

устроенныхъ подмосткахъ, съ легкимъ покатомъ впередъ, съ провалами, съ подъемами и другими замысловатыми приспособленіями, если вы тѣшились искусными лицедѣями, изъ коихъ каждый выходилъ къ намъ напоказъ въ своемъ тяжелкѣ, въ своемъ рабочемъ кафтанишкѣ, стараясь угодить на васъ и руками, и ногами, и голосомъ,—то вы, конечно, не отказывали имъ въ лептѣ своей, когда сборъ шелъ на пользу того, либо другаго, когда давался такъ называемый *бенефисъ*; а посему и польза этого умѣнья не подлежитъ спору, ни даже сомнѣнію: она очевидна.

Обратимся же въ послѣдній разъ къ лежащему передъ нами тяжелку, или къ отшедшему въ вѣчность хозяину его, къ тому, кто его истаскалъ: и онъ вѣкъ свой не сходилъ съ помоста, и если только бывали зрители или слушатели, живописалъ собою все, что шло къ дѣлу и къ мѣсту. Прибавимъ, что все представленіе это, на сколько оно продлилось, было сверхъ того именно тѣмъ, что называютъ *бенефисомъ*; сборъ шелъ на пользу хозяина. Спрашиваемъ, много ли бы онъ пріобрѣлъ, если-бы выходилъ всегда на помостъ въ одномъ безсмѣнномъ зипунишкѣ своемъ, казалъ бы верхъ и подбой его, лицо и изнанку, казалъ бы и себя самого, каковъ есть—чтобы онъ взялъ этимъ, кому угодилъ, кого удивилъ?

Но тяжелко истасканъ, выдти и показаться въ люди не въ чемъ; не взыщите, хозяинъ скрылся. Обычно приговариваютъ при этомъ: *миръ праху твоему*, и мы скажемъ: праху миръ; его никто болѣе не станетъ таскать по помостамъ; ему миръ и покой. Сдать его на вѣчныя времена въ платяную, поколѣ его моль и тля не изведутъ въ конецъ. Остатки та же моль разнесетъ на пыльныхъ лапочкахъ своихъ, а вѣтры развѣютъ по туку, вмѣстѣ съ самою молью.

А что жь хозяинъ его?—У бѣднаго хозяина теперь

нѣтъ ни пары, ни мундира, ни жилета съ хвостами, ни даже тяжелка; ему выдти и показаться въ люди не въ чемъ. Онъ теперь ходитъ—а быть можетъ, и сидитъ гдѣ-нибудь—какъ есть, по себѣ, безо всего; онъ весь сквозитъ, обогнуться и выхорошиться нечѣмъ.

Очнувшись, я съ трудомъ опомнился отъ безсмысленнаго бреда и подумалъ: «Что за чепуха ину пору въ голову лѣзетъ? Ладно еще, когда знаешь, что это бредъ, чепуха; ну, а какъ она одолѣетъ тебя, что и не опознаешься, а подумаешь быль?—Вотъ и спятишь съ ума. Да, человѣкъ не скотина, испортить его не долго.»

РОГАТИНА

Въ тѣсной избѣ, загроможденной двумя ткацкими станами и двумя зыбками на очепахъ, горѣла яркая лучина. Свѣтецъ былъ поставленъ на приступокъ голбца, а рядомъ со свѣтцомъ, для поправки лучинъ и присмотру за ними, сидѣлъ старикъ съ порядочною лысиной и внукъ его, парнишко бо́роноволокъ. Двѣ молодыя ткачихи работали усердно и заглушали стукомъ и скрипомъ бесѣду старика. Мальчикъ прислушивался и повременамъ доспрашивался крикливымъ голосомъ недослышаннаго; дѣдушка же отвѣчалъ ему спокойно, своимъ голосомъ, и со стороны только, по движенію губъ и головы, замѣтно было, что онъ бесѣдуетъ. Кто-то постучался въ окно и громко спросилъ: «дѣдушка Герасимъ дома?»—Дома, что надо?—обозвалась одна изъ ткачихъ, не останавливая работы, и вскорѣ вошелъ въ избу молодой парень въ тулупѣ внакидку, тороплово перекрестился, поздоровался и, оглянувшись съ какою-то осторожностью, подсѣлъ къ старику,—Дѣдушка,—сказалъ онъ, нагнувшись къ нему на ухо:—Макаръ босого лѣсника обложилъ!»—Врешь?—«Ей, право; ѣздилъ нынѣ по дрова, да, подмѣтивъ его намедни, нынѣ и высмотрѣлъ, вотъ что!»—А что жь онъ высмотрѣлъ-то?—«Какъ что, вотъ онъ, чай, сей-

часъ самъ будетъ, только лошадь отпрягаетъ, а я и прибѣжалъ къ тебѣ напередъ!»—Такъ неужто босой,—сказалъ старикъ, глядя въ лицо вѣстнику, и расхохотался самымъ радушнымъ смѣхомъ:—а какъ баба въ лаптяхъ прошла?—«Ну вотъ, небось, Макарка не знаетъ! Говорю притоманно, пойдемъ, что-ли, утре?»

Дѣдушка Герасимъ видимо ожилъ. Небольшіе сѣрые глаза его искрились при огнѣ лучины, какъ глаза сѣраго кота въ печуркѣ. «Босой, проговорилъ онъ улыбаясь, вотъ подождемъ Макара.» На это отвѣтили шаги въ сѣняхъ, и Макаръ вошелъ безъ докладу, перекрестился, поклонился и также тотчасъ обратился къ дѣдушкѣ Герасиму. «Что, ужь Сенька тута? вишь пострѣлъ, а говорилъ вѣдь я, погоди-молъ, пойдемъ вмѣстѣ. Ну что, дядя, идемъ что-ли?»

Макаръ самъ былъ уже человѣкъ, коли не пожилыхъ, такъ среднихъ лѣтъ, человѣкъ середовóй, и потому чествовалъ Герасима не дѣдомъ, а дядей. Укоривъ Сеньку за поспѣшность, онъ и самъ однако, повидимому, не любилъ откладывать подобныхъ дѣлъ, потому что прибѣжалъ къ Герасиму съ обледенѣлыми усами и бородой, какъ пріѣхалъ изъ лѣсу: стало быть, даже не поѣвши. Дѣдушка взглянулъ изподлобья на ткачихъ, какъ будто не желая, чтобы бесѣда эта дошла до нихъ, между тѣмъ какъ внукъ его разинулъ ротъ и прислушивался къ каждому слову.

— Гляди, дѣло-ли говоришь?—сказáлъ онъ Макару.

— Чего не дѣло,—отвѣчалъ тотъ, также глянувъ украдкою на бабъ и оборотившись къ нимъ спиною:—чего не дѣло, слушай—и самъ присѣлъ на корточки передъ старикомъ. Намедни ѣздилъ я по дрова—вотъ въ субботу двѣ недѣли будетъ—такъ за каменнымъ бродкомъ, въ гору, на Кривушу, напалъ на слѣдъ: вижу, бродилъ косматый; я и подумалъ: ну ужь броди-не-броди, а лучше этого лому да дрязгу, на

Кривушѣ, то есть, не найдешь, — быть тебѣ тутъ. Однако, думаю, еще рано, чай путемъ не улегся, не облежался. Вотъ я, куда-ни-шли дрова мои, поѣхалъ покружить; объѣхалъ межевой просѣкой, кругомъ, да оврагомъ опять и выѣхалъ на бродокъ; не прошелъ нигдѣ, вотъ тѣ порука не прошелъ. Нынѣ я и поѣхалъ опять, да ужь прямо туда, лошадку привязалъ въ лѣсу и обошелъ, закружилъ его вовсе: тута, да и полно.—А босой прошелъ,—спросилъ опять старикъ расхохотавшись, — аль въ лаптяхъ?—Толкуй еще, — продолжалъ Макаръ, вытаскивая пятерней сосульку изъ бороды,—тебѣ дѣло говорятъ, пойдемъ что ли?—Ну что жь, пойдемъ,—отвѣчалъ Герасимъ,—съ Богомъ, я припасу дровишки свои, а чубарый у меня дома. Ты припряжешь, что-ль, куцаго своего, Сеня?—Припрягу!—Ну ладно, приводи же съ постромками да съ привожжикомъ, а я припасу вѣшку, излажу пристяжку.

— Дѣдушка, и меня возьмите,—заревѣлъ звонкимъ голосомъ парнишко, который смѣтилъ уже, о чемъ идетъ рѣчь.—Молчи, дуракъ, сказалъ старикъ глухо:—мать услышитъ, не пуститъ. Чѣмъ свѣтъ приходите; вотъ, пожалуй, Ванюшку возьмемъ къ лошадямъ; чай, лыжъ не надо?—Не надо, отвѣчалъ Макаръ, мало снѣгу совсѣмъ, ходить гóже, да и близко такъ; что тутъ, много-ль отъ бродка до Кривуши будетъ? не сколько!—Ну,—продолжалъ старикъ голосомъ, будто бесѣдуетъ о пустякахъ, убѣдившись еще взглядомъ на ткачихъ, что онѣ заняты своимъ дѣломъ и поколачиваютъ бердами взапуски,—ну, такъ съ Богомъ да не болтайте насторону; не годится

Макаръ съ Семеномъ ушли, дѣдушка Герасимъ погрозился молчкомъ на Ванюшку, и тотъ, счастливый и довольный, все еще лѣзъ повременамъ объясняться и шептаться съ дѣдушкой о завтрашнемъ днѣ, покуда

мать его не угнала на полати. Старикъ вышелъ въ сѣни, сталъ шарить впотьмахъ руками вдоль стѣнки въ самомъ верху, подъ накатомъ и, нащупавъ какую-то вещь, заткнутую тамъ въ щель, вытащилъ ее и внесъ незамѣтно въ избу. Это была рогатина. Поглядѣвъ на нее при лучинѣ, онъ досталъ брусокъ, которымъ точатъ косы, и принялся, поплевывая, править ржавое и загрублое лезвее. Рогатина у дѣдушки Герасима, какъ у знаменитаго медвѣжатника, была, въ сравненіи со сверстниками, знатная: длиною, съ трубкою, четверти въ три, шириною перста въ три и добрѣ наварена сталью. Такая рогатина была на диво прочимъ; многіе ходили на медвѣдя съ плохимъ копьемъ, какимъ съ трудомъ только можно было прободнуть толстую шкуру звѣря, да и то потому только, что онъ сдуру самъ напираетъ. Направивъ немного оружіе свое, дѣдушка вынесъ его опять и сунулъ въ то же мѣсто; потомъ досталъ изъ-подъ лавки топоръ да еще большой ножъ, заткнутый подъ полатями. Все это онъ вынесъ туда же, въ сѣни, къ одному мѣсту. Сборы эти прошли благополучно и, повидимому, не были замѣчены ткачихами; но когда старикъ досталъ съ полавочника котомку свою и сталъ откраивать себѣ хлѣбца, то одна изъ нихъ спросила:—Куда, батюшка, собираешься? — По дрова надо съѣздить, сноша, отвѣчалъ онъ спокойно и продолжалъ свое дѣло. — Пора бы и ужинать собирать, сказалъ онъ, и сноха встала изъ-за стана. Вскорѣ лучина въ избѣ этой погасла, станы замолкли,—все уснуло мертвымъ сномъ.

Ни свѣтъ, ни заря, опять Сенька первый постучался въ окно этой же избы. Герасимъ спалъ такъ, какъ дай Богъ почивать и намъ съ вами, даже когда мы и не собираемся на медвѣдя. Длительный стукъ повторился до нѣсколькихъ разъ, невѣстка первая проснулась, опросила посѣтителя и, услышавъ, что

это Семенъ и что онъ собирается съ дѣдушкой по дрова, разбудила старика. Семенъ уже привелъ и куцаго своего; вскорѣ пришелъ и Макаръ; подняли Ванюшку, который вскочилъ бодрѣе обычнаго и былъ отпущенъ матерью безпрекословно, на помощь дѣду, по дрова. Лошадокъ заложили, позавтракали, помолились нѣсколько усерднѣе обыкновеннаго и поѣхали.

Только когда выѣхали за село, Герасимъ сталъ допрашивать товарищей, все-ли у нихъ взято съ собой, что нужно. Оказалось, что у каждаго изъ нихъ было по рогатинѣ, хоть и плохой, у одного ножъ или засапожникъ, у другого топоришко. Дѣдушка пожурилъ ихъ немного, объявивъ, что запасъ бѣды не чинитъ, и что каждому безпремѣнно слѣдовало взять по ножу и по топору. Не ровенъ часъ; шиво такъ насядетъ на тебя босой-то, что и ножа не успѣешь выхватить. Онъ вишь радъ всякому человѣку: знай только обниматься лѣзетъ. Вѣдь и онъ, сказываютъ, былъ человѣкомъ, да оборочена ихъ въ медвѣдей цѣлая деревня старикомъ какимъ-то, за то, что не приняли его, никто не пустилъ почевать.

— А тебѣ, дѣдушка Герасимъ, доводилось пороть его ножемъ?—спросилъ бойкій Сенька.

— Довелось разокъ. Ходилъ я въ тѣ поры съ отцомъ Макара, царство ему небесное, ходилъ не съ рогатиной, а съ ружьемъ. Обошли мы его ладно и высмотрѣли, а снѣгъ ужь лежалъ въ поясъ: такъ мы по насту—на лыжахъ. Вотъ мы къ нему, отецъ твой поправѣе, а я этакъ; собаченка была у меня, такъ косматенькая, какъ кинется подъ колоду, какъ взлаетъ—и, что твои колокольчики, такъ и залилась. А онъ, какъ рявкнетъ да какъ прянетъ изъ-за колоды — такъ вотъ и отуманило, словно снѣжище передъ тобою столбомъ сталъ, сыра-земля растворилась. Тутъ дохнуть не далъ ему отецъ твой,—приложился, хлопъ—

перенялъ его поперекъ костей жеребьемъ, словно рожномъ бока; онъ тебѣ свинкой прямо такъ и ринулся на него, и на дыбы не взнялся, да мимо меня, вправо; я приложился, да въ этотъ бокъ ему, подъ лопатку пустилъ пулю—только я и видѣлъ свѣтъ; кто у меня ружьишко выбилъ изъ рукъ, кто подъ себя сломалъ обнявши—ничего не знаю. Вотъ когда онъ и выручилъ меня, неизмѣнный другъ, ножъ на поясу; поколѣ я сказываю это, такъ бы ужь давно онъ съ меня всю нахлобучку до самыхъ мозговъ стянулъ, выхватилъ я ножъ-отъ, да прямо угодилъ подъ душу ему, и шаркнулъ внизъ—такъ у него возъ-возомъ всѣ потроха и вывалились наружу. Тутъ, спасибо, и товарищъ подоспѣлъ,—а не выдавалъ онъ таки николи—я и свалилъ его съ плечъ, вывернувшись изъ-подъ него, и перекрестился.

— А ружья-то, чтожь ты не взялъ теперя, дѣдушка?

— Ну его! не годится оно, обманетъ. Ты вишь вотъ и угодилъ, кажись, ладно, какъ разъ подъ лопатку, а онъ на дыбы, да поди-ка, говоритъ сюда, поразвѣдаемся. Нѣтъ, ружье супротивъ рогатины ничего не стоитъ. Рогатина—любезное дѣло. А ино еще и того хуже обманетъ, осѣчку дастъ, вотъ и пропалъ. Вотъ годовъ тому съ 15 будетъ, выгоняли насъ облавой на разбойниковъ, завелись было проклятые по ту сторону Кривуши: шалили и грабили народъ по дорогамъ. Вотъ и выгнали много народу—а былъ наслухъ, что держатся они временемъ въ зимницѣ, гдѣ въ былое время живали лѣсники да бѣглые раскольники—и выгнали слышь; кто съ дубьемъ, кто съ топоромъ, а у кого ружье есть, приказано было ружья брать безпремѣнно, и пороху самъ исправникъ раздавалъ: не жалѣй, говоритъ, клади зарядъ полный, какъ слѣдуетъ. Вотъ идемъ лѣсомъ, идемъ и боимся; ладно

кабы ихъ мошенниковъ приказали закопать тутъ же; что дѣлать, взялъ бы грѣхъ на душу, да и дѣлу конецъ; а то вѣдь бѣда — ловить велятъ, тамъ учнутъ семь лѣтъ судить, да по всѣмъ острогамъ таскать, да всѣ наговоры отъ него принимать, съ кѣмъ-де знался, у кого ночевывалъ—извѣстно, кого хочетъ, того и губитъ, а кто позажиточнѣе, того и втянутъ туда съ головою: да еще того гляди, уйдетъ, такъ ужь это первое дѣло, что сожжетъ все село. Ну, такъ вотъ и прошли мы облавой до самой глуши, до зимницы; можетъ статься, и встрѣтилъ кто прохожаго съ кистенемъ, такъ чай самъ посторонился и глазъ на него не подымалъ, чтобъ и не видать: страшно вѣдь, сожжетъ, ему это напочемъ. Однако дошли до зимницы; глядь, анъ изъ окна торчитъ ружье. «Не подходи, православные, — кричитъ онъ оттуда, — убью; проходи своей дорогой.» Вотъ я и выхватилъ наскоро ружьишко свое—а я зарокъ положилъ, чтобъ для нихъ, для мошенниковъ, душой не кривить, будь власть Господня, и покрылъ зарокъ молитвой—выхватилъ, приложился, чикъ!—осѣчка! Онъ свое прямо на меня уставилъ дуломъ изъ окна-то — чикъ! осѣчка и у него! опять я въ него — осѣчка! опять онъ въ меня—осѣчка! Ему, мошеннику, все лучше, за косякъ хоронится, а я-то весь передъ нимъ тутъ, какъ листъ передъ травой. Опять я потру, потру ногтемъ кремень, опять взведу курокъ—нѣтъ, не беретъ; явственно, что Господъ милостивый хранилъ меня отъ него, отъ душегубца, потому что и онъ то и дѣло чикаетъ оттуда, да не даетъ Богъ стрѣльбы. Тутъ, отколь ни возьмись, Антипка подскочилъ, сынъ, что теперя въ извозѣ. «Давай, говоритъ, бачка, давай мнѣ ружье, я на счастье попытаюсь.»—Поди-молъ ты, молокососъ, одойди прочь, убьетъ онъ тебя, съ этого мѣста не спуститъ. Вотъ я еще перекрестился, приложился,

да какъ только выставилъ онъ ружье въ оконце, а самъ сталъ опять-таки ублажать православныхъ остраткой, чтобъ проходили мимо, такъ я и хватилъ его въ окно жеребьями; — у него опять осѣчка, а у меня-то выстрѣлило. Гляжу, а у него, у душегубца, и ружье изъ рукъ вывалилось. Ну, слава тебѣ Господи! Тутъ кинулись всѣ, стали было высаживать двери, а мы съ сыномъ въ окно вскочили, ужь не страшно стало, и поймали его, съ перебитымъ плечомъ; одинъ только тутъ и былъ... Нѣтъ, на ружье не надѣйся, на Бога надѣйся да на рогатину, а ружью не вѣрь, ружье обманетъ. Тетерьку стрѣлять станешь, оно и нешто—и выпалитъ; а вотъ босого-то станешь на себя принимать, оно тутъ тебя и выдастъ. На рогатину нѣтъ заговора, только упирай ее крѣпче комлемъ, да управляй желѣзомъ куда слѣдуетъ.

— Пора слѣзать, дядя Герасимъ, — сказалъ Макаръ:—вотъ направо недалечко слѣдъ осмотрѣть надо, коимъ до берлоги прошелъ; хотя и засыпанъ, а знать еще хорошо.—Остановились и прошли къ слѣду. Увидавъ его, старикъ снялъ шапку, перекрестился на востокъ солнца, а прочіе за нимъ то жъ; потомъ стали они кланиться другъ другу и просить прощенія, какъ-бы прощаясь на вѣкъ: «простите меня грѣшнаго, православные, Христа-ради, простите.» Наконецъ Герасимъ досталъ ножъ свой, отошелъ въ сторону, срѣзалъ прутъ вилочкой, заострилъ концы, нагнувшись пошепталъ что-то, воткнулъ вилочку въ одинъ изъ слѣдовъ огромной медвѣжьей лапищи, еще перекрестился и, покончивъ дѣло это, скорыми шагами воротился къ товарищамъ. Всѣ трое пошли къ дровнямъ своимъ, сѣли и поѣхали. — Что, приткнулъ? спросилъ Макаръ.—Приткнулъ; былъ-бы тутъ только, такъ не уйдетъ.

— А который это будетъ, сказалъ Герасимъ, тотъ-

ли, что навѣдывался лѣтомъ съ Воротиловскимъ, аль что корову задралъ на ключахъ? —Этотъ будетъ,—отвѣчалъ Макаръ,—тотъ не великъ, овсяникъ надо быть; а этотъ видѣлъ, даромъ что босой, ровно мужикъ въ лаптяхъ прошелъ.

Проѣхавъ еще лѣсомъ сколько можно было, охотники наши остановились; тутъ за хламомъ, буреломомъ и валежникомъ разныхъ именованій никакой ѣзды не было. Оглянулись и вырубили каждый по сосенкѣ, на ратовище, аршинъ въ пять, либо въ шесть.—Тонко притесываешь, сказалъ Макаръ задорному новичку, Сенькѣ, который выходилъ на медвѣдя впервые.—Нельзя, дядя, у моей рогатины трубка нешироката.—Покажь сюда!—Сенька досталъ рогатину свою изъ-за пазухи, и оказалось, что это было старенькое шиповое долото.—Охъ ты курицына дочь,—сказалъ Макаръ, ты съ чѣмъ это на медвѣдя идешь?—Ничего, Богъ милостивъ, дядя, молчи; это чѣмъ не ладно? это ладно будетъ совсѣмъ, вотъ только что трубка узенька....—Ну смотри,—продолжалъ Макаръ, приправляя свое ратовище, а не больно это ладно; этимъ дѣломъ шутить нечего, долото не рогатина. А ну-ка, поищи, нѣтъ ли какого завалящаго гвоздка въ карманѣ?—На что?—обозвался дѣдушка, который подошелъ на ту пору съ насаженной рогатиной, волоча ее за собою.—А вотъ прибить-бы гвоздочкомъ, чтобъ не соскочила,—отвѣчалъ Макаръ, указывая пальцемъ на дырочку въ трубкѣ своей рогатины, также уже приправленной.—Вотъ пустяки, молвилъ старикъ, на что? вѣдь онъ не на себя потянетъ ее, а самъ на нее полѣзетъ; не надоть, съ Богомъ! Ты гляди, Ванюха, стой тутъ, да неровно голосъ подадимъ, такъ обзывайся позычнѣе.

Еще разъ перекрестились и пошли, держа рогатину подъ шейку и волоча ратовище за собою. «Передки вози, а задокъ самъ ѣдетъ», сострилъ дѣдушка,

когда Сенька сталъ оглядываться на слегу свою, которая моталась взадъ и впередъ промежъ кочекъ, сугробовъ, пней, колодъ и цѣлыхъ засѣкъ валежнику. «Дѣдушка, дѣдушка, закричалъ Ванюшка—тотъ оглянулся: —пусти меня съ собою на медвѣдя-то!» Макаръ съ Семеномъ захохотали, а дѣдушка только погрозился на Ванюху и молча продолжалъ путь.—Ну, сказалъ онъ, крикнувъ и переваливаясь бокомъ черезъ лежавшую въ-полчеловѣка колоду,—вы, братцы, послушайте меня: какъ подходить станемъ близко, то ты, Макаръ Тимофеевичъ, пускай впередъ меня одного, съ Жучкой, я принимать стану его, а вы, слышь, за мной, да готовтесь подсаживать; некакъ долги больно ратовища у васъ, несподручно поворачиваться будетъ, обрубили бы четверти на три. Какъ приму я его, сердешнаго, Богъ велитъ, то съ боковъ-то и подскакивайте, да угожайте повыше моего, въ саму грудь, въ сердце; ты пожалуста, Макаръ, по праву руку иди; Сенька парень хорошій, а все ему первинка еще; ты подсаживай его въ лѣвый бокъ, угожай прямо въ сердце. А засапожникъ свой, Макарушко, высвободи, череномъ наружу, не ровенъ часъ. Бережёнаго и Богъ бережетъ. А ты, Сеня, топоръ ощупай за поясомъ, чтобъ сподручно торчалъ. Жучка, Жучка, сюда!

Такимъ образомъ тройка наша подвигалась впередъ, и трущоба все становилась гуще, лому навалено было болѣе. Мѣстами казалось, что нельзя и пройти; но гдѣ охотникъ не перелѣзетъ! Въ Сибири говорятъ: гдѣ два оленя прошли, тамъ тунгусу большая дорога; а наши лѣсники говорятъ: гдѣ медвѣдь проломился, тамъ и человѣкъ не застрянетъ. Наконецъ Макаръ остановилъ рукою Герасима и, указывая впередъ, въ чащу сосняка, вполголоса повторялъ: «вотъ, вотъ, вотъ....»

Дѣдушка Герасимъ выросъ на поларшина, будто его съ земли подняло; глазишки его загорѣлись, скулы

сжались, дыханіе зачастило. Махнувъ товарищамъ своимъ рукою позадъ себя, онъ сталъ незвучно посвистывать, подзывая собаку, а самъ тихими шагами шелъ впередъ, чутко прислушиваясь и зорко вглядываясь въ скученный передъ нимъ сосняк. Двѣ сосны были выворочены до половины съ корнемъ и съ цѣлымъ пластомъ земли и лежали на-крестъ, упершись сучьями въ сосѣднія деревья. «Тутъ, тутъ, безпремѣнно тутъ», говорилъ шопотомъ съ натугой Макаръ, а Герасимъ все посвистывалъ, шагалъ все тише и осторожнѣе; нетерпѣливо осадивъ рукою выпятившуюся рогатину Семена со старымъ долотомъ и не смигивая глазомъ, онъ тихо подавался впередъ. Вдругъ Жучка залился отчаяннымъ визгливымъ лаемъ, и въ то же мгновеніе гора снѣгу, съ хворостомъ и хламомъ, встала въ десяти шагахъ передъ охотниками, и Семену показалось, что весь стоячій лѣсъ покачнулся и земля подъ нимъ всколебалась.

Дѣдушка громко гикнулъ и продолжалъ кричать и травить Жучку отчаяннымъ голосомъ, взмахивая лѣвою рукою:—въ правой держалъ онъ рогатину, все еще вплоть у желѣзка; товарищи вторили ему, Жучка воймя заливался, будто кто теребилъ его за горло. Медвѣдь всталъ; застигнутый подъ вывороченными пластами какъ подъ крутой стѣною, озлобленный наглою привязчивостью Жучки, онъ вздыбился съ мѣста и шелъ ревучи прямо на своихъ противниковъ. Герасимъ сдѣлалъ только шагъ впередъ, для послѣдняго вызова врага взмахомъ руки, потомъ быстро выдвинулъ рогатину не болѣе какъ на аршинъ впередъ себя, подхватилъ ее въ обѣ руки и, осаживая легонько ощупью въ нѣсколько пріемовъ, уперъ комлемъ твердо въ снѣгъ и землю: босой уже протягивалъ лапы на дѣдушку, ихъ раздѣляла только аршинная длина выпущеннаго конца рогатины; Герасимъ еще таки успѣлъ

дать на него окрика, и въ тотъ же мигъ, подставивъ ему желѣзо подъ самую грудь, быстро сталъ перехватывать руками по рогатинѣ, упирая ее крѣпко въ землю и отступая по мѣрѣ того, какъ звѣрь на него насѣдалъ.

Мишка—человѣкъ упрямый и своенравный; онъ не любитъ ни уступать, хотя самъ и не задоренъ, ни дать кому дорогу посторонившись, ни вообще уклоняться отъ какихъ либо препонъ и переградъ; онъ привыкъ всюду ломиться напрямикъ, сбивая съ ногъ и съ корня все, что, не признавъ лѣснаго хозяина, само не даетъ ему вольнаго проходу. Встрѣчные судья въ оглоблю толщины ломаетъ онъ боками, не замѣчая ихъ; но съ желѣзомъ онъ не знакомъ, и установки рогатины подъ угломъ и комлемъ подъ корень пня онъ не знаетъ. Отъ перочиннаго ножичка, который подставляютъ ему подъ названіемъ рогатины, было бы ему и стыдно, и странно уклониться, тогда какъ уклончивость эта стоила бы каждому охотнику жизни, а его бы спасала отъ неминучей смерти; но онъ только лѣзетъ впередъ, сѣвъ грудью на остріе и, стараясь прибрать къ рукамъ отступающаго передъ нимъ смѣльчака, онъ напираетъ самъ и напарывается все глубже и глубже. Рогатина сильно вздрагивала въ рукахъ Герасима отъ толчковъ и порывовъ босого ратника, и дѣдушка нажималъ ее къ землѣ изо всей силы. «Подсаживай!» закричалъ онъ голосомъ полузарѣзаннаго, когда желѣзо вошло уже на добрыхъ поларшина въ живое мясо, а лютый, неистовый ревъ звѣря сталъ переходить отъ густаго медвѣжьяго баса, все выше и выше, въ болѣе острые звуки....

Дикими кабанами выскочили Макаръ съ Семеномъ изъ засады и съ разгону подняли заклятаго врага своего съ обѣихъ сторонъ на клыки. И шиповое долото сослужило службу свою не хуже двурѣзной, закале-

ной полосы Герасима.—Вали его! крикнулъ дѣдушка, напирая теперь своей рогатиной изо всей мочи впередъ;—вали его! закричали подручники его, и медвѣдь, осѣвъ сперва на карачки, рухнулся навзничь, обливая бѣлый снѣгъ своею кровью, мыча протяжно и вило отбиваясь лапами на воздухѣ...

Кто бы справился съ этою силою, будь она силою разсудительною! Не хитра выдумка подставить дураку рожонъ, на который онъ самъ лѣзетъ и самъ валится, всею тяжестью неуклюжаго, огромнаго тѣла своего; а побѣждаетъ и эта хитрость!

Дѣдушка Герасимъ хотѣлъ было тотчасъ, перекрестясь, приниматься за освѣживаніе звѣря, но Сенька, въ иступительномъ удовольствіи своемъ, сталъ упрашивать его, кланяясь въ ноги, чтобы везти босого цѣликомъ на село. Подумавъ немного, Макаръ присталъ къ нему, и дѣдушка согласился. Изъ трехъ слегъ ратовищъ связали вязками наскоро волокушку, взвалили медвѣдя, подняли одни концы на плеча и потащили. Съ трудомъ доволокли его до дровней, гдѣ Ванюха больно соскучился одинъ, и отъ радости, вмѣстѣ съ Жучкой, задалъ выпляску по убитомъ медвѣдѣ.

— А ты гдѣ былъ, неслухъ этакой?—встрѣтила одна изъ ткачихъ Ванюху, когда первая радость встрѣчи и поживы миновалась.—Я съ дѣдушкой.... затянулъ Ванюшка плаксиво, прячась за лошадь, около которой возился.—Вотъ погоди, съ дѣдушкой,—продолжала бойкая молодая баба,—погоди, пострѣлъ, я тебя, ужо: ужь и ты никакъ у меня на медвѣдей повадился? Глупый, неразумный, издеретъ медвѣдь тебя, а вотъ отецъ съ извозу воротится, да съ меня спроситъ, а? Погоди!

— Да это, мама, не такой медвѣдь, не тово....

— Какой не такой!—Сказывай, пострѣлъ, какой не такой?

— Да не такой это, вонъ вишь смирный...

— Ахъ ты, кашникъ постылый, смирный! Погоди, отецъ воротится, онъ тебѣ дастъ.

Ну эту острастку Ванюшка, понуривъ голову, скрытно улыбнулся, будто подумалъ: «Ну, коли расправа до отца отложена, такъ ладно. Нынѣ, такъ бы страшно, а когда-нибудь—ничего.»

НЕВѢСТА СЪ ПЛОЩАДИ

Едва-ли кто у насъ не слыхалъ о народномъ повѣрьѣ: что берутъ или что можно брать невѣсту *изъ-подъ кнута*. Такъ выражается простой народъ въ разсказахъ своихъ объ этомъ странномъ дѣлѣ,—тѣмъ болѣе странномъ, что нѣтъ и не бывало закона, который бы допускалъ самую возможность этого мнимаго обычая,—а между тѣмъ народъ во всей Россіи вѣритъ въ него и пересказываетъ сохранившіяся о томъ преданія. Вотъ одно изъ нихъ: оно, какъ и всѣ подобныя ему, основано на укоренившемся мнѣніи, что если явится человѣкъ, который, въ самую минуту торговой казни преступницы, объявитъ гласно желаніе покрыть вину ея, то есть обвѣньчаться съ нею и взять ее на свой отвѣтъ, то казнь немедленно отмѣняется, и невѣсту, вмѣстѣ съ посланнымъ ею судьбою суженымъ, везутъ прямо къ вѣнцу. Не могло ли быть подобнаго, освященнаго однимъ обычаемъ, дѣла встарину, когда правительственный и общественный порядокъ основывался болѣе на обычаяхъ, чѣмъ на писанныхъ законахъ?—Вотъ что, между прочимъ, объ этомъ говоритъ преданіе.

Въ одной изъ среднихъ губерній нашихъ, въ хорошемъ селѣ, жилъ не бѣдный крестьянинъ, семьянинъ,

и между прочимъ была у него дочь Дарья. Дѣвушка эта слолоду показывала въ нравѣ своемъ много особеннаго, чего ни родители ея, ни другіе приближенные не умѣли, да и конечно не старались понять, и даже впослѣдствіи не могли хорошенько объяснить. Иные называли ее упрямою, даже злою, тогда какъ другіе говорили, будто она къ доброму человѣку такъ добра, что и мѣры нѣтъ, но что сердце ея не терпитъ никакой обиды или неправды: а что зла бывала она развѣ тогда только, когда подводили ее подъ напраслину, которой она не терпѣла. Она, какъ увѣряли, была жалостлива и послушна, если ее на раздражали грубою бранью, поклепомъ или несправедливымъ и непосильнымъ требованьемъ. Но когда она выросла и, какъ говорится, заневѣстилась, то все это вскорѣ было забыто, а добрая слава о Дарьѣ ходила по всему околотку. Она была черноволоса и черноглаза, очень бѣла для крестьянки, рослa и статна; черты лица ея были чрезвычайно живы и выразительны, и за здравый прямой умъ свой она получила прозваніе *козырдѣвки*. Она также извѣстна была самою работящею дѣвкою въ селѣ: дѣло у нея подъ руками не только кипѣло, но и горѣло: она всегда бралась за него со смѣхомъ, шутками и пѣснями; но если, повременамъ, на Дарью находила хандра, по поводу какой нибудь обиды или неправды, то она замолкала на цѣлую недѣлю и не прежде дѣлалась опять тою же веселою пѣвицей, какъ высказавъ обидчику своему всю правду въ глаза и сказавъ, не выжидая отвѣта: «Богъ съ тобой.»

Естественно, что за такою дѣвкой ухаживало много парней; говорятъ, что, когда однажды двое изъ нихъ поссорились изъ-за нея и чуть было не подрались, то она закричала имъ: «Чура не драться, дураки: лучше подите сюда, такъ я сама, изъ своихъ рукъ поколочу

васъ обоихъ, да и погоню коромысломъ со двора!» Говорятъ тоже, что Дарья была благосклоннѣе, чѣмъ ко всѣмъ прочимъ поклонникамъ своимъ, къ бѣдняку, къ сиротѣ-парню, который жилъ въ селѣ въ работникахъ; но само самою разумѣется, что парень этотъ былъ не дружка и не ровня Дарьѣ, которая не смѣла и думать о такомъ женихѣ: нашелся другой, понутру отцу ея, по нраву матери, — сынъ земскаго волостного писаря, молодой щеголь, видный собою и съ наживнымъ достаткомъ, но поведенія ненадежнаго. Отецъ, хоть и самъ хмѣльной, не разъ колачивалъ его, по возвращеніи изъ города, съ погулу, приговаривая: «хоть и валентиръ, да не ходи въ трахтиръ, не играй въ беляндряй, не испивай горячихъ шпунтовъ.»

Женихъ этотъ Дарьѣ не нравился: она отпрашивалась долго у отца и матери и называла жениха въ глаза нахаломъ за то, что онъ не хотѣлъ отъ нея отстать: но наконецъ должна была согласиться и выдти за него, потому что въ подобныхъ случаяхъ дѣло рѣшаютъ старики, которые больше нашего знаютъ. Главнымъ доводомъ родителей было то, что и мать Дарьи въ свое время не хотѣла идти за отца ея, а послѣ вышла, да вотъ, благодаря Бога, и живутъ. Сыграли свадьбу, на которой подруги Дарьи не шутя плакали и причитали по невѣстѣ, то есть не для одного обыка и приличія, а потому, что жалѣли ее, и до трехъ разъ принимались пѣть: «Утопили же твою головушку да за водопьяницей»,—такъ чтоъ наконецъ отецъ невѣсты, окрысившись прикрикнулъ на нихъ: «да ну васъ и съ этою пѣснею, на свою бъ голову вамъ ее!» и тѣмъ заставилъ ихъ замолчать. Расплели Дарьюшкину черную косу—всѣ дѣвушки плакали; не плакала только одна она, а что думала она, не знаю. Объ этомъ на селѣ было много пересудовъ; иные говорили, что она не

плакала со злости; другіе, что охотно шла за сына земскаго и только притворялась.

Вскорѣ однако люди заговорили, что Аксенка съ Дарьей живутъ не совсѣмъ ладно; иные винили его, говоря, что онъ и прежде былъ непутный человѣкъ; другіе обвиняли ее, увѣряя, что она ухватомъ да помеломъ весь домъ завоевала и что Аксенкѣ отъ нея житья нѣтъ. Умнѣйшіе говорили просто, что они оба другъ для друга не годятся, что на эту бабёнку надо бы не такого кислаго мужика, каковъ Аксенъ, а ей бы нужно такого, котораго бъ она любила. Словомъ, когда дѣло было сдѣлано, тогда только стали догадываться, что напрасно ихъ перевѣнчали. И тѣ же самые сосѣди, которые прежде говорили отцу Дарьи, на жалобу его, что она не хочетъ за Аксена: «да чего тебѣ на нее смотрѣть? что она знаетъ?—вотъ нашелъ толкъ, дѣвку спрашивать!»—тѣ же самые сосѣди говорили теперь: «Эхма, напрасно поторопился, старикъ: дѣвка еще молода — да и дѣвка-то еще какая! этакая не засидится, не босъ! Ну, пусть бы еще пожила себѣ на волѣ, чай не объѣла бы тебя, вѣдь она у тебя двухъ работницъ стоила; пусть обрыкалась бы маленько — она бы своего нашла!»

Дарья забеременѣла, и тутъ опять, вмѣсто того, чтобы этому обстоятельству примирить и сблизить болѣе молодыхъ, оно напротивъ послужило къ новымъ ссорамъ, и къ ссорамъ такого рода, которыя развѣ только въ самомъ черствомъ быту могутъ прощаться или забываться, а во всякомъ человѣкѣ съ нравственнымъ чувствомъ не допускаютъ даже и мировой. Аксенка, который сталъ опять слоняться и попивать, не знаю съ чего, сталъ придираться къ женѣ своей и попрекать ее теперь тѣмъ бобылемъ, о которомъ выше было упомянуто. Онъ сталъ ревновать ее и, по обычаю этихъ людей, бранился съ нею за это вслухъ, не

заботясь о случайныхъ свидѣтеляхъ. Дарья отвѣчала на это съ горькимъ презрѣніемъ, что онъ пьяный дуракъ, и самъ не знаетъ, что вретъ, что никому не доводилось и прикоснуться къ ней, да и ему дураку, хоть бы и мужу, въ жизнь свою также не видать ея, какъ бы ушей своихъ, если бы отецъ не потерялъ бы за нимъ головы ея. Тогда Аксенка, по заведенному обычаю, хотѣлъ побить жену; но при первой угрозѣ къ тому, Дарья ощетинилась такимъ рѣшительнымъ негодованіемъ, что онъ струсилъ и, по совѣту товарищей, напился еще болѣе, для отваги. Сдѣлавъ это, онъ подступилъ къ Дарьѣ, какъ ему казалось, съ геройскою смѣлостію и рѣшимостію; но оказалось, что онъ, какъ говорится, и лыкомъ на вяжетъ; съ невнятною бранью доползъ онъ до нея на растопыркахъ, а ему казалось, что несся онъ соколомъ выше лѣсу стоячаго, ниже облака ходячаго! Дарьѣ не стоило большого труда уложить его подъ лавку, на солому, приготовленную для гусей, и заложить его тамъ доской, въ которой были только небольшіе прорѣзы для гусиныхъ шей. Тамъ проспалъ Аксенка до утра, очень испугался, очнувшись утромъ въ гробу, стыдился разсказать о приключеніи своимъ товарищамъ, и на нѣсколько времени присмирѣлъ.

Дарья родила сына. Бабки и кумушки едва не замучили бѣдную родильницу, парили и мыли ее, трепали и катали, а наконецъ привели изъ жаркой бани и уложили въ избѣ. Такъ какъ это не мужское дѣло, то Аксенъ и не принималъ въ немъ никакого участія, но счелъ впрочемъ долгомъ напиться отъ радости и пойти съ поздравленіемъ къ тестю и тещѣ. Прошло дня три; крѣпкое сложеніе молодой и здоровой женщины взяло верхъ, и она была уже въ избѣ своей на ногахъ. Мужъ всталъ со свѣтомъ и пошелъ на работу: Дарья еще спала. На нее какъ-то напалъ такой непро-

будный сонъ, что она, проснувшись наконецъ довольно поздно, насилу опомнилась, и сама тому дивилась. Первымъ движеніемъ ея было ощупать около себя ребенка — онъ былъ тутъ, но лежалъ поперекъ, подъ нею: ее вдругъ будто обдало льдомъ; она вскочила, схватила его въ руки—онъ уже остывалъ; живой теплоты въ немъ уже не было. Она его *заспала*.

Дарья рѣзко взвизгнула; черные глаза ея дико сверкнули, она припала къ ребенку и долго, долго старалась отогрѣть его дыханіемъ; вдругъ остановилась, приподнялась; опять ощупала его руками, опять дико вскрикнула и вдругъ облила его цѣлымъ потокомъ горючихъ слезъ.

Люди сошлись понемногу, сосѣди и сосѣдки прибѣжали; но пора была страдная, народъ большею частію на работѣ, дома оставались старые да малые. Дарья стояла вытянувшись во весь ростъ, въ углу подлѣ кутника, прижимала мертваго младенца къ груди своей и, не шевелясь, поводила только кругомъ черными, блестящими, но будто безумными глазами. Старики и въ особенности старухи входили, разсуждали вслухъ, кричали и горланили, подходили по нѣскольку разъ къ несчастной матери, осматривали ребенка, и завѣряли, что онъ ужъ не живой. Одна говорила: «экая ты какая, Дарьюшка, да ты бы вотъ то и то, да ребенка-то клала бы подальше отъ себя, къ краю, не то бы повыше, въ головы, вотъ подико-сь, я покажу»... другая извиняла ее тѣмъ, что это у нея былъ первенькой и дѣло непривычное; третья полагала, что «видно-де Дарьюшка, голубушка моя, больно крѣпко уснула» — и прочее. Тутъ же припоминались и разсказывались всѣ подходящіе къ дѣлу былые и небывалые случаи, со всѣми подробностями. Натолковавшись досыта, послали наконецъ за родителями Дарьи, тамъ за теткой, но всѣхъ ихъ не было дома; тогда послали двухъ ре-

бятишекъ въ поле звать домой мужа ея; а какъ затѣмъ несчастная мать все еще стояла, блѣдная какъ стѣна, на томъ же мѣстѣ, крѣпко прижимала младенца и не давала его никому, несмотря на всѣ убѣжденія и завѣренія, что пора-де его обмыть и прибрать, то старушка разсѣлись по лавкамъ и начали толковать на распѣвъ о томъ, что Богдашка этотъ—какъ называютъ всякаго младенца до крестинъ — не крещенъ на бѣду, и что нельзя его хоронить на святой землѣ, на кладбищѣ, а надо хоронить безъ попа и за оградой; что матери не видать его и на томъ свѣтѣ, что это еще и не человѣкъ, и Богъ еще не вложилъ въ него душу, потому де что въ немъ нѣтъ еще ни креста, ни печати дара Духа Святаго, и проч. Вслѣдствіе такого разсужденія, бабушки и поспѣшили тотчасъ же зажать ротъ одной безтолковой, выжившей изъ ума старухѣ, плакальщицѣ по призванію, которая, услышавъ, что въ избѣ Аксенки есть покойничекъ, прибѣжала бѣгомъ, въ притрусочку, съ другого конца села и начала было выть и причитать: «ахъ ты свѣтикъ, голубчикъ ты мой! о и кто жъ меня будетъ любить, а кто жаловать поить, кормить! на кого жъ ты покинулъ меня?» и проч. Старуха замолчала, струсивъ въ недоумѣніи: «а что, нешто не надо?» — И не совсѣмъ понявъ, въ чемъ дѣло, потому что была очень туга на ухо (а объясненія, что это-де не покойничекъ, а Богдашка, и что по немъ ни плачу, ни причитанья не бываетъ, оглушили ее кругомъ, со всѣхъ сторонъ),—замолчала, покачала головой и начала про себя креститься и молиться.

Мало-по-малу изба стала очищаться отъ мусора, и незванныя посѣтительницы частію разбрелись, а частію сѣли подгорюнясь за воротами и стали потѣшать другъ друга розсказнями. Дарья, оставшись одна, въ тишинѣ, послѣ этого оглушительнаго шума, вдругъ припала

въ какое-то безпокойство и судорожную дѣятельность: лицо ея разгорѣлось, глаза опять засверкали; она стала дико оглядываться; не отымая трупа младенца отъ груди своей, она тихо подкралась къ столу и ухватила большой хлѣбный ножъ; казалось по всему, что она, въ безсознательномъ отчаяніи своемъ, хотѣла наложить на себя руку: она пробовала пальцемъ, остеръ ли ножъ, потомъ опять осторожно оглядывалась, прислушивалась къ голосамъ старухъ подъ окнами, и наконецъ опустила руку и заглядѣлась на мертвое лицо своего младенца. Въ этомъ положеніи стояла она еще, когда услышала на улицѣ громкій говоръ и шумъ: это шелъ съ поля Аксенъ, и старухи встрѣтили его дружнымъ хоромъ, соболѣзнуя и разсказывая, что́ и какъ случилось. Одна баба даже уцѣпилась за него и тащилась вслѣдъ за нимъ въ избу, приговаривая: «ты не бей ее, родной, не бей; смотри, грѣшно будетъ: вѣдь она нехотя, Божья судьба, Божья воля!»

Аксенъ вошелъ, а за нимъ толпой сосѣди и сосѣдки. Дарья, услышавъ шумъ этотъ, вздрогнула и отвела руку съ ножемъ за себя, за спину, будто хотѣла его спрятать. Аксенъ подошелъ къ ней довольно спокойно и равнодушно, взглянулъ на трупъ младенца, а потомъ на Дарью и, отворачиваясь, сказалъ: «что-жь, однимъ выродкомъ меньше на селѣ.»

Едва проговоривъ это, онъ дико вскрикнулъ и упалъ ничкомъ Люди подскочили—у Аксена все лицо обдало кровью, и самъ онъ хрипло дышетъ. Стали его приподымать, и тогда только съ ужасомъ увидѣли, что у него въ шеѣ торчалъ большой ножъ, воткнутый въ тѣло по самый черенъ. Никто не видалъ почти, какъ это сдѣлалось; едва только тотъ или другой изъ бывшихъ въ избѣ стариковъ и старухъ замѣтили какое-то быстрое движеніе руки Дарьи, будто она оттолкнула отъ себя мужа или ударила его наотмашь.

Крикъ ужаса раздался въ избѣ Аксена, потомъ на улицѣ, и вскорѣ, завывая разными голосами, разнесся по всему селу и по полямъ. «Дарья зарѣзала мужа!» кричали встрѣчные другъ другу, черезъ улицу, черезъ дворы, загороды и конопляники—и когда несчастный Аксенъ, черезъ четверть часа, точно отдалъ Богу душу, то уже болѣе никто не думалъ унимать глухую старуху, знаменитую плакальщицу, которая разсѣлась по какомъ-то обрубкѣ, расположилась по должности своей какъ дома, всплескивала руками и заливалась причитаньями, которыхъ, разумѣется, никто не слушалъ.

Дарью заковали; слѣдствіе, а затѣмъ и судъ, пошли своимъ путемъ, и дѣло окончено было довольно скоро, потому что оно было довольно просто: всѣ показанія свидѣтелей и самой преступницы были согласны и ни въ чемъ не разнословили. Дарья отвѣчала только, что не ясно помнитъ, какъ это сталось, но помнитъ, что сдѣлала это вышедъ изъ себя, когда Аксенъ, при людяхъ, бранно обозвалъ младенца и навелъ такой клёпъ на нее, ни въ чемъ передъ нимъ невиновную; что упрекъ этотъ она съ трудомъ переносила прежде, а теперь была въ безпамятствѣ и только смутно вспоминаетъ, что́ случилось. Яковъ, призванный также для допроса, сильно плакалъ, ломалъ руки и приводилъ Бога въ свидѣтели, что ни онъ, ни Дарья не были причастны грѣху и что Аксенка, Богъ вѣсть съ чего, взводилъ на бѣдную Дарью такую напраслину.

Какъ бы то ни было, а Дарья, какъ уличенная и во всемъ сознавшаяся убійца, приговорена была къ торговой казни. Пришелъ назначенный день, и всѣ приготовленія были сдѣланы на площади губернскаго города, гдѣ на этотъ разъ, по поводу Покровской ярмарки, собралось много народу. Не станемъ описывать всѣхъ подробностей тогдашняго порядка исполненія

подобныхъ приговоровъ; онѣ довольно извѣстны, а кто бы и не зналъ ихъ, тотъ, конечно, ничего отъ этого не теряетъ. Когда преступница была приведена, то соболѣзнованіе и ужасъ объялъ несмѣтную толпу: это была рослая, статная красавица, на 21-мъ году жизни своей, прекрасная собой, не смотря на всѣ перенесенныя и еще ожидаемыя ею страданія; въ пріемахъ ея не было ни трусости, ни слѣда киченья или наглости: она вполнѣ предалась судьбѣ своей, и кромѣ обнаруживавшагося повременамъ страха, одинъ только стыдъ позора и глубокое, хотя и позднее, раскаяніе потупляли глаза ея въ землю. Слышно было, что она много и долго молилась, во всемъ каялась и винилась, и ничего не говорила въ свое оправданіе.

Мертвое молчаніе установилось, когда послѣ барабаннаго боя стали вслухъ читать приговоръ. Въ числѣ присутствовавшихъ тысячъ, конечно, не было ни одной души, не знавшей болѣе или менѣе всѣхъ обстоятельствъ происшествія, — которыя впрочемъ и не помѣщаются въ подробности въ приговорѣ, — но казалось, каждый хотѣлъ услышать все, до послѣдняго словечка, что до этого случая относилось, и, можетъ быть, найти, въ свое утѣшеніе, какое-нибудь обстоятельство, облегчающее нѣсколько совѣсть преступницы.

Лишь только приговоръ былъ прочтенъ и несчастная передавалась въ руки палача, какъ съ двухъ противоположныхъ сторонъ круга выступили изъ толпы два человѣка: одинъ въ самой бѣдной крестьянской одеждѣ, съ лицомъ, едва только опушеннымъ бородкой, блѣдный, сильно разстроенный подъ пыткою страха и боязни, — другой въ щегольской, тонкой синей сибиркѣ, въ шелковомъ поясѣ, съ пуховою шляпой въ рукѣ, съ лицомъ молодымъ и цвѣтущимъ; первый бросился было торопливо впередъ къ окружавшимъ, по обязанности своей, преступницу, и пробился

къ ней; но, встрѣтивъ здѣсь второго, который уже предупредилъ его и раскланивался съ властями, бѣдный бобыль Яковъ остановился въ недоумѣніи и страхѣ. Онъ услышалъ ясно, что молодой парень въ сибиркѣ поклонившись сказалъ: «Ради Христа и вѣчнаго спасенія нашего, помилуйте: я согласенъ взять ее за себя..» Яковъ перекрестился нѣсколько разъ, засмѣялся и сильно заплакалъ въ одно и тоже время и проговорилъ вслухъ: «да, вонъ оно что, видишь»;—и отступилъ опять нѣсколько назадъ, такъ что его даже мало кто и замѣтилъ. Дарья ничего не видѣла, не слышала: она стояла, какъ и прежде, не шевелясь, не подымая глазъ.

Это нечаянное вмѣшательство неизвѣстнаго молодого парня всѣхъ поразило: народъ стоялъ разинувъ ротъ—и если бъ въ это время пролетѣла муха, то ее было бы слышно. Первое слово затѣмъ послышалось вполголоса: «вотъ, и мнѣ на вѣку пришлось выдавать невѣсту! бери, Божій человѣкъ, не бойся, не пожалѣешь!» Парня въ сибиркѣ спросили, что ему нужно? Онъ повторилъ громко и ясно то же: «Ради Христа и вѣчнаго спасенія нашего, помилуйте: я согласенъ взять за себя несчастную.» Тогда толпа зашевелилась какъ море, и говоры, крикъ радости и молитвы огласили воздухъ. Ни одной шапки не осталось на головѣ: всѣ крестились.

Скажемъ теперь слово о молодомъ парнѣ, который стоялъ въ пяти шагахъ отъ Дарьи, не блѣдный, не разстроенный, не отчаянный, а спокойный и веселый, въ ожиданіи рѣшенія, по повидимому и съ увѣренностью успѣха. Это былъ сынъ богатаго торговаго крестьянина, изъ сосѣдняго посада. Отецъ и мать его, заботясь о немъ, какъ бы никогда не должно заботиться родителямъ, окончательно порѣшили женить его на мѣщанской дочери, которая нравилась имъ, по

разнымъ расчетамъ и соображеніямъ, но которая до того ненавистна была сыну ихъ Терентію, что онъ почти готовъ былъ отъ нея утопиться. Онъ присланъ былъ отцомъ по торговымъ дѣламъ на ярмарку и, слышавъ уже прежде о происшествіи, которое надѣлало столько шуму во всей губерніи, теперь вдругъ, вовсе нечаянно, онъ поставленъ былъ лицомъ къ лицу съ прекрасною преступницей. Мысль, какъ молнія, сверкнула въ рѣшительной головѣ его. Что, какъ бы мнѣ взять за себя, изъ-подъ кнута, эту молодую женщину, неужто она не была бы мнѣ вѣрной и покорной женою по гробъ, неужто она не стала бы меня — ну, хоть любить не любить, а почаще взглядывать? — а дѣло-то, чай, сотворилъ бы божеское—вѣдь вонъ она бѣдная какая, погляди! такіе ли бываютъ злодѣи? Бѣсъ съ рукою поспѣшилъ, когда боль скорби и оскорбленія затмили разсудокъ ея, а она грѣху этому не причастна. Неужто ненавистная губительница моя стоитъ ея? А той мнѣ не миновать... Обвѣнчавшись съ честнымъ молодцомъ, и Дарья честна станетъ, я никому не дамъ ее упрекнуть; уѣду съ нею; Богъ съ нимъ, съ отцомъ, пусть деньги при немъ будутъ, я за ними не погонюсь...» Эта мысль въ одинъ мигъ такъ одолѣла его, что онъ уже не могъ отъ нея отбиться; какъ бы за вѣдомымъ, рѣшеннымъ дѣломъ, пробивался онъ вслѣдъ за преступницею впередъ... Чѣмъ болѣе онъ взглядывалъ на нее, тѣмъ менѣе могъ онъ рѣшиться отвести глазъ... Когда же настала роковая минута, которую онъ зналъ по народнымъ преданіямъ, какъ помнилъ и переданныя ему въ дѣтствѣ слова, какія принято говорить при семъ случаѣ передъ властями, — когда пришло мгновеніе это, то въ немъ вдругъ занялся духъ; онъ смѣло выступилъ впередъ и, объявивъ намѣреніе свое, опять вздохнулъ свободно, будто свалилъ съ плечъ цѣлую гору...

Освѣдомились, кто онъ, откуда, не женатъ-ли, не родня ли преступницѣ; Терентій тотчасъ же отыскалъ и вызвалъ свидѣтелей, сдѣлавшихъ удовлетворительное показаніе. Начальство подумало и сказало: «съ Богомъ, коли такъ; судьбы своей и Божьей воли никому не миновать.» Палачъ, какъ говоритъ это преданіе, не прикоснувшись къ помилованной такимъ необычайнымъ случаемъ преступницѣ, долженъ былъ однакоже, въ назиданіе народу, дать одинъ ударъ кнутомъ по кобылѣ, приговаривая къ этому: «Кошуйтесь, дѣтки, кошуйтесь, молитесь Богу за несчастныхъ!» Онъ положилъ на кобылу лубокъ, разошелся, разсѣкъ его однимъ ударомъ пополамъ, такъ что двѣ половинки развалились врозь—и этимъ всѣ обязанности заплечнаго мастера кончились.

Съ мѣста, какъ стояли они, повели нечаянныхъ молодыхъ къ вѣнцу. Дарья во все время ни разу не подымала глазъ и не видѣла ни жениха своего, ни мужа. Она, кажется, еще не совсѣмъ понимала, что съ нею дѣлалось. Терентій на нее поглядывалъ, улыбался и молчалъ. Народъ радостно шумѣлъ и мчался волной вслѣдъ за небывалыми молодыми, провожая ихъ сперва въ церковь, а потомъ изъ церкви, если не домой, то по крайней мѣрѣ до самой городской заставы. Многіе начинали имъ бросать деньги, но Терентій, снимая шляпу и ласково раскланиваясь, благодарилъ и отказывался, отдавая деньги нищимъ. Одинъ наѣзжій купецъ до того расходился, среди общаго восторга, что задалъ народу пиръ, обдѣливъ всѣхъ калачами, и кричалъ «ура» до сиплости и изнеможенія.

Терентій пріѣхалъ въ городъ на своей телѣгѣ и на ней онъ выѣхалъ, съ молодой женой, изъ города. Она все еще не подымала глазъ и не говорила съ нимъ ни слова. Когда они остались наконецъ одни, въ чистомъ полѣ, то онъ, остановивъ лошадь, сказалъ: «что жъ,

Дарьюшка, подай руку — будемъ жить, что ли?» Она бросилась къ нему въ ноги, обняла ихъ и теперь только, послѣ долгаго и нестерпимаго томленія, залилась слезами.

Терентій поднялъ ее насильно: «Надо старое позабыть, сказалъ онъ, — надо жить намъ снова, вотъ будто мы съ тобой сегодня только на свѣтъ народились... А куда же мы поѣдемъ теперь, Дарьюшка? вѣдь мнѣ ѣхать домой-то нельзя: примутъ-ли, нѣтъ-ли отецъ-мать черезъ годъ со днемъ, что Богъ дастъ, — чай смилуются, а теперь ѣхать къ нимъ нельзя. Поѣдемъ въ ваше село, къ твоему отцу-матери; можно?

— Какъ не можно, сказала Дарья, глядя Терентію прямо и смѣло въ глаза... съ Богомъ поѣдемъ.

Пріѣмъ со стороны тестя и тещи трудно себѣ представить: они сидѣли въ избѣ своей, на селѣ, въ глубокой горести, зная, что́ теперь дѣлается въ городѣ... Вдругъ ко двору ихъ подъѣзжаетъ парная телѣга; они смотрятъ и не видятъ, видятъ и не вѣрятъ — какой-то парень, въ сибиркѣ, въ шелковомъ поясѣ и въ пуховой шляпѣ, привезъ къ безсчастному, опозоренному двору стариковъ молодую женщину — и эта женщина — ихъ дочь!

Долго не могли опомниться старики, не могли сказать ни одного слова, хотя дочь ихъ уже лежала у нихъ въ ногахъ, а парень, послѣ земнаго поклона, стоялъ и кланялся, и просилъ ихъ благословенія. Когда же старики опомнились, то оба очутились въ ногахъ у Терентія, который въ отчаяніи своемъ долженъ былъ прибѣгнуть къ помощи сбѣжавшагося народа, чтобы силою поднять стариковъ и усадить въ избѣ на лавку.

Родители Терентія года два не пускали его къ себѣ на глаза, между тѣмъ какъ онъ принялся за соху и работалъ у тестя. И Дарья принялась за работу попрежнему, и работа у нея изъ рукъ не валилась.

Наконецъ отецъ его заболѣлъ, и, считая себя при смерти, захотѣлъ помириться съ сыномъ и съ невѣсткой. За ними послали; и только-что старики увидѣли Дарью и нѣсколько съ нею познакомились, какъ она полюбилась имъ и не захотѣли они болѣе съ нею разстаться. А Дарья, говорятъ, была такою примѣрною женою и дочерью, что и теперь, когда случай этотъ сохранился по одному только темному и давнишнему преданію, ее ставятъ, въ тѣхъ мѣстахъ, въ примѣръ всѣмъ женамъ и невѣстамъ.

Я позабылъ сказать только одно: оглохшая и одурѣвшая старуха, знаменитая плакальщица, о которой я говорилъ, прибѣжала на тревогу въ избу отца Дарьи, когда молодые къ нимъ пріѣхали. Не разобравъ хорошенько, въ чемъ дѣло, но увидѣвъ толпу въ сѣняхъ и въ избѣ и слыша ревъ и плачъ, плачъ радости родителей Дарьи, она, по своему обычаю и призванію, принялась также навзрыдъ ревѣть и причитать, пробираясь локтями въ избу. «Дура, старая дура, ошалѣла!» посыпалось на нее со всѣхъ сторонъ, и она, опять замолкнувъ, спросила простодушно: «а что, нешто не надо?»

МЕРТВОЕ ТѢЛО

Въ зимній вечеръ, идущій въ домовой отпускъ служивый постучался въ первое встрѣчное окно небольшой деревушки. «Чего надо?» спросилъ бабій голосъ, между тѣмъ какъ густая тѣнь головы затемнила все красное оконце, котораго всю красоту, впрочемъ, составляло одиночное стеклышко въ четвертку листа. «Пустите, хозяюшка, служиваго переночевать—вишь, у васъ и погода-то не людская.»—А ты куда идешь, откуда, зачѣмъ? продолжала его разспрашивать баба, не рѣшаясь дать прямого отвѣта. Поздно служивый спохватился, что несмотря на опытность свою, далъ машка: ему бы просто взойти, попросившись погрѣться, такъ не было бы докучливыхъ разспросовъ подъ окномъ, на морозѣ. Наконецъ отперли калитку; онъ вошелъ, обогрѣлся, поѣлъ, побалагурилъ, а между тѣмъ, покрякивая что-то уже во весь день, вдругъ не шутя разнемогся, отвѣчая на всѣ вопросы перепуганныхъ хозяевъ, что его схватило, приступило къ сердцу, привалило подъ самую душку, и проч.

Дѣло не шуточное! Человѣкъ, да къ тому еще человѣкъ чужой, сторонній, а наконецъ и казенный, государевъ чинъ, умираетъ. Слово это, равносильное на языкѣ крестьянъ нашихъ болѣзни, нездоровью, заклю-

чаетъ однакоже въ себѣ понятіе или возможность смерти и при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ бываетъ для нихъ страшнымъ и роковымъ. Сошлись сосѣди, потолковали, вышли, опять пришли, долго чесали затылки, прислушиваясь къ стону больного; тамъ пришелъ кто-то въ родѣ старосты или сельскаго старшины, и всѣ рѣшили, что дѣло плохо, больно плохо, что служба умираетъ. Заложили дровни, положили на нихъ соломы, и, подъ крикъ, вой и причитанье хозяйки, которая клялась и божилась, что головушка ея пропала, таки вотъ совсѣмъ погибла, кой-какъ растолкали служиваго, уговорили его собраться въ походъ и ѣхать въ ближайшую деревню, гдѣ ему будетъ сподручнѣе, гдѣ мужики богатые и очень жалостливые, а избы все хорошія, и гдѣ есть также искусная знахарка, которая ему какъ-разъ животъ направитъ. Ему обѣщали хлѣба на дорогу, соломы на подстилку и два тулупа для покрышки. Все это показалось служивому столь соблазнительнымъ, что онъ рѣшился не упустить случая попользоваться подводой, вмѣсто того, что ему пришлось бы перемѣрять этотъ перегонъ, въ зимнее и ненастное время, своимъ аршиномъ. Для большаго убѣжденія, кричали ему со всѣхъ сторонъ: «Ступай, ей-богу, ступай—хуже какъ здѣсь помрешь; а помрешь, ей-богу помрешь» и проч. Служба легъ въ ворохъ соломы, свернулся, его укрыли тулупами, насовавъ ему подъ бока посохъ его, котомку, запасные сапоги и въ придачу еще большую ковригу хлѣба, которую онъ подмостилъ себѣ очень ловко, вмѣсто подушки, подъ голову. Дровни тронулись, со всѣхъ сторонъ посыпались совѣты и наказы мальчишкѣ, котораго посадили править, и голосъ высокаго жердня покрылъ всѣ голоса, когда дровни уже отъѣхали саженъ на десятокъ; и вслѣдъ за ними раздавалось звучно и ясно: «Кобыла чужая, кнутъ не свой — погоняй, не стой!»

Но чужая кобыла обтерпѣлась и не слишкомъ уважала не свой кнутъ, если онъ былъ въ рукахъ мальчишки; она вскорѣ поняла свое положеніе, разсчитавъ по первымъ тремъ шлепкамъ, чего ей ожидать на остальномъ пути, и потому ограничивалась тѣмъ, что мѣстами спускала сани подъ гору вскачь, а въ прочемъ отвѣчала на каждый взмахъ плети взмахомъ хвоста и продолжала путь свой шагомъ. Мальчишка, который перезябъ, укутался и завернулся, поворотившись встрѣчному вѣтру спиной, и вскорѣ началъ дремать; а служба, благоденствуя на мягкой постели, подъ теплой покрышкой, спалъ какъ убитый и ни разу не выказалъ носу изъ-подъ двойнаго тулупа.

Служивый выспался, почувствовалъ, что брюхо его, безъ знахарки, давно уже пришло въ законное положеніе, ощупалъ подъ бокомъ палку, а въ головахъ хлѣбъ, приподнялъ полу тулупа и выглянулъ на свѣтъ Божій.—А что, спросилъ онъ мальчишку, толкнувъ его рукой, скоро что ли на фатеру-то? — Не знаю, дядюшка, отвѣчалъ тотъ, вишь куда заѣхали, что я и не бывалъ тутъ.—А чего же ты глядѣлъ? — Да чего глядѣть, темно, не видать ни зги, чуть не замерзъ. — Да куда же ты ѣдешь теперь? — Да не знаю, дядюшка, вотъ ей Богу не знаю. — Ну, вези, куда Богъ велитъ, пробормоталъ служба, и полѣзъ опять подъ тулупъ. Мальчишка чуть не плачетъ; лошадь бредетъ, куда ей угодно, а служба, творя крестъ за крестомъ, лежитъ подъ тулупами и съѣдаетъ ломоть за ломтемъ отъ своего изголовья.

Наконецъ ему показалось, что опять много времени прошло; сытое брюхо его пришло въ самое пріятное положеніе, и онъ, выглянувъ изъ-подъ тулупа и увидавъ, что уже разсвѣло, снова сталъ спрашивать мальчишку, скоро-ль на фатеру. Услышавъ опять тотъ же неопредѣленный и при томъ отчаяннымъ голосомъ

произнесенный отвѣтъ, служивый самъ принялъ начальство: онъ уложилъ мальчишку на свое мѣсто, разумѣется, назвавъ его щенкомъ и поросенкомъ, взялъ вожжи въ руку, плюнулъ въ рукавицу, взялъ кнутъ и погонялъ—не стоялъ. Кобыла, несмотря на всю усталость свою, тотчасъ же поняла, въ чемъ тутъ сила, и помчала по дорогѣ во всѣ оглобли. Черезъ часъ показалась издали изба, тамъ другая и третья, и вскорѣ пріѣхали въ деревню. Служба только-что сталъ-было опять привязываться къ мальчишкѣ, допытываясь, какая это деревня, какъ увидѣлъ надъ дверьми одной избы привѣтливую елку и въ то же мгновеніе разсудилъ, что дальше ѣхать не зачѣмъ. «Стой, пріѣхали», сказалъ онъ — «вотъ она гдѣ, знахарка, что животы тѣ правитъ». Самъ соскочилъ съ дровней, взялъ посохъ, котомку, сапоги и остальной ломоть хлѣба, и, сказавъ: «спасибо, парнишко; благодари на милости, какъ дома будешь» — самъ отправился въ заведеніе.

Служба такъ хорошо выспался въ теплѣ и на хлѣбѣ, что и позабылъ о вчерашней хворости своей; а заправивъ дѣло чаркой-другой и позанявшись пріятной бесѣдой подъ елкой, не успѣлъ оглянуться, какъ время перешло за полдень. Онъ вспомнилъ, что ему тутъ не вѣкъ вѣковать, собралъ припасы свои, которыхъ, какъ мы видѣли, было очень не много, и вышелъ на улицу, чтобы продолжать путь. Онъ былъ очень доволенъ ночнымъ приключеніемъ своимъ, потому что перезябшій, плаксивый мальчишка провезъ его верстъ тридцать, по прямому пути, и этимъ порядочно подвинулъ впередъ.

Но собравшійся въ это время около заведенія народъ обступилъ нашего путника, готоваго пуститься въ дорогу, и сталъ его убѣдительно уговаривать и упрашивать остаться ночевать. Ему предлагали все: и столъ и полати, только не ходи теперь, а оставайся

до утра въ деревнѣ. «Съ ума что-ли вы сошли», сказалъ расходившійся служивый, «да что вы мнѣ за дядьки? Пришелъ я въ одну деревню хворый, не дали покою, не дали костямъ моимъ отдохнуть, а выпроводили вонъ на своей подводѣ, только не оставайся у нихъ, не умирай на селѣ; пришелъ—аль бишь пріѣхалъ—въ другую, тутъ не пускаютъ, сиди на печи!»

Но міръ разсуждалъ по своему: старики указывали на погоду да на морозъ, да на метель, которая съ полудня опять стала разыгрываться, да еще на голову служиваго, которая пришла мало-по-малу именно въ то положеніе, когда море бываетъ по колѣно, а лужа по уши. «Какъ его отпустить,—говорили они,—ты вишь, что на дворѣ дѣлается, а самъ-то онъ каковъ! тутъ долго-ль до грѣха? отойдетъ до Игнашкина яра да замерзнетъ, тутъ, парень, бѣды не оберешься; ему-то, вишь, спола горя; а мы отвѣчай послѣ! Нѣтъ, служба, ужь ты сдѣлай милость такую, послушайся насъ; хлѣбъ-соль будетъ, теплый уголъ тебѣ будетъ и чарка еще будетъ на ночь; только сиди ты теперь и ништки; утро вечера мудренѣе, что Богъ дастъ, завтра пораньше пойдешь.» — Не хочу, кричалъ служивый, размахивая руками и толкая посохомъ въ снѣгъ: — не хочу, пойду да и полно; ты вишь, я совсѣмъ собрался, и котомка за плечами. — «Мы видимъ, что ты совсѣмъ собрался, сказали мужики, да вишь сборыто твои въ такую дорогу не хороши; ты забралъ лишнее. Угомонись, служба, оставайся; воля твоя, а мы тебя не пустимъ.» — Не хочу, подите прочь, вы мнѣ не указчики; я казенный, государевъ человѣкъ, на водѣ не потону, на огнѣ не сгорю.—«Ну слушай, обожди до утра, еще чарка будетъ!» — Не хочу ничего, пустите! — «Ну, утромъ отвеземъ тебя, дадимъ подводу, только не ходи теперь, замерзнешь!» — Не хочу, пойду теперь да и полно; прочь, отступитесь!

хоть кланяйтесь, хоть просите, хоть стращайте, а пойду! — «Нечего дѣлать съ нимъ, сказалъ старикъ, который, снявъ шапку, кланялся и упрашивалъ солдата принять ужинъ, чарку вина и подводу на другой день,—нечего дѣлать, отвеземъ же его лучше теперь, чтобъ не было грѣха. Степка, бѣги скорѣй да закладывай розвальни—а ты, служба, сдѣлай милость, не ломайся, вотъ на ту минуту запряжетъ парень и выбѣжитъ... «Но служба, вошедши разъ въ строптивую колею, и тутъ еще долго спорилъ и буянилъ, покрикивая на собравшуюся вокругъ него толпу: «прочь, разступись, ударю!» и вырывая полы шинелишки своей изъ рукъ усердныхъ и заботливыхъ мужичковъ, которые робѣли по отвѣтственности за казеннаго чечеловѣка. Послѣ долгихъ перекоровъ и усердныхъ просьбъ, онъ однакоже сѣлъ въ сани, въ особенное одолженіе крестьянъ и, погрозивъ имъ съ саней посохомъ, сказалъ: «ну, смотрите вы у меня, я васъ... а впередъ, вотъ ей-Богу ни въ жизнь, то есть, не поѣду, да...» и при общемъ хохотѣ крестьянъ, благополучно тронулся въ путь.

Вотъ вамъ картина, которую, можетъ быть, не всякому случалось видѣть; но не всегда этотъ страхъ за отвѣтственность,—и въ особенности за это роковое мертвое тѣло, — оканчивается такъ забавно, какъ въ похожденіяхъ солдата, идущаго въ домовой отпускъ. Иногда послѣдствія бываютъ очень грустны. Вотъ другой случай, который мы разскажемъ въ точности, какъ онъ былъ, но не назовемъ только мѣсто и лица.

Въ дурное, суровое зимнее время, ветхій старикъ пришелъ на село, побираясь милостыней. Извѣстно, что эти сельскіе нищіе обходятъ, изъ селенія въ селеніе, большія пространства и доходятъ иногда довольно далеко; никто не зналъ старика въ этой деревнѣ, потому что онъ былъ, какъ у насъ выражаются,

со стороны. Ночь застигла его, и онъ сталъ проситься переночевать, а какъ хлѣбомъ-солью кормитъ не богатый, а тароватый, то и въ этомъ случаѣ приняла его убогая вдова. Старикъ на другой день былъ еще слабѣе и хилѣе; но хозяйка боялась отвѣта за передержательство и, посовѣтовавшись съ сосѣдами, объявила ему, чтобъ онъ шелъ съ Богомъ, куда хочетъ. Онъ поднялся съ лавки при ея же помощи и вышелъ на улицу, но тамъ упалъ и не могъ встать. Какъ ей быть? Съ отчаяніемъ она звала людей на помощь, но никто не хотѣлъ идти, говоря: «отвѣчай послѣ сама, коли пустила». Кой-какъ она подняла старика и опять свела въ избу. Онъ разнемогся пуще, просилъ Христа ради о спасеніи души, и добрая хозяйка сама повезла его въ ближайшее село, къ священнику на исповѣдь и причастіе; но дѣваться съ нимъ болѣе некуда, никто его не принимаетъ, и она привезла его опять домой. Міръ напалъ на нее и грызъ ей голову безотходно, что-де умретъ старикъ, безпремѣнно умретъ, судъ наѣдетъ, и бѣда будетъ всѣмъ; что-де ты тогда дѣлать станешь? А намъ-то за что отвѣчать за дурость твою?

Прошелъ еще день, и міръ рѣшилъ, что старикъ умираетъ, но что ему никакъ нельзя дать умереть въ деревнѣ. Иные хотѣли, чтобъ хозяйка вывезла его на распутье; но другіе отвѣчали, что найдутъ трупъ, и дѣло будетъ еще хуже, отвезти бы дальше, на чужую межу, такъ вишь узнали уже въ околодкѣ и на селѣ, что былъ у насъ на деревнѣ старикъ, и допщутся; только другихъ запутаемъ, а сами не уйдемъ; вишь, она съ дору-то еще и на село возила прижильца своего. Какъ-же тутъ быть? «Родимые мои, говорила хозяйка, да вѣдь онъ человѣкъ, хоть передъ Богомъ человѣкъ; куда же я съ нимъ дѣнусь?» — Да куда хочешь, туда и дѣвайся, чтобъ его и слуху и

духу тутъ не было, чтобъ и слѣдовъ его тутъ не оставалось и концы въ воду: не то бѣда тебѣ будетъ неминучая; затаскаютъ, и пропадешь; а не дай Богъ, умретъ онъ у тебя — а ты видишь, что онъ уже почитай не живой, совсѣмъ умираетъ, все равно что померъ,—умретъ, такъ вотъ мы тебя тотчасъ свяжемъ и представимъ; отвѣчай, какъ знаешь, а съ больной головы на здоровую не свалишай.

Хозяйка моя бросалась за помощью и за совѣтомъ во всѣ стороны, но кромѣ страховъ и угрозъ ничего не слышала. — Дура ты, сказалъ ей наконецъ шепотомъ мужикъ, у котораго борода была уже съ просѣдью,—дура ты, Онисимовна, вѣдь ты видишь, кака бѣда пристала, чего тутъ толковать — извѣстно, тутъ нечего болѣ дѣлать, какъ въ мѣшокъ грѣхи да подъ лавку; ты заложи ночью дровни, навали старика заживо—не живъ, все одно помираетъ—выѣзжай потихоньку подъ яръ, да благословясь вывали его въ рѣку: вотъ тебѣ и концы въ воду, и все благополучно: не разорять же изъ-за тебя всю деревню; вода все смелетъ, небось, вынесетъ весной гдѣ нибудь верстъ за пятьдесятъ—что жъ, ты въ сторонѣ: скажешь, что подвезла его до большой дороги, а онъ-де пошелъ, а куда и зачѣмъ дѣвался, не могу знать.

Баба подумала да и заложила дровни и взвалила старика, который былъ безъ памяти, свезла подъ яръ и вывалила въ рѣчку. «Стало быть, такая судьба его, подумала она, да и моя: авось Господь не взыщетъ...»

САМОВАРЪ

(Быль)

На нижегородской ярмаркѣ, въ тульскомъ ряду, нѣсколько большихъ лавокъ заняты одними самоварами. Въ одну изъ такихъ лавокъ зашелъ Трофимъ Ивановичъ, какъ честилъ его хозяинъ (онъ же и самъ мастеръ), честилъ какъ хорошаго покупателя, отправляющаго въ Сибирь цѣлые обозы самоваровъ. Мастеръ много лѣтъ знакомъ былъ Трофиму Ивановичу, который бывалъ ежегодно на ярмаркѣ, всегда закупалъ сотни самоваровъ, никогда не обходилъ лавки своего стараго пріятеля, и оба, сошедшись теперь вновь черезъ годъ, благодарили другъ друга и увѣряли, что оба другъ другомъ остались довольны.

— А это у тебя, Степанъ Андреевичъ, какой товаръ, вотъ въ мѣстахъ?

— Да извѣстно, какому больше у насъ быть товару: все тотъ же Это маленькіе самовары, азіатскіе.

— Имъ, собакамъ, только и знать бы свои самовары, маленькіе; а то вотъ сдѣлалъ ты имъ, сказываютъ, одинъ большой, такъ два государства и разодрались изъ-за него, и стали воевать!

— Какъ такъ, Трофимъ Ивановичъ?

— А какъ же, нешто не слышалъ? Да вѣдь ты, сказываютъ, работалъ бохарцамъ, Абдрахманову, большущій самоваръ?

— Правда и работалъ, въ запрошломъ году, самоварище ведеръ въ десять, на хана, что ли, сказывалъ Абдрахманъ, про случай для большихъ пировъ; третьяго года заказалъ и задатокъ далъ, а въ прошломъ взялъ; ну, что же?

— Ну что же, развѣ не слышалъ, что было съ самоваромъ этимъ?

— Нѣтъ, не слыхалъ; скажи пожалуй, коли не шутишь!

— Какая тутъ шутка! Тутъ чай, не одинъ десятокъ головъ слетѣло за твой самоваръ, да и впередъ еще что Богъ дастъ: вотъ ты какого грѣха надѣлалъ!

«— Какъ пошелъ караванъ бохарскій отъ насъ, то самоварище твой на арбу погрузили, и пару верблюдовъ запрягли. Ну и пошли съ Богомъ, все ничего. Вотъ стали подходить къ Акмечети, къ пограничному городу коканскому, черезъ который идетъ бохарскій караванъ, и прослышали за недѣлю ходу до него, что вышла изъ Кокана шайка ханскаго войска, будто для охраны и для сбора пошлины, а чуть-ли де она не собирается ограбить караванъ. Вишь, бохарскій эмиръ въ дружбѣ съ коканскимъ бекомъ, такъ въ городѣ у себя ограбить нехорошо; онъ и выслалъ встрѣчу, чтобъ обобрать хоть золото, сколько найдется его—а самъ, извѣстное дѣло, послѣ отопрется; скажетъ: «и знать не знаю, вѣдать не вѣдаю: это все шалятъ киргизы ваши съ Сыръ-Дарьи; а у меня благодаря Бога, все спокойно».

«Вотъ знаешь, нашлись добрые люди, за добрый пишкешъ, за гостинецъ, что дали знать ночью караванъ-башу о такой бѣдѣ. Въ караванѣ тотчасъ распо-

рядились: товару дѣвать некуда, не укроешь; а что у кого золота было, денегъ, то все завязали въ узелки, да подъ огнище, гдѣ варятъ варево къ котлѣ, и зарыли въ землю. Коли, вишь, закопать его въ другомъ мѣстѣ, такъ будетъ знать,—свѣжая земля продастъ; а тутъ, подъ огнемъ да подъ пепломъ, свѣжей землицы и не видать. Ну, рано утромъ коканцы и набѣжали, и прикидываются киргизами, и будто пришли съ Сыръ-Дарьи грабить коканцевъ; допрашиваютъ они сперва, будто путемъ, караванщиковъ, что за люди, не коканцы ли? Ну, а коли-де вы бохарцы, такъ пріятели намъ, и обижать васъ не станемъ, ступайте съ Богомъ—только дайте намъ на бѣдность по два золотыхъ съ верблюда. Бохарцы божатся, клянутся, что обезденежали; нѣтъ ничего, кромѣ товару. Ну, давай обыскивать. Искали, искали, не нашли денегъ почти ничего, кромѣ пары цѣлковыхъ, и добрались до арбы. Самоваръ твой напугалъ было ихъ: думали, что пушка. Однако, надивившись ему, не посмѣли разграбить товаръ,—потому что по ихнему обычаю называется прямой грабежъ; а сорвать деньгами можно, значитъ не ограбили каравана, а только взяли пошлину. Денегъ много не нашли и отпустили караванъ. Крѣпко побаивались караванщики, чтобъ шайка эта не вздумала присѣсть погрѣться вокругъ огнища, да отпустивъ караванъ, не заночевала бы тутъ; однако, видно, Богъ милостивъ былъ, услышалъ молитвы ихъ,—убралась шайка, убрался и караванъ благополучно, и золото все въ цѣлости забрали съ собой.

«Одно дѣло сдѣлано, пришло другое. Гонецъ изъ шайки пріѣхалъ впередъ въ Акмечеть и разсказалъ беку, что и какъ было: плуты бохарцы деньги спрятали куда-нибудь—не нашли мы ничего; а вотъ-де есть у нихъ вещь, невиданная и неслыханная: самоваръ больше пушки!

«Не зналъ бекъ акмечетскій, какъ вѣрить гонцу въ такихъ сказкахъ; однако, выѣхавъ самъ встрѣчать караванъ въ сараѣ, гдѣ пристаютъ они, приказалъ остановить напередъ всего арбу и раскутать самоваръ. Какъ влѣзъ онъ на арбу эту, да какъ разсмотрѣлъ, какую диковинную вещь везутъ, то и объявилъ тотчасъ караванъ-башу, что беретъ самоваръ въ пошлину съ каравана, на своего коканскаго хана; а купцы пусть-де разсчитываются между собою.

«Испугался караванъ-башъ, самъ первый торговецъ; говоритъ, что самоваръ отдать нельзя, самоваръ веземъ своему эмиру. «Ну, не прогнѣвается эмиръ вашъ, отвѣчалъ бекъ, напьется изъ уполовника; а я самоваръ беру. Поворачивай арбу».

«Сутки цѣлыя кричали и шумѣли бохарцы: то плакали, кланялись и просили,—то бранились и грозили,—все нипочемъ, самоваръ такъ полюбился коканцамъ, что заперли его въ кладовую, въ землянку, на дворѣ бека, губернатора то есть; приставили къ нему карауль и объявили бохарцамъ: «хоть семь лѣтъ живите, хоть женъ сюда перевезите, а самовара не видать вамъ какъ ушей своихъ; онъ пошелъ на хана, за пошлину».

«Пришелъ караванъ въ Бохару, и съ плачемъ купцы разсказали хану о такой бѣдѣ и обидѣ. Караванъ-башъ кинулся ему въ ноги и лежалъ долго; однако ханъ приказалъ отстегать его порядкомъ за то, что отдалъ самоваръ. Отстегавши его, самъ тотчасъ поднялся съ войскомъ и пошелъ на Акмечеть отбивать самоваръ. Намѣсто того, самого его побили; а воротившись въ Бохару, слышитъ, что тутъ нашелся кранъ отъ большаго самовара. Кранъ этотъ былъ вынутъ и уложенъ особо, и пришелъ съ тюками въ Бохару; его принесли, какъ побѣдный трофей и какъ доказательство величины самовара. Эмиръ разсмотрѣлъ кранъ, и положилъ идти

войной на Коканъ на тотъ годъ. Между тѣмъ коканскій ханъ, получивъ самоваръ безъ крана, приказалъ отстегать акмечетскаго бека за эту оплошность, и сталъ собираться съ войскомъ въ Бохару за краномъ. «Подай мой самоваръ»,—говоритъ бохарскій эмиръ.—Нѣтъ, ты подай мой кранъ,—говоритъ ханъ коканскій. Два лѣта, сударь мой, воюютъ—и прошлое, и нынѣшнее; вотъ я выѣзжалъ изъ Семипалитанска, такъ опять объ этомъ вѣсть пришла, и Богу одному извѣстно, чѣмъ дѣло кончатъ!

«Вотъ, Степанъ Андреевичъ, какихъ вы бѣдъ надѣлали съ своимъ самоваромъ».

духу тутъ не было, чтобъ и слѣдовъ его тутъ не оставалось и концы въ воду: не то бѣда тебѣ будетъ неминучая; затаскаютъ, и пропадешь; а не дай Богъ, умретъ онъ у тебя — а ты видишь, что онъ уже почитай не живой, совсѣмъ умираетъ, все равно что померъ,—умретъ, такъ вотъ мы тебя тотчасъ свяжемъ и представимъ; отвѣчай, какъ знаешь, а съ больной головы на здоровую не сваливай.

Хозяйка моя бросалась за помощью и за совѣтомъ вѣ всѣ стороны, но кромѣ страховъ и угрозъ ничего не слышала. — Дура ты, сказалъ ей наконецъ шепотомъ мужикъ, у котораго борода была уже съ просѣдью,—дура ты, Онисимовна, вѣдь ты видишь, кака бѣда пристала, чего тутъ толковать — извѣстно, тутъ нечего болѣ дѣлать, какъ въ мѣшокъ грѣхи да подъ лавку; ты заложи ночью дровни, навали старика заживо—не живъ, все одно помираетъ—выѣзжай потихоньку подъ ярокъ, да благословясь вывали его въ рѣку: вотъ тебѣ и концы въ воду, и все благополучно: не разорять же изъ-за тебя всю деревню; вода все смелетъ, небось, вынесетъ весной гдѣ нибудь верстъ за пятьдесятъ—что жъ, ты въ сторонѣ: скажешь, что подвезла его до большой дороги, а онъ-де пошелъ, а куда и зачѣмъ дѣвался, не могу знать.

Баба подумала да и заложила дровни и взвалила старика, который былъ безъ памяти, свезла подъ яръ и вывалила въ рѣчку. «Стало быть, такая судьба его, подумала она, да и моя: авось Господь не взыщетъ...»

САМОВАРЪ

(Быль)

На нижегородской ярмаркѣ, въ тульскомъ ряду, нѣсколько большихъ лавокъ заняты одними самоварами. Въ одну изъ такихъ лавокъ зашелъ Трофимъ Ивановичъ, какъ честилъ его хозяинъ (онъ же и самъ мастеръ), честилъ какъ хорошаго покупателя, отправляющаго въ Сибирь цѣлые обозы самоваровъ. Мастеръ много лѣтъ знакомъ былъ Трофиму Ивановичу, который бывалъ ежегодно на ярмаркѣ, всегда закупалъ сотни самоваровъ, никогда не обходилъ лавки своего стараго пріятеля, и оба, сошедшись теперь вновь черезъ годъ, благодарили другъ друга и увѣряли, что оба другъ другомъ остались довольны.

— А это у тебя, Степанъ Андреевичъ, какой товаръ, вотъ въ мѣстахъ?

— Да извѣстно, какому больше у насъ быть товару: все тотъ же Это маленькіе самовары, азіатскіе.

— Имъ, собакамъ, только и знать бы свои самовары, маленькіе; а то вотъ сдѣлалъ ты имъ, сказываютъ, одинъ большой, такъ два государства и разодрались изъ-за него, и стали воевать!

— Какъ такъ, Трофимъ Ивановичъ?

— А какъ же, нешто не слышалъ? Да вѣдь ты, сказываютъ, работалъ бохарцамъ, Абдрахманову, большущій самоваръ?

— Правда я работалъ, въ запрошломъ году, самоварище ведеръ въ десять, на хана, что ли, сказывалъ Абдрахманъ, про случай для большихъ пировъ; третьяго года заказалъ и задатокъ далъ, а въ прошломъ взялъ; ну, что же?

— Ну что же, развѣ не слышалъ, что было съ самоваромъ этимъ?

— Нѣтъ, не слыхалъ; скажи пожалуй, коли не шутишь!

— Какая тутъ шутка! Тутъ чай, не одинъ десятокъ головъ слетѣло за твой самоваръ, да и впередъ еще что Богъ дастъ: вотъ ты какого грѣха надѣлалъ!

«— Какъ пошелъ караванъ бохарскій отъ насъ, то самоварище твой на арбу погрузили, и пару верблюдовъ запрягли. Ну и пошли съ Богомъ, все ничего. Вотъ стали подходить къ Акмечети, къ пограничному городу коканскому, черезъ который идетъ бохарскій караванъ, и прослышали за недѣлю ходу до него, что вышла изъ Кокана шайка ханскаго войска, будто для охраны и для сбора пошлины, а чуть-ли де она не собирается ограбить караванъ. Вишь, бохарскій эмиръ въ дружбѣ съ коканскимъ бекомъ, такъ въ городѣ у себя ограбить нехорошо; онъ и выслалъ встрѣчу, чтобъ обобрать хоть золото, сколько найдется его—а самъ, извѣстное дѣло, послѣ отопрется; скажетъ: «и знать не знаю, вѣдать не вѣдаю: это все шалятъ киргизы ваши съ Сыръ-Дарьи; а у меня благодаря Бога, все спокойно».

«Вотъ знаешь, нашлись добрые люди, за добрый пишкешъ, за гостинецъ, что дали знать ночью караванъ-башу о такой бѣдѣ. Въ караванѣ тотчасъ распо-

рядились: товару дѣвать некуда, не укроешь; а что у кого золота было, денегъ, то все завязали въ узелки, да подъ огнище, гдѣ варятъ варево къ котлѣ, и зарыли въ землю. Коли, вишь, закопать его въ другомъ мѣстѣ, такъ будетъ знать,—свѣжая земля продастъ; а тутъ, подъ огнемъ да подъ пепломъ, свѣжей землицы и не видать. Ну, рано утромъ коканцы и набѣжали, и прикидываются киргизами, и будто пришли съ Сыръ-Дарьи грабить коканцевъ; допрашиваютъ они сперва, будто путемъ, караванщиковъ, что за люди, не коканцы ли? Ну, а коли-де вы бохарцы, такъ пріятели намъ, и обижать васъ не станемъ, ступайте съ Богомъ—только дайте намъ на бѣдность по два золотыхъ съ верблюда. Бохарцы божатся, клянутся, что обезденежали; нѣтъ ничего, кромѣ товару. Ну, давай обыскивать. Искали, искали, не нашли денегъ почти ничего, кромѣ пары цѣлковыхъ, и добрались до арбы. Самоваръ твой напугалъ было ихъ: думали, что пушка. Однако, надивившись ему, не посмѣли разграбить товаръ,—потому что по ихнему обычаю называется прямой грабежъ; а сорвать деньгами можно, значитъ не ограбили каравана, а только взяли пошлину. Денегъ много не нашли и отпустили караванъ. Крѣпко побаивались караванщики, чтобъ шайка эта не вздумала присѣсть погрѣться вокругъ огнища, да отпустивъ караванъ, не заночевала бы тутъ; однако, видно, Богъ милостивъ былъ, услышалъ молитвы ихъ,—убралась шайка, убрался и караванъ благополучно, и золото все въ цѣлости забрали съ собой.

«Одно дѣло сдѣлано, пришло другое. Гонецъ изъ шайки пріѣхалъ впередъ въ Акмечеть и разсказалъ беку, что и какъ было: плуты бохарцы деньги спрятали куда-нибудь—не нашли мы ничего; а вотъ-де есть у нихъ вещь, невиданная и неслыханная: самоваръ больше пушки!

«Не зналъ бекъ акмечетскій, какъ вѣрить гонцу въ такихъ сказкахъ; однако, выѣхавъ самъ встрѣчать караванъ въ сараѣ, гдѣ пристаютъ они, приказалъ остановить напередъ всего арбу и раскутать самоваръ. Какъ влѣзъ онъ на арбу эту, да какъ разсмотрѣлъ, какую диковинную вещь везутъ, то и объявилъ тотчасъ караванъ-башу, что беретъ самоваръ въ пошлину съ каравана, на своего коканскаго хана; а купцы пусть-де разсчитываются между собою.

«Испугался караванъ-башъ, самъ первый торговецъ; говоритъ, что самоваръ отдать нельзя, самоваръ веземъ своему эмиру. «Ну, не прогнѣвается эмиръ вашъ, отвѣчалъ бекъ, напьется изъ уполовника; а я самоваръ беру. Поворачивай арбу».

«Сутки цѣлыя кричали и шумѣли бохарцы: то плакали, кланялись и просили,—то бранились и грозили,—все напрасно, самоваръ такъ полюбился коканцамъ, что заперли его въ кладовую, въ землянку, на дворѣ бека, губернатора то есть; приставили къ нему карауль и объявили бохарцамъ: «хоть семь лѣтъ живите, хоть женъ сюда перевезите, а самовара не видать вамъ какъ ушей своихъ; онъ пошелъ на хана, за пошлину».

«Пришелъ караванъ въ Бохару, и съ плачемъ купцы разсказали хану о такой бѣдѣ и обидѣ. Караванъ-башъ кинулся ему въ ноги и лежалъ долго; однако ханъ приказалъ отстегать его порядкомъ за то, что отдалъ самоваръ. Отстегавши его, самъ тотчасъ поднялся съ войскомъ и пошелъ на Акмечеть отбивать самоваръ. Намѣсто того, самого его побили; а воротившись въ Бохару, слышитъ, что тутъ нашелся кранъ отъ большаго самовара. Кранъ этотъ былъ вынутъ и уложенъ особо, и пришелъ съ тюками въ Бохару; его принесли, какъ побѣдный трофей и какъ доказательство величины самовара. Эмиръ разсмотрѣлъ кранъ, и положилъ идти

войной на Коканъ на тотъ годъ. Между тѣмъ коканскій ханъ, получивъ самоваръ безъ крана, приказалъ отстегать акмечетскаго бека за эту оплошность, и сталъ собираться съ войскомъ въ Бохару за краномъ. «Подай мой самоваръ»,—говоритъ бохарскій эмиръ.—Нѣтъ, ты подай мой кранъ,—говоритъ ханъ коканскій. Два лѣта, сударь мой, воюютъ—и прошлое, и нынѣшнее; вотъ я выѣзжалъ изъ Семипалитанска, такъ опять объ этомъ вѣсть пришла, и Богу одному извѣстно, чѣмъ дѣло кончатъ!

«Вотъ, Степанъ Андреевичъ, какихъ вы бѣдъ надѣлали съ своимъ самоваромъ».

ПРОКАТЪ

Давно и видно такп порядочно давно, потому что нынѣ ужь ничего подобнаго намъ видомъ не увидать, слыхомъ не услыхать, давно когда-то случилось вотъ что, и вотъ какъ.

Былъ балъ, и не только одинъ только балъ, а пиръ и празднество, какъ рѣдко кому случалось видѣть; торжество угостительнаго искусства; обѣдъ на диво; прогулки и катанья съ разными затѣями—сущая прелесть; напитки всякаго рода: опохмѣлительные, прохладительные, и средніе между ними, понемножку того и другого, то есть все это лилось рѣкой; сласти привозныя, завозныя, выписныя, заморскія—ѣшь не хочу; затѣмъ танцы, музыка, балъ подъ огромнымъ, великолѣпнымъ шатромъ, въ сельскомъ и военномъ вкусѣ, т. е. съ подбоемъ малиноваго бархата;—угощенія до нельзя, ужинъ, опять пляска... Словомъ, если бы вся потѣха эта не кончилась уже давно, то длилась бы по сегодняшній день. Не только весь уѣздъ, вся губернія долго, долго не могла опомниться отъ весьма основательнаго изумленія.

Праздникъ этотъ данъ былъ молодымъ артиллерійскимъ капитаномъ, командиромъ роты. Вѣрно былъ очень богатъ. Но зато, какъ онъ и тѣшился, какъ онъ

увивался вокругъ прелестныхъ красавицъ сельскихъ, которыя дюжинами разгуливали подъ широкимъ малиновымъ навѣсомъ шатра, украшеннаго золотыми снурами и кистями... вихремъ носились онѣ, то парами, то цѣлыми вереницами.... плавно расхаживали, какъ праздничные стружки, пускаемые подъ разноцвѣтными, пестрыми значками.... Кто счастливица, гдѣ она, на которую падетъ окончательный выборъ молодого, прекраснаго собой капитана! Въ его лѣта, съ его наружностью, съ этимъ очаровательнымъ обращеніемъ и обаятельнымъ молодечествомъ, съ его богатствомъ, роскошью и умѣньемъ жить, нельзя было не побѣдить и самое суровое, неприступное сердце съ перваго взгляда; въ этомъ не было спору, и всѣ давно уже молча на это согласились; но кого онъ изберетъ, какую смертную осчастливитъ? Правда, лихость его, это отчаянное молодечество, пугало иныхъ, болѣе опытныхъ старичковъ, и они старались поселить въ семейномъ кругу своемъ нѣкоторую недовѣрчивость къ обольстительнымъ пріемамъ капитана.... но маменьки, считая себя въ этомъ дѣлѣ гораздо смышленѣе колпаковъ своихъ, папенекъ, были увѣрены, что капитанъ придумалъ всѣ затѣи эти исключительно и собственно для ихъ дочерей; дочки же, утративъ вмѣстѣ съ сердцемъ всякое соображеніе и самый умъ и разсудокъ, считали дѣло это рѣшеннымъ....

— Другъ мой—сказала плотная помѣщица, войдя таинственно въ комнату супруга своего, который только-что намылилъ бороду и принялся править скребницу свою, какъ онъ обыкновенно называлъ бритву:— другъ мой, я пришла объявить тебѣ радость: капитанъ наконецъ объяснился передъ Лизой, она мнѣ призналась во всемъ; слава Богу, стало быть дѣло кончено, и тебѣ, другъ мой, надо бы ѣхать къ нему, и съ нимъ поговорить;—а? не правда ли?

Намыленный супругъ промычалъ что-то неопредѣлительное, но этимъ не отдѣлался; заботливая мать настоятельно требовала положительнаго отвѣта. Онъ оставилъ поднесенную къ бородѣ бритву и отпустилъ складку, натянутую ужимкою на лицѣ, для бритья. «Зачѣмъ же я поѣду, сказалъ онъ, и что же я скажу! Не лучше-ли выждать, покуда онъ первый заговоритъ? Въ наше время такъ водилось.»—Да вѣдь я же тебѣ говорю, что онъ уже объяснился!—«Ну, матушка, еще это Богу извѣстно, какъ онъ тамъ объяснялся: да вѣдь, чай, не обойдетъ же онъ насъ съ тобой, когда задумаетъ поворотить съ шалостей на дѣло: тогда успѣемъ поговоритъ съ нимъ, это не долго». Но супруга утверждала, что теперь ожидать болѣе нечего, и непремѣнно надобно поговорить съ капитаномъ, чтобы его не перебили и не совратили сосѣди; бѣдный колпакъ вертѣлся туда и сюда, но наконецъ долженъ былъ уступить, сказавъ, что все это хорошо и справедливо; но прибавилъ, что онъ подумаетъ; супруга его отвѣчала на это очень основательно, что ему тутъ нечего думать, когда ужъ думали другіе и думала она сама, и передумала все; что это женское дѣло, что ему, какъ отцу, надо искать счастья дочери своей, а не разорять его; но, пользуясь выгодою своего положенія, то есть намыленною бородою и заботою около скребницы, супругъ успѣлъ протянуть бесѣду эту, покуда мыло на бородѣ разъ другой не обсохло, и затѣмъ убѣдить супругу, что надобно же напередъ кончить одно дѣло и по крайности выбриться; иначе-де вотъ онъ порѣжется скребницей, и тогда нельзя будетъ и выѣхать. Нечего дѣлать, супруга отстала отъ него и дала ему отсрочку.

— Какъ ты думаешь,—спросила другая помѣщица мужа своего:—отчего бы капитанъ о-сю пору не присылалъ никого переговорить съ нами о Лидинькѣ?—

«Подождешь еще, не торопись,» отвѣчалъ тотъ—«это —молодецъ, дошлый человѣкъ на такія дѣла; ихнему брату не очень вѣрить можно по этой части; онъ норовитъ себѣ, можетъ статься, совсѣмъ не то, что ты думаешь.»—Какъ такъ? я тебя не понимаю.—«Поживешь, да коли не избавитъ Богъ, такъ поймешь. У тебя съ Лидинькой на умѣ одно, а у него другое. Это у нихъ такъ водится.»—Нѣтъ, Иванъ Андреичъ, я знаю, что говорю: это ужь я вѣрно знаю; а я думаю, что у него просто некого прислать; человѣкъ онъ одинокій, заѣхалъ сюда съ ротой своей на чужбину, вотъ, сердечный, и выходитъ почти сирота: на свѣтѣ не безъ добрыхъ людей, конечно, да вѣдь всякая о себѣ и думаетъ, да о своихъ, такъ ему къ намъ-то прислать и некого; ты знаешь, у насъ тутъ все завистники да завистницы, доброхотки вѣдь нѣтъ ни одной, все злорадки; ну, а самъ-то онъ приступиться не смѣетъ, вотъ дѣло-то и тянется.—«Не замѣтилъ я что-то въ немъ этой робости», отвѣчалъ супругъ. —Все-таки, продолжала она, вѣдь какъ хочешь, а шагъ важный, самому трудно за себя говорить и неприлично; безстыдникомъ назовутъ всѣ сосѣдки.

— Ахъ, какой милашка онъ, какой обворожительный.... Маша, я отъ него безъ ума! Боже мой, еслибъ ты только знала, еслибъ ты слышала, что онъ мнѣ вчера говорилъ—о, я безъ ума! Маша, какъ ты думаешь, скоро онъ за меня посватается?—Эта бесѣда, какъ читатель догадывается, происходила опять въ иномъ, третьемъ мѣстѣ и добрая Маша, подруга счастливой, мнимой невѣсты, не смѣя, по красотѣ и богатству, равняться со снисходительною подругою своею, радовалась за нее, хотя и слушала иногда, потупивъ глаза и вздыхая, повѣряемыя ей тайны бывшихъ объясненій. Капитанъ сказалъ даже этой красавицѣ и богатой невѣстѣ, что отдалъ бы половину жизни своей за ея

признаніе въ любви, и для бѣдной Маши было тутъ одно только обстоятельство не совсѣмъ понятно: чего еще домогался капитанъ и за что хотѣлъ жертвовать жизнію, когда подруга ея, какъ сама ей прежде клялась, ужь раза три или четыре была доведена до этого сознанія, и давно во всемъ ему созналась...

— Кто бы могъ подумать это,—говорилъ небольшой плѣшивый старичекъ, сидя вечеромъ за стаканомъ пуншa съ пріятелемъ-сосѣдомъ:—вѣдь волокита нашъ, говорятъ, женится; да и на комъ бы вы думали?—На Нѣмовой?—Мальевой?—Судоходниковой?—Поджилкиной?—Стегоновой?»—Такъ посыпались вопросы со всѣхъ сторонъ; а онъ продолжалъ самодовольно:—ничего не бывало: всѣ богачки и красавицы наши останутся, съ позволенія сказать, съ носомъ: на малюткѣ и бѣдняжкѣ Хорошиловой; да, на ней!

— А я слышалъ совсѣмъ другое,—сказалъ сосѣдъ;—впрочемъ не выдаю за вѣрное, а слышалъ отъ человѣка надежнаго, отъ Анны Даниловны; она говорила, что онъ собирается сватать—какъ бишь ее—молоденькую гувернантку у Межевыхъ; они прочили дочь за него, а тутъ вдругъ и вышло наружу, не думано, не гадано, что онъ мѣтитъ не на дочь, а на гувернантку! Вотъ какое дѣло!

— Какъ? неужели? Марья Алексѣевна? Матушка, поди сюда, послушай вотъ, что сосѣдъ говоритъ: будетъ тебѣ потѣха, ей-богу! Говорятъ, что капитанъ и Межевыхъ надулъ—ха, ха, ха! и малютку Хорошилову, да, а вотъ будто приголубился къ гувернанткѣ ихъ, а?

Словомъ, два или три уѣзда сходили съ ума по капитанѣ, и у кого только была дочь, тотъ былъ въ хлопотахъ: одинъ прочилъ за капитана, считая такого жениха истиннымъ благословеніемъ небесъ, другой бредилъ на яву и считалъ ее уже почти просватан-

ною; кто былъ въ нерѣшимости и недоумѣніи, кто остерегалъ дочь, если по знатности, богатству и красотѣ не считалъ ее ровней прочихъ невѣстъ,—а кто, махнувъ рукой, отдавался на власть Господню и супруги своей, разъѣзжалъ слѣдомъ за капитаномъ по обѣдамъ и вечерамъ, пилъ, ѣлъ, игралъ въ вистъ по маленькой, хохоталъ гдѣ было весело, и только повременамъ заглядывалъ въ танцовальную залу, отыскивая осторожно, изъ-за табакерки, капитана и переводя съ него глаза на свою дочь.

Надобно же вамъ теперь сказать словечко и о капитанѣ. Что онъ умѣлъ пожить, на людей посмотрѣть и себя показать, это мы уже видѣли; что онъ, задавая самъ великолѣпныя, роскошныя празднества и охотно разъѣзжая по помѣщикамъ, влюблялся не иначе, какъ въ цѣлыя дюжины красавицъ вдругъ, объ этомъ, кажется, читатель догадывается; но вотъ чего, можетъ быть, читатель еще не знаетъ: капитанъ жилъ одной службой, у него не было своего ровно ничего: онъ, какъ говорится, вездѣ бралъ грудью и службой, исправностью, умѣньемъ, молодецкимъ обычаемъ.... Онъ былъ еще молодъ, когда ему дали роту, какъ отличному служакѣ, и вскорѣ рота его стала славиться, какъ одна изъ лучшихъ и самыхъ исправныхъ. Попавъ съ конной ротой въ истинный рай для него, гдѣ продовольствіе было нипочемъ, гдѣ въ окружности жило множество помѣщиковъ, семейныхъ, радушныхъ, свѣтскихъ и житейскихъ, гдѣ у каждаго помѣщика было—либо по молоденькой и хорошенькой женѣ, либо по взрослой, пышной дочери, даже у нѣкоторыхъ по двѣ и по три,—капитанъ нашъ порастерялся; глаза у него разбѣжались, и онъ принялся съ такимъ усердіемъ за угощенія и празднества, что вскорѣ для него одного стало не доставать того, что отпускалось на содержаніе цѣлой конной артиллерійской роты. Обстоятель-

ства становились все тѣснѣе и тѣснѣе, а между тѣмъ, по всѣмъ соображеніямъ, не было никакой возможности сократить расходы; напротивъ, необходимо было дать вскорѣ великолѣпный, небывалый доселѣ праздникъ, который давно уже былъ обѣщанъ дѣвицамъ, а въ особенности одной молодой дамѣ, на которой впрочемъ капитану никакъ нельзя было жениться, потому что у нея былъ такъ называемый живой мужъ. Не менѣе того, она, какъ царица всѣхъ празднествъ, съ большимъ нетерпѣніемъ ожидала обѣщаннаго пира, напоминала объ немъ съ миловидною улыбкою капитану и сама первая распустила по околотку слухъ о предстоящемъ, завѣряя каждаго, что такого великолѣпія еще никто не видалъ. Отвѣчая на всѣ разспросы, капитанъ говорилъ каждой красавицѣ порознь только одно: что пиръ этотъ дастъ онъ для нея лично, хотя этого никто не будетъ знать; и что посему самому онъ не пожалѣетъ ни трудовъ, ни хлопотъ и никакихъ издержекъ.

Когда капитанъ наконецъ остался одинъ и нѣсколько опомнился, то призадумался. Ужь и такъ далеко хвачено было напередъ, все забрано, все прожито, и даже болѣе чѣмъ все... Но какъ же быть бѣдному капитану, коли онъ попалъ въ такіе тиски? — Неужто ему опозориться на такой вызовъ, обмануть всѣ эти блестящія надежды, отказаться самому отъ неисчерпаемыхъ наслажденій и ударить лицомъ въ грязь? — А какъ же ему быть, спрошу я еще, коли страсть его была такъ велика, что всякая другая величина казалась капитану качественно-несоразмѣримою съ любовью его, какъ, напримѣръ, аршинъ съ фунтомъ или гарнецъ съ десятиной?... Онъ махнулъ рукой и вскочилъ съ такою рѣшимостію, что если бы дѣло стоило ему полголовы или полвѣка жизни, то и тогда бы онъ не въ силахъ былъ отъ него отказаться. Вотъ что по-

дало поводъ къ необычайнымъ затѣямъ капитана, въ которыхъ десятисаженный бархатный шатеръ съ золотыми кистями занималъ конечно не послѣднее мѣсто.

На чей же счетъ все это дѣлось и строилось, откуда взялись деньги? Этотъ вопросъ также не послѣдній въ настоящемъ дѣлѣ; капитанъ нашъ, какъ опытный и изворотливый хозяинъ, рѣшилъ его удачно, то есть наличныя деньги нашлись, и даже нашлась такая огромная сумма, какъ ему было нужно. Приступая къ объясненію этого обстоятельства, мы еще разъ считаемъ нужнымъ напомнить, что описываемый нами случай происходилъ уже очень давно; само собою разумѣется, что при новѣйшихъ порядкахъ не могло бы случиться ничего подобнаго.

Итакъ, капитанъ нашъ сдѣлалъ вотъ что: онъ разсудилъ, что рѣшительно не къ чему содержать въ мирное время конную артиллерійскую роту въ такомъ видѣ, будто ей завтра же выступать противъ непріятеля. Слава Богу, все спокойно, невозможно и ожидать теперь какихъ-нибудь движеній—изъ вѣдомостей нашихъ даже видно, что во всей Европѣ господствуетъ непробудный покой. Далѣе, разсуждалъ капитанъ, стоимъ мы въ самой срединѣ, въ глубинѣ Россіи; какой тутъ непріятель?—Покуда очередь дойдетъ до меня, я успѣю справиться и снарядиться; къ чему же содержать нѣсколько сотъ дорогихъ лошадей, и сверхъ того еще кормить ихъ? Я на одномъ фуражѣ выиграю въ нѣсколько мѣсяцевъ столько, что поправлюсь, покрою всѣ расходы и опять обзаведусь лошадьми, да и какими? Чудо! Перещеголяю всѣхъ.

Рѣшивъ это, капитанъ открылъ въ ротномъ штабѣ своемъ конный базаръ и отправилъ для вѣрности и скорости сбыта, по косячку въ разныя стороны, въ продажу. Лошади все были прекрасныя, цѣлыя изъ

назначены невысокія, а по крайности дѣлались сверхъ того еще уступки: словомъ, капитану повезло счастье; онъ не успѣлъ оглянуться, какъ пушки его сѣли на мели, а пушкари стали пѣшими. Хлопотъ сдѣлалось гораздо меньше: никому—ни чистки, ни другихъ заботъ; сбрую убрали въ добромъ порядкѣ подъ навѣсы и пошли гулять, поджавъ руки. Наконецъ, сдѣлавъ всѣ приготовленія, задали знаменитую пирушку, которая длилась трои сутокъ. Это дѣло кончено было благополучно; ахали и дивились не пустому: никто ничего подобнаго не видалъ. Въ три дня прожито было большое состояніе. Капитанъ разъѣзжалъ по всей окружности и пожиналъ похвалы, изумленія, восхищенія и благодарности.

Но на этомъ самомъ объѣздѣ, гдѣ капитанъ плавалъ въ высшемъ мірскомъ благополучіи и наслажденіяхъ, забывъ все остальное, онъ вдругъ остановленъ былъ самымъ непріятнымъ образомъ, остановленъ въ потокѣ и порывѣ своихъ изъясненій; доложили, что нарочный прибылъ изъ ротнаго штаба съ нужною бумагой. Гонца позвали, распечатали пакетъ, прочитали и больно измѣнились въ лицѣ. Что такое, что такое?—стали разспрашивать съ большимъ, душевнымъ участіемъ. «Ничего, отвѣчалъ капитанъ, — пустое», и отправилъ гонца, сказавъ сухо: «хорошо, ступай». — Но покой души не возвращался; знать бѣда была не за горами. Полюбезничавъ какъ-то очень неловко, капитанъ поспѣшилъ распроститься, не согласившись, къ крайнему изумленію хозяйки, остаться до вечера; но сказалъ, что ему ѣхать необходимо по службѣ: обѣщалъ вскорѣ быть опять и уѣхалъ, приказавъ гнать прямо домой.

Дорогой капитанъ много разъ задавалъ себѣ вопросъ: какъ теперь быть и что дѣлать?—но, по поговоркѣ мужика, изладившаго борону въ избѣ и не

знавшаго, какъ ее вынести, потому что нельзя въ дверь, по поговоркѣ: такъ-то такъ, да вонъ-то какъ? — не могъ придумать ничего. Начальникъ, до котораго дошли слухи о томъ, что дѣлается въ ротѣ у нашего капитана, счелъ за нужное попросить его, чтобы онъ роту свою приготовилъ къ смотру. «Что пользы въ томъ будетъ, подумалъ этотъ начальникъ, если я нагряну вдругъ, и, заставъ бѣднаго капитана врасплохъ, погублю его окончательно? Можетъ быть, даже и не все то правда, что говорятъ; можетъ быть есть какіе-нибудь небольшіе безпорядки, такъ лучше дать ему, время оправиться; онъ всегда былъ отличный служака.» Разсудивъ такъ, начальникъ предписалъ капитану готовиться къ смотру, увѣдомивъ его также, котораго числа онъ прибудетъ. «Надобно же ему забираться въ такое захолустье, подумалъ капитанъ, и такъ не во-время и не кстати; рота моя стоитъ тутъ такъ хорошо и уютно, въ сторонѣ, въ глуши, что я считалъ себя обезпеченнымъ отъ всякаго инспекторства... Это однакоже сущая бѣда! Какъ тутъ быть? На козлахъ не вывезешь пушки, да и людей верхомъ на палочку не посадишь!.. Неужели, за эту шутку, мнѣ быть солдатомъ?...»

Прибывъ домой и опомнившись немного, мой капитанъ собрался съ духомъ, созвалъ офицеровъ, объявилъ имъ новость, и посмотрѣлъ на нихъ, окинувъ всѣхъ поочередно взглядомъ, и спросилъ, что они объ этомъ думаютъ? «Я съ своей стороны полагаю, господа, что коли нѣтъ у насъ своихъ лошадей, то нечего дѣлать, надо выѣхать на чужихъ... Возьмемъ на прокатъ, на подержаніе!...» Капитана любили; онъ былъ увѣренъ, что никто его не выдастъ; притомъ въ то время не требовалось, чтобы въ полку или въ артиллерійской ротѣ всѣ лошади были одной шерсти; капитанъ, получивъ согласіе офицеровъ, разослалъ

ихъ тотчасъ же по всѣмъ помѣщикамъ, съ откровенною просьбою выручить его изъ бѣды и дать на двое сутокъ, къ такому-то сроку, сколько у кого есть лучшихъ лошадей на конюшнѣ. Каждому помѣщику порознь говорили, что недостаетъ-де нѣсколькихъ лошадей, которыхъ, по неудачному въ этомъ году ремонту, капитанъ не успѣлъ во-время пріобрѣсти; что капитанъ вполнѣ полагается на дружбу и услужливость почтеннаго сосѣда своего, а лошади на эти двое сутки, безъ сомнѣнія, будутъ въ добрыхъ рукахъ, у старыхъ и опытныхъ кавалеристовъ. Всѣ помѣщики, помня хлѣбъ-соль капитана и разсчитывая записать его со-временемъ себѣ въ свояки, въ зятья или сваты, одинъ наперерывъ другому поспѣшили отослать лучшихъ лошадей своихъ съ конюшенъ и заводовъ къ капитану, и въ сутки конная рота сформирована была такъ, что можно было вести ее на показъ, куда угодно.

Генералъ прибылъ въ назначенный день и велѣлъ узнать подъ рукой, все ли исправно: все, говорятъ; рота въ отличномъ порядкѣ; лошади были розданы временно, для откормки, на помѣщичьи конюшни, и воротились въ лучшемъ тѣлѣ, въ превосходномъ видѣ.

Смотръ кончился, и генералъ, къ крайнему удовольствію своему, объявилъ командиру гласно искреннюю, полную благодарность. «Рота ваша такъ хороша сказалъ онъ, что ее необходимо при первомъ случаѣ показать корпусному командиру. Я хочу теперь только сдѣлать еще одинъ послѣдній опытъ: я не сомнѣваюсь, что при такой исправности это послужитъ еще къ большему отличію и похвалѣ роты вашей; я хочу видѣть, сколько времени вамъ нужно, чтобы собраться и выступить въ походъ; капитанъ, сколько часовъ вамъ на это дать?» Капитанъ отвѣчалъ, не призадумавшись:—Завтра утромъ въ восемь часовъ, я могу

выступить. — «Прекрасно, превосходно, продолжалъ генералъ; вотъ это я люблю! Это молодецки! Господа офицеры, прошу и васъ также собраться совсѣмъ, вотъ точно будто вамъ сказанъ походъ; я самъ сяду верхомъ, и мы пустимся на небольшую прогулку. Молодцы, это я люблю!»

Въ восемь часовъ утра генералъ, превеселый, проѣхалъ по фронту, здоровался, благодарилъ, велѣлъ скомандовать по одному орудію направо, вызвалъ съ мѣста пѣсельниковъ, и рота потянулась. Это бы еще ничего; но ее только и видѣли въ этихъ мѣстахъ; генералъ не поскучалъ проводить ее верстъ за пятьсотъ, чрезъ уголъ сосѣдней губерніи, въ третью. Тутъ отведены были ротѣ квартиры, и объявлено, что ей, можетъ быть, вскорѣ доведется пройтись еще дальше. Генералъ легко нашелъ благовидный предлогъ и донесъ объ этомъ перемѣщеніи начальству, расхваливъ роту по заслугамъ.

Что же сталось съ помѣщиками нашими? Весь уѣздъ въ одинъ ударъ опѣшалъ. Мужья или отцы лишились лучшихъ лошадей своихъ, а матери превосходнаго, дорогого жениха. Утрата тутъ и тамъ немаловажная; но за то — каковъ былъ пиръ? Его помнятъ еще о-сю-пору, подобнаго никогда не бывало, шатеръ малиноваго бархата, съ золотомъ, въ десять саженъ!

— А гдѣ нашъ капитанъ?—спрашивали помѣщики вполголоса, встрѣчаясь другъ съ другомъ... И въ отвѣтъ на это вздыхали, пожимали плечами, и грустно покачивали головой.

А что говорили барыни? Если бы отъ недобраго помину звенѣло въ ушахъ, какъ говоритъ у насъ повѣрье, то конечно такого трезвону не бывало отъ сотворенія міра, какой бы денно и нощно долженъ былъ раздаваться въ головѣ нашего капитана.

МАНДАРИНЪ

Мандаринъ—чуть-ли не съ бѣлымъ шарикомъ по сану, но самаго китайскаго закона — мандаринъ этотъ правилъ по китайскому обычаю, будто взялъ управленіе свое на откупъ. «Отъ превратности судебъ не уйдешь, — говаривалъ онъ со вздохомъ, — а потому надо сегодня подумать о завтрашнемъ днѣ...»

И помощникъ былъ у него, въ числѣ другихъ, прехорошій, держалъ порядокъ въ городѣ, всегда приличный сану случайныхъ посѣтителей, и первый являлся, подавая собою примѣръ, въ мундирѣ и полной формѣ, съ рапортомъ о благополучіи. Глядя въ это время не него, никто бы не могъ усомниться въ этомъ благополучіи: оно написано было у него на кругломъ благообразномъ лицѣ. Расправа его, какъ и судъ и правда мандарина съ бѣлымъ шарикомъ, была всегда сообразна съ числомъ сахарныхъ головъ и другихъ хозяйственныхъ потребностей, подносимыхъ просителями, и самъ онъ, утѣшая совѣсть свою, говаривалъ въ тѣсномъ кружкѣ: «отъ благодарности не отказываюсь, видитъ Богъ, не отказываюсь, а вопіющаго за мною нѣтъ ничего, я не злодѣй.»

Вотъ и дошли какъ-то слухи, подальше и повыше, объ этомъ мандаринѣ и о помощникахъ его,—слухи не

корыстные, отъ которыхъ иному не поздоровится. Я говорю: *иному*, потому что инаго и пила не беретъ, и топоръ не рубитъ; иной прогуливается вѣкъ свой подъ сводомъ законовъ, какъ у себя дома, и не зацѣпитъ ни за пень, ни за сукъ—все обойдется. Дошли, однакожъ, слухи, и прислали опаснаго человѣка провѣдать: что же тамъ такое дѣется и творится, почемъ міръ воздыхаетъ?

Но и наши не дремлютъ; на свѣтѣ не безъ добрыхъ людей: почти за двѣ, за три недѣли кто-то перешепнулся съ ними о томъ, кого и зачѣмъ и когда ждать. Помощникъ, какъ гораздо пониже чиномъ и помоложе, сробѣлъ немного было; а старшій китайскій мандаринъ и усомъ не ведетъ.

— Какъ былъ я еще въ твоемъ чинѣ, — сказалъ онъ ему, — такъ видывалъ всякихъ: иной съ перваго разу не даетъ и приступиться, копытомъ землю роетъ, полымемъ изъ ноздрей пышетъ, а ржетъ, что огнемъ палитъ. Походишь около него помаленьку, подашь ему голосъ, потреплешь да погладишь его—глядь, онъ сѣлъ и поѣхалъ!

Опасный пріѣхалъ. Молва, какъ я сказалъ, давно его опередила и разславила, что спуску не будетъ никому и ни въ чемъ. Зналъ уже и самъ онъ кой-что по наслышкѣ, и потому спокойный и беззаботный видъ мѣстнаго начальства его озадачилъ; всѣ рапорты о благополучіи обставлены были, по наружности, такимъ довольствомъ и покоемъ, что имъ нельзя было не вѣрить. Сталъ онъ доискиваться, подкапываться, да какъ-то кладъ не дается; вотъ только, кажется, нашелъ онъ: въ трехъ словахъ дадутъ такое законное объясненіе, что только пожмешь плечами, да и отойдешь, а иную пору и извинишься, самъ на себя вину покладешь. Опять иное дѣло попадется, вотъ, кажется, хоть удавись, не вылѣзетъ,—такъ обстоятель-

ства оказываются затяжными: много еще нужно справокъ и слѣдствій, до облеченія всего этого въ законную форму, и конца дѣла намъ не видать, какъ ушей своихъ.

Рвется и бьется мой опасный—видитъ и слышитъ, что тутъ да тамъ у него сквозь пальцевъ проскочило, по усамъ текло, да въ ротъ не попало, и ужъ не знаетъ, какъ ему быть, а съ пустыми руками воротиться неохота. Вотъ и слышитъ онъ, между прочимъ, отъ прикормленниковъ своихъ, что-де такой-то купчишка, катаясь въ милости начальства, какъ сыръ въ маслѣ, безстрашно посягаетъ на все: ему-де не только обвѣсъ и обмѣръ нипочемъ, а есть за нимъ дѣла еще и почище, что и сказать вслухъ страшно: онъ-то и переводитъ фальшивыя деньги и этимъ разбогатѣлъ скоро; да есть-де у него и товарищи въ этомъ дѣлѣ, одинъ коренной православный, другой крещеный жидъ. Эта шайка хозяйничаетъ безстрашно, и на нее нѣтъ суда; случалось раза два, что они попадались, такъ вывертываются, какъ съ гуся вода, и ничего имъ не сдѣлаешь.

Опасный мой, разузнавъ толкомъ дѣло, насторожилъ ловушку свою — и монетчики попались на сей разъ, какъ куръ во щи. «Ура! — подумалъ про себя ловецъ: — насилу-то, насилу! Ну, хоть что другое не удалось, а ужъ въ этомъ дѣлѣ не отвертятся: улика на-лицо, вотъ она, вынута при понятыхъ, при свидѣтеляхъ — семь цѣлковиковъ, и все оловянные. Пусть же отдѣлываются, пусть укажутъ, откуда они у нихъ взялись!»

Начальство вполнѣ раздѣляло и рвеніе, и самое негодованіе ловца насчетъ этой поимки: надо строжайше изслѣдовать и непремѣнно открыть, откуда фальшивыя деньги взялись.

Дѣло пошло своимъ чередомъ, и потворства не было

никакого: цеховой пробирный мастеръ засвидѣтельствовалъ, что цѣлковые эти оловянные; понятые засвидѣтельствовали и подписали, что деньги найдены въ *выручкѣ* такой-то лавки; нашлось и еще двое старыхъ покупателей, которые также представили по оловянному цѣлковому, полученному въ сдачѣ изъ этой же лавки, и хотя нехорошо, что они не представили ихъ во-время, но ловецъ брался ихъ выручить, лишь бы получить всѣ улики на мошенниковъ. Какія затѣи были у мѣстнаго начальства, у мандарина съ бѣлымъ шарикомъ и у помощника его—этого никто не зналъ, но они проводили преспокойные и превеселые вечера, какъ бывало въ прежнее мирное время, тогда какъ всѣмъ было извѣстно, что имъ бы нельзя не заботиться объ этомъ случаѣ, по разнымъ прежнимъ отношеніямъ своимъ къ этой тайнѣ. Сверхъ того, — дѣло вовсе ни съ чѣмъ несообразное,—ходятъ по городу слухи, будто и нынѣшнее-то дѣло уже улажено между переводчиками фальшивыхъ денегъ и мандаринами, такъ что обѣ стороны довольны и обѣ спокойны. Это что-то мудрено!

Слѣдствіе приходитъ къ концу и ограничивается тѣмъ, что лавочникъ не знаетъ, отъ кого принялъ деньги, признанныя фальшивыми, утверждая, что ему знать и помнить это, при множествѣ покупателей, нельзя. Но, при всѣхъ уликахъ, это не отговорка. Опасный, на всякій случай, оградился всѣми предосторожностями и, между прочимъ, просверлилъ фальшивые цѣлковые и припечаталъ ихъ на снуркѣ къ листу бумаги, на которомъ содержится опись ихъ.

— Ваше превосходительство! — прошепталъ подручникъ, прибѣжавъ запыхавшись къ мандарину о бѣломъ шарикѣ: — бѣда!

— А что такое?

— Да вотъ извольте видѣть, слѣдствіе препровождено на законное постановленіе, а цѣлковые-то на снуркѣ и припечатаны!

Мандаринъ посмотрѣлъ опытнымъ глазомъ на цѣлковые, на печать, взглянулъ и на подручника своего, пошелъ, не говоря ни слова, въ кабинетъ свой, вынесъ оттуда девять цѣлковыхъ того же года и чекана, какъ припечатанные, и, подавая ихъ своему подручнику, сказалъ спокойно:

— Я, братъ, думалъ, что ты съ годами умнѣешь, а ты все тотъ же дуракъ,—на, возьми, коли у тебя нѣтъ своихъ, просверли ихъ да и припечатай на мѣсто этихъ.

Подручникъ невольно ударилъ себя ладонью въ лобъ, но потомъ сказалъ:

— А печать?

— Да ты погляди, — отвѣчалъ тотъ: — со страху небо съ овчинку видится! Погляди, печать-то твоя...

И, въ самомъ дѣлѣ, цѣлковые припечатаны были, въ полномъ присутствіи слѣдователей, печатью полиціи.

Итакъ, цѣлковые были просверлены и припечатаны, а найденные у лавочника исчезли. Мандаринъ представилъ припечатанные цѣлковые куда слѣдовало, при такомъ донесеніи:

«Здѣсь-де найдены цѣлковые, признаваемые фальшивыми, и пробирный мастеръ удостовѣряетъ то же; но до передачи дѣла въ судъ надо знать положительно, фальшивыя-ли деньги эти; я что-то сомнѣваюсь, и потому представляю ихъ на разсмотрѣніе.»

А оттуда и шлютъ ихъ назадъ, приказывая сказать дурака пробирному мастеру и увѣдомляя, что цѣлковые эти — не фальшивые, а настоящіе. Сообщая это все опасному ловцу, въ самой простодушной бумагѣ, мандаринъ нашъ прибавилъ только къ тому отъ себя:

«А какъ цѣлковые эти, по распоряженію вашему, были просверлены и, на основаніи постановленій, потеряли ходъ и цѣнность свою, то не угодно-ли вамъ выслать то же число ихъ, для вознагражденія потерпѣвшихъ отъ сего убытокъ.»

КРУГОВАЯ БЕСѢДА

Кадниковъ—городишко небольшой, а въ свое время жили тамъ весело. Въ то время, о которомъ я говорю, случилось тамъ молодыхъ и порядочныхъ людей, которые дружно вмѣстѣ сходились и потѣшались, человѣкъ шесть; всѣ они были стрѣльцы, охотники, любили просторъ, лѣсъ да чистое поле, не боялись подчасъ и топкаго болота и удосуживались отъ занятій своихъ по цѣлымъ днямъ и даже по недѣлямъ, живали въ окружныхъ деревняхъ, забавлялись охотой.

Однажды, осенью, добрая шаечка эта собралась ѣхать верстъ за двадцать, гдѣ надѣялась порядкомъ поживиться, и отправилась съ вечера въ двухъ легонькихъ долгушахъ, забравъ съ собою лягавыхъ собакъ своихъ, ружья, запасъ пороху и дроби и непричудливую закуску, надѣясь отчасти на крестьянское молоко, яйца и курицъ. Но, подъѣхавъ къ перевозу, гдѣ по ту сторону рѣчки вплоть по берегу стояли гостепріимныя, знакомыя избы и тянулась улочка вверхъ по горѣ, — путники наши встрѣчены были неожиданною и непріятною вѣстію, что въ прошлую ночь бурей сорвало паромъ и согнало далеко внизъ по рѣкѣ, гдѣ его насилу перехватили. Теперь все было въ разстройствѣ, и прежде утра не могло быть никакой пе-

реправы. Подумавъ немного, охотники наши рѣшились расположиться на берегу и ждать разсвѣта.

Поставивъ съ двухъ сторонъ долгуши свои, таборъ устроился посреди̇ѣ между ними; разостлали ковры и войлоки, развели огонь, поставили походный таганъ и принялись стряпать ужинъ. Возникъ было споръ, варить-ли кашицу, или кропить лапшу; но старый охотникъ, который не могъ уснуть порядкомъ, не поѣвъ пельменей, помирилъ всѣхъ, объявивъ, что сырыя, готовыя пельмени припасены въ достаточномъ количествѣ, и что онъ самъ берется положить ихъ счетомъ, по два десяточка на брата, въ кипяточекъ.

— Въ пельменяхъ, — прибавилъ онъ, — душа какъ въ перинахъ лежитъ—сущая благодать!

Итакъ, усѣлись и улеглись вокругъ огня, кто съ трубкой, кто съ новомодной цигаркой, которая въ то время не такъ давно еще дошла до Кадникова и не успѣла вытѣснить собою окончательно благородный чубукъ, а кто и такъ, прищуривая на теплѣ глаза и открывая, отъ избытка роскоши, то одинъ бокъ, то другой. Кто-то вздумалъ потребовать круговаго разсказа, потому что еще было рано и спать никому не хотѣлось, и первый чередъ палъ, по общему приговору, на стараго охотника, который взялся готовить пельмени.

— Да что жъ я вамъ буду разсказывать? — спросилъ онъ: — этакъ, врасплохъ, когда еще и голова не набита пельменями, ничего не придумаешь. Вотъ развѣ, когда онѣ попадутъ уже въ брюхо—это иное дѣло; а натощакъ ничего не вспомнишь.

— Ну, — сказали прочіе, — разскажите что-нибудь изъ похожденій вашихъ на охотѣ: ихъ, чай, у васъ было не мало—есть о чемъ поговорить!»

— На охотѣ, — отвѣчалъ тотъ: — да на охотѣ ничего такого особеннаго со мною, сколько припомню,

не случалось. Что жъ, напримѣръ, если я вамъ скажу, что поймалъ разъ живаго дупеля, который, взлетѣвъ, попалъ головкой въ самый зонтикъ морковника, такъ что двѣ вѣтки захлеснулись вокругъ шеи, и бѣднякъ попался какъ въ силокъ; если разскажу, что одинъ крестьянинъ при мнѣ положилъ на одинъ зарядъ бѣлый мѣшокъ савчиковъ, такъ что не сталъ и стрѣлять больше и насилу донесъ ихъ домой, а мы дали ему на мѣстѣ пять зарядовъ пороху за то только, чтобы онъ, изъ любопытства, дозволилъ ихъ пересчитать, и насчитали сто-двадцать три; если я скажу вамъ, что, убивъ дупеля влетъ, вдругъ увидѣлъ, что передо мною въ зеленой травкѣ еще кто-то перевернулся вверхъ бѣлымъ брюшкомъ, и что я, стало быть, убилъ тѣмъ же зарядомъ еще другого долгоносаго, который сидѣлъ тутъ притаясь подъ кочкой, такъ что его никто и не видалъ; если разскажу, какъ мы однажды волка загнали въ колодезь, гдѣ онъ плавалъ часа три, покуда мы наконецъ не управились съ нимъ, накинувъ ему петлю изъ возжей на шею, а затѣмъ вытащили, связали, сострунили и привезли домой живьемъ; или какъ волкъ, затравленный, убитый и привѣшенный, покуда мы закусывали, за заднія ноги на дерево, очнулся, досталъ передними лапами до земли, вытянулся на нихъ сколько могъ впередъ и поймалъ зубами одного изъ завтракавшихъ за воротникъ: все это старо и васъ не утѣшитъ, а, между тѣмъ, по пословицѣ: «хоть ѣшь—не ѣшь, а за обѣдъ почтутъ, хоть наслушались, хоть нѣтъ, а за разсказъ почтите». Я свое сдѣлалъ, начинай другой!

Всѣ разсмѣялись; но спорить было нельзя, и слѣдующій, хотя онъ, по внезапности перехода на него очереди, и не успѣлъ приготовиться, разсказалъ народное бѣлорусское преданіе объ Иванѣ и Аннѣ.

— «Въ то время, когда поляки вынуждали всѣхъ

жителей тѣхъ краевъ принимать унію и когда православнымъ житья не было отъ бернардиновъ, базиліановъ, доминикановъ и другихъ заклятыхъ враговъ своихъ,—жилъ молодой, ловкій и умный крестьянинъ, православный, о которомъ только осталось въ памяти народной, что его звали Иваномъ. Во всѣхъ дѣлахъ противъ притѣснителей, поляковъ, дѣло безъ Ивана не обходилось: онъ говорилъ, увѣщевалъ своихъ, давалъ раду, т. е. совѣтъ, и сильно и смѣло нападалъ на поляковъ, которые боялись и ненавидѣли его, но никакъ не могли съ нимъ справиться. Вотъ они и стали пріискивать средства, какъ бы погубить его, коли не силою, такъ хитростію: они узнали, что у Ивана была невѣста, прекрасная дѣвушка, умная, красавица, но чванная щеголиха, которая любила казать себя людямъ, охорашиваясь передъ ними и завлекая молодцовъ себѣ въ поклонники, — словомъ, при всѣхъ достоинствахъ своихъ, была она немного легка и тщеславна; а, между тѣмъ, Иванъ любилъ ее безъ ума. Зная сильный, необузданный и страстный нравъ его, можно было предугадать навѣрняка, что измѣна Анны должна бы была его погубить. И вотъ на какое дѣло пошли ксендзы: они отыскали и подпустили къ ней такого молодца, на котораго крѣпко надѣялись; снабжая его деньгами и щегольскою одеждой, они дали ему средство угождать Аннѣ, обманывать ее и увѣрить, что онъ богачъ, что у отца или дяди его въ Польшѣ есть богатые *майонтки* — помѣстья; былъ-ли, не былъ ли онъ шляхтичемъ, но назвался имъ и тщеславная Анна охотно ему вѣрила, особенно когда онъ постоянно сталъ за нею ухаживать и, не обращая вниманія на прочихъ крестьянскихъ дѣвушекъ, явно и гласно предпочиталъ ее даже лучшимъ шляхтянкамъ... У бѣдной Ганнуси вскружилась голова. Сперва она, правда, не могла и не хотѣла забыть своего щираго

Иванька, дозволяла себѣ только *жартовать* — шутить, играть—съ богатымъ молодымъ шляхтичемъ; но когда онъ сказалъ ей прямо, что знать не хочетъ ни одной шляхтянки, а любитъ ее одну и ее только хочетъ за себя взять, то у нея вскружилась голова... Опомнясь и боясь Ивана, она уговорилась бѣжать съ новымъ поклонникомъ своимъ въ Польшу. Все было втихомолку слажено и подготовлено, ксендзы дали названному шляхтичу денегъ и бричку, и чета наша ночью пустилася въ путь.

«Но несчастный Иванъ не дремалъ: онъ молча зналъ и видѣлъ все, что дѣлалось, не зная только, вѣрить-ли глазамъ и ушамъ своимъ, доколѣ не убѣдился поневолѣ въ измѣнѣ своей Анны. Она и суженый ея оба такъ были заняты собою, что позабыли объ Иванѣ и думать; а онъ слѣдилъ и наблюдалъ за ними, между тѣмъ какъ ксендзы со спокойнымъ и злобнымъ духомъ смотрѣли со стороны на все, что дѣлалось. Имъ было все равно, они не щадили никого, лишь бы погубить Ивана, который мѣшалъ и противился лукавымъ намѣреніямъ ихъ и удерживалъ народъ отъ перехода въ латинство. Иванъ подстерегъ чету, далъ имъ уѣхать, но догналъ ихъ на самой грани литовской и закололъ изъ своихъ рукъ обоихъ. Сдѣлавъ это, онъ долго сидѣлъ надъ трупомъ Ганнуси и смотрѣлъ ей въ мертвыя очи. Сердце его отошло, онъ заплакалъ, вырылъ самъ яму подъ дубомъ, положилъ туда обоихъ и засыпалъ землей. Самъ онъ пропалъ безъ вѣсти.

«Съ тѣхъ поръ, въ окружности этого мѣста, носятся тѣни убитыхъ, по ночному туману, а вдалекѣ за ними крадется тѣнь Ивана, съ ножемъ въ рукахъ. Въ лунную ночь, когда низменности покрыты мглою, можно видѣть ихъ, особенно поднявшись на курганъ, повыше тумана; напередъ медленно проносится по воздуху соперникъ Ивана и, покруживъ на мѣстѣ,

будто осматривая, нѣтъ ли соглядатаевъ, начинаетъ манить рукой; тогда изъ ручья, протекающаго близъ дуба, всплываетъ на воздухъ прекрасная Анна, закрывая рукой кровавую рану противъ самаго сердца, и они вмѣстѣ несутся надъ туманомъ по воздуху, то рука въ руку, то обнявшись. Поселяне говорятъ, что когда Ганнуся проносится по свѣтлому мѣсяцу, то онъ сквозитъ черезъ нее, какъ сквозь самое тонкое, дымчатое облачко. Затѣмъ является Иванъ и, также покруживъ по воздуху, быстро пускается на чету. Соперникъ его стремглавъ падаетъ въ могилу свою. Ганнуся тихо опускается въ ручей, а Иванъ, покруживъ одинъ, уходитъ изъ виду въ темную даль. Все это повторяется иногда много разъ втеченіе лунной ночи; но съ пѣтухами тѣни исчезаютъ и скрываются въ невѣдомыхъ тайникахъ и затишахъ своихъ, до слѣдующей ночи».

Третій товарищъ поправилъ головни у костра и вызвался разсказать другое народное преданіе, подъстать Ивану и Ганнусѣ.

— «Старухи бываютъ иногда упрямы. Одной изъ такихъ старухъ вздумалось идти съ мѣшкомъ зерна въ ближнюю деревню, на мельницу, и домашніе никакъ не могли ее удержать, хоть и говорили ей, что теперь уже поздно, на дворѣ непогода, ночи осенніе, темныя, и она не дойдетъ засвѣтло съ тяжелымъ мѣшкомъ до мельницы. Но все это сама она лучше знала, а потому взвалила мѣшокъ на плечи и пошла.

«Что напророчили ей люди, то и случилось: по дождю, по слякоти и впотьмахъ, съ мѣшкомъ своимъ за плечами, она выбилась изъ силъ на половинѣ дороги, сѣла, стала выть и злиться, и наконецъ проклинать себя и своихъ, которые ее отпустили, не пожалѣвъ старуху въ такую погоду, и помянула при этомъ еще разъ десятокъ чорта, который-де невѣсть зачѣмъ ее

понесъ. Вдругъ, слышитъ она, ѣдетъ кто-то по дорогѣ, да еще и пѣсни поетъ: она обрадовалась, привстала и только собралась-было просить проѣзжаго подвезти ее, какъ молодой парень, правившій троичной телѣгой, самъ остановился противъ нея и спросилъ:

«— Что ты бабушка? аль тужишь о чемъ?

«— Да какже, родимый, не тужить—такъ и такъ, и какая бѣда надо мною стряслась!

«— Садись, бабушка: я подвезу, да еще и прокачу лихо!

«Старухѣ моей никой кладъ, взмостилась, взлѣзла на телѣгу и такъ рада, ровно вотъ дома на печку взобралась!...

«Вотъ—подумала она, усѣвшись,—не безъ добрыхъ людей таки на свѣтѣ »

Ямщикъ ѣдетъ и поетъ пѣсню: «Любилъ-де я дѣвку, и она меня любила пуще всего на свѣтѣ; да, вишь, людямъ завидно стало; на доброе дѣло нескоро подобьешь ихъ, а на худое—это нипочемъ, охочихъ много. Вотъ насъ и развели врознь; меня къ ней не пускаютъ, а ее ко мнѣ; а тамъ взяли, ее отдали за другого; за какого-то старика-вдовца, а меня женили, тожъ по чужой волѣ, ни себѣ на радость, ни мнѣ въ угоду, а такъ, что воля дана старому обижать малаго. Прошло съ годъ, мы съ нею не видались; а какъ только увидѣлись да, перекинувъ слово-другое, про житье-бытье свое горькое узнали, да другъ на друга взглянули, то и рѣшились ума; вотъ и положили мы: ей, чтобы убить постылаго мужа своего, а мнѣ—задушить свою докуку смертную, жену.

«Такъ и сталось, какъ положили. Да какъ сошлись мы съ нею послѣ, по уговору, да взглянули опять другъ на друга, то сердце такъ и повернулось, что въ ней, что во мнѣ: и смотрѣть не смогли мы одинъ на другаго, заплакали, да и разошлись врознь, и ра-

зошлись на всегда. Пришла злая кручина, поглядѣла на насъ и принялась грызть, сперва ее, и извела ее вконецъ скоро: исчахла бабенка и померла. Тутъ пришла кручина злая на меня, подступила подъ ретивое сердце, управилась и со мной, заѣла и меня на смерть и пошла.»

«— Что жъ, бабушка, ты, чай, думаешь—конецъ пѣсни? Нѣтъ, погоди: «вотъ какъ заѣла насъ обоихъ злая кручина, тогда только и узнали мы, какова за дѣла такія бываетъ расправа: она, бѣдная, пошла до-вѣку таскать стариковъ по болоту, а мнѣ вотъ досталось возить старухъ по горамъ. Какъ только кто ночью помянетъ чорта, вотъ какъ ты, бабушка, такъ мы по должности своей и подхватимъ—она старика, а я старуху, да и возимъ ихъ до первой смѣны, покуда другой либо другая проговорятся; вотъ я одну ссадилъ теперь, что года два возилъ, а тебя посадилъ. Какъ смѣна тебѣ придетъ, такъ и тебя ссажу—да знаешь-ли куда? ужъ не на вольный свѣтъ, а въ пекло, въ жупель, въ огонь. Эхъ, сивенькія! ударю! катай до смѣны!

«Ахнула бабушка и взвыла. Съ тѣхъ поръ, какъ только ночь настанетъ, такъ они вдвоемъ и ѣздятъ: онъ сидитъ да докучную пѣсню поетъ, все ту же да все про то же, а старуха съ мѣшкомъ своимъ сидитъ да голосомъ воетъ!»

— Что вы, братцы, — сказалъ четвертый товарищъ: — на ночь, да еще и въ чистомъ полѣ, такое нехорошее разсказываете, что нехотя позадь себя оглядываешься, а тамъ темно, какъ въ дубинѣ, особенно когда отведешь глаза отъ огня! Лучше я вамъ разскажу, за что тетка прогнала меня изъ дому и лишила наслѣдства: это будетъ хоть глупо, да повеселѣе!

«Тетка моя — царство ей небесное — была барыня дикая: съ нею, бывало, никому не сговорить, ни со-

владать, а что самодурью заладитъ, такъ хоть ей осиновымъ коломъ въ ушахъ ковыряй, она тебѣ все будетъ говорить: соломинка!

«Насъ было два брата; воспитывались мы въ корпусѣ, гащивали у тетки по праздникамъ, и какъ ни особой комнаты, ни кроватей для насъ въ домѣ не было, то на это время въ небольшомъ боковомъ покоѣ приставляли къ дивану четыре стула и стлали на этомъ помостѣ общую для двухъ братьевъ постель. Наконецъ я, какъ старшій, выпущенъ былъ годомъ прежде брата въ офицеры, и тетка позволила мнѣ довольно милостиво приходить къ ней во всякое время, и если отпустятъ, то, пожалуй, оставаться и ночевать. Я забылъ сказать, что тетушка моя была чистѣйшая дѣвственница, не терпѣла ни духу волокитства, и что я съ братомъ были ближайшіе наслѣдники ея.

«Вотъ, братцы мои,' и натянулъ я въ первый разъ мундиръ офицерскій, да вѣдь еще и съ эполетами... бѣгу къ теткѣ, ногъ подъ собой не слышу. Она рада, обнимаетъ, приглашаетъ остаться: «сегодня вечеромъ у меня повеселись — да, или ты не танцуешь — ну, хоть такъ погуляешь, посмотришь на людей; вотъ, познакомься: это внучатныя сестрицы твои, отъ дѣдушки Семена Иваныча: онѣ пріѣхали погостить ко мнѣ изъ Торжка.» Я распаркался и подошелъ къ ручкѣ: правда, что двѣ премиленькія сестрички, хоть бы и не изъ Торжка пріѣхать, а откуда угодно.

«Приходитъ вечеръ. Слѣпой музыкантъ сѣлъ за фортепіано, гостей сошлось довольно, и пошла пляска. Я, какъ человѣкъ вовсе не пляшущій, съ молодыхъ лѣтъ крѣпко скучаю на такихъ вечерахъ и, хоть ты распинай меня, бывало, далѣе полуночи не выдержу— усну, какъ пить дамъ; а что же было въ то время, когда я привыкъ, по корпусному, ложиться спать къ девятомъ часу! Пляска въ самомъ разгарѣ, а я, назѣ-

вавшись и намигавшись до безсилія, пошелъ промыслить темнаго уголка, гдѣ-бы мнѣ прикурнуть. Заглядываю въ боковой покойчикъ—темно; иду на привычное мѣсто, къ дивану—такъ вотъ было и обмеръ отъ радости: постель моя уже постлана, все готово, только осталось потрудиться да растянуться!

«Не откладывая добраго дѣла, я тотчасъ же въ три пріема разоблачился и кувырнулся на перину. Тутъ я замѣтилъ, правда, что къ дивану приставлены были стулья и постлано для двоихъ, какъ всегда, бывало, дѣлалось для меня съ братомъ; «ну, что жь,— подумалъ я, — мнѣ отъ этого не хуже будетъ спать, все одно; видно, горничная теткина забылась и думала, что мы здѣсь оба, тогда какъ братъ мой остался въ корпусѣ.

«Давно, и очень давно уже, покоился я истинно-богатырскимъ сномъ, какъ вдругъ что-то сильно и тяжело на меня обрушилось, такъ что я проснулся въ страшномъ испугѣ, полагая, что на меня обвалился весь потолокъ. Я вскочилъ съ постели своей, ударился обо что-то лбомъ, наткнулся на кого-то руками — въ то же мгновеніе въ ушахъ моихъ, и, притомъ, вплоть подлѣ нихъ, раздался пронзительный крикъ или визгъ, которому вторилъ еще другой голосокъ, какъ отчаянная флейта; затѣмъ что-то глухо стукнуло, и все опять замолкло, а вокругъ меня сдѣлалось пусто.

«Нѣсколько секундъ сидѣлъ я въ самомъ странномъ недоумѣніи, не будучи въ состояніи ни понять, ни сообразить, что тутъ сталось, какъ вдругъ въ дверяхъ показался свѣтъ, и тетка, услышавшая отчаянный крикъ племянницы, самолично, со свѣчей въ рукахъ, явилась на помощь. Но только-лишь свѣча слегка освѣтила комнату, какъ тотъ же крикъ и визгъ возобновился около меня, и кто-то сильно потянулъ съ меня одѣяло, вѣроятно, нуждаясь въ немъ для собственнаго

своего употребленія. Теперь только опомнился я, разглядѣлъ и сообразилъ, что бѣдныя внучатныя сестрицы мои, пріѣхавшія изъ Торжка, сидѣли въ страшномъ испугѣ, прижавшись на полу въ уголки: одна по лѣвую руку отъ меня, за рядкомъ приставленныхъ къ дивану стульевъ, и укрывалась подушкой; другая же— въ ногахъ, за диваномъ, и эта-то противница моя всѣми силами старалась стянуть съ меня одѣяло, которое я успѣлъ, однако же, схватить за верхній край и, какъ сильнѣйшій, не выпускалъ изъ рукъ. Обѣ они подняли отчаянный крикъ, чтобы тетка не вносила свѣчи. Тетка остановилась въ испугѣ и недоумѣніи въ дверяхъ и, по крайней мѣрѣ, двадцать разъ спросила: «что это! что такое дѣлается?» Наконецъ она поняла изъ отрывочныхъ словъ дѣвицъ и изъ моихъ невинныхъ объясненій, что тутъ сдѣлалось. Постель, на этотъ разъ, постлана была вовсе не для меня, а для сестрицъ; я же не замышлялъ худаго, завладѣлъ ею по праву обычая и спалъ очень спокойно, когда онѣ обѣ, по разъѣздѣ гостей, простились и пошли укладываться. Зная, что у окна въ комнатѣ этой не было ни ставни, ни занавѣсокъ — сестрицы уже три дня гостили у тетки—и увидавъ огонь въ окнѣ у проживавшихъ насупротивъ сосѣдей, барышни мои рѣшили, чтобы не брать съ собою въ спаленку свѣчи, и потому вошли и приготовились совсѣмъ ко сну впотьмахъ. Бесѣдуя между собою о бывшихъ танцахъ, о кавалерахъ, о томъ и о семъ, онѣ беззаботно стали укладываться, и такъ какъ, по устройству кровати-дивана въ углу, съ приставленными стульями, неудобно было подняться на помостъ этотъ иначе, какъ въ ногахъ, то одна изъ дѣвицъ и опустилась оттуда сразмаху во всю длину свою на постель...

«Хотя и съ трудомъ, однако, наконецъ дѣло это все объяснилось; но не такъ легко было окончить его

и развести насъ, по принадлежности, врозь, не говорю уже успокоить тетку; вы сами видите, что тутъ вышло нѣчто въ родѣ козы, волка и капусты, сошедшихся на перевозѣ. Комната была очень слабо освѣщена, потому что свѣча стояла въ сосѣдней комнатѣ; скромная тетушка, дѣвица лѣтъ шестидесяти, въ отчаяніи заламывала руки, сердилась, бранила меня, но дѣлу не помогала. Она вызывала то ихъ, то меня, но никому изъ насъ, въ томъ положеніи, въ какомъ мы находились, нельзя было тронуться съ мѣста. Тетушка проклинала меня и выходила изъ себя; но дѣло отъ этого не спорилось. Горничная показалась-было, услышавъ эту суматоху; но тетушка прогнала ее, а сама долго не знала, что начать. Послѣ долгихъ споровъ, перекоровъ и недоумѣній, заключено было наконецъ между нами перемиріе на такомъ основаніи, чтобы тетушка, зажмурясь, принесла бѣднымъ сосѣдкамъ моимъ по салопу, съ помощію которыхъ онѣ благополучно отступили въ другіе апартаменты; затѣмъ уже мнѣ приказано было одѣться; между тѣмъ, тетушка все время стояла за дверьми въ залѣ и напускалась на меня страшною грозой... Изъ самаго простаго, пустаго и развѣ только что забавнаго случая она, въ порывѣ негодованія, сочинила міровое событіе... Никакія объясненія мои не могли вразумить и умилостивить ее: вообразите, что несчастная Діана эта встрѣтила меня, какъ негоднаго мальчишку, пощечиной, въ ту же минуту выпроводила на улицу, заперла за мной дверь и съ тѣхъ поръ не пускала къ себѣ въ домъ! Этого мало: она лишила меня наслѣдства и передала все небольшое состояніе почти чужимъ, но какимъ-то родственникамъ по десятому колѣну!»

Товарищи разсмѣялись и принимаясь за поспѣшный ужинъ, не менѣе того потребовали пятый разсказъ. Этотъ пятый товарищъ не желалъ, однакоже, сдѣлать

какое-либо упущеніе по части пельменей, и потому разсудилъ пожертвовать для разсказа своего не болѣе времени, сколько нужно было для нагрузки съѣдомаго изъ котелка въ деревянную чашку.

«Конный полкъ былъ на ученьѣ,—началъ онъ,—а конный почтальонъ, на разбитой несчастной клячѣ, въ самое то время пустился въ три ноги черезъ площадь, когда скомандовали въ атаку «маршъ-маршъ!» бѣдный почтальонъ мой попался какъ въ тенёта, несмотря ни на какое отчаянное стараніе, не можетъ уйти отъ несущагося прямо на него строя и видитъ неминучую участь свою быть смятымъ и раздавленнымъ. «Стой!» закричалъ онъ громовымъ голосомъ погибающаго и, продолжая колотить клячу свою пятками по ребрамъ, пустился по улицамъ и проулкамъ и благополучно скрылся. Полкъ, разумѣется, осадилъ и остановился на мѣстѣ, какъ вкопанный; солдаты слышали команду, которую ожидали, но не могли въ суматохѣ различить, откуда она послѣдовала. Долго розыскивали, кто осмѣлился произнести это громогласное, роковое *стой*, и наконецъ оказалось, что это былъ отчаянный крикъ погибающаго почтальона».

— Хорошо,—сказалъ начальникъ пельменей и полевой атаманъ: — все хорошо, что мы слышали; но дѣло не кончено: есть еще шестой. А ну, дядя, — сказалъ онъ, обращаясь къ сторожу разстроеннаго перевоза, подсѣвшему тутъ же у огонька и слушавшему не безъ удовольствія господскія розсказни:—вотъ тебѣ чашка съ пельменями, а ты намъ разскажи что-нибудь.

Сторожъ улыбнулся и зачесалъ затылокъ.

— Да что жъ я вамъ разскажу! развѣ вотъ про пьянаго медвѣдя, да какъ черезъ него дѣдушка убился? Извольте!

И онъ началъ кадниковскимъ говоромъ.

«Вотъ видишь, дѣло было лонись — аль нѣтъ, въ третьемъ годѣ—мы помногу-таки овса сѣемъ въ загородахъ да полямъ, подъ большимъ-то лѣсомъ; къ дядѣ Ивану въ полосу и повадился гостенекъ покушивать овесецъ. Онъ и говоритъ, въ воскресенье, какъ всѣ дома были въ собраньи, на улицѣ, говоритъ: ребята! мою полосу всю овсеникъ-медвѣдь довелъ; убьемте его, не то и вашему овсу то жъ будетъ. Да какъ его убьешь? на загородахъ елей нѣтъ, лабазовъ (полати, помостъ) сдѣлать негдѣ; а Максимъ десятникъ и надоумилъ: какіе-де тутъ на овсеника лабазы? великъ ли онъ и весь-то! а мы вотъ что, состроимъ-ко диковинку: нальемте вина въ ушатъ — для міра изъяна большого не будетъ; поставимте ушатъ на полосу, онъ себя и угоститъ! Ладно; мы къ ночи и изготовили винцо-отъ и наладили ловушку. Поутру я вскочилъ еще до солнышка — глядь, и другіе встали, дожидаютъ. Вотъ разсвѣло, мы и пошли всей деревней, и большіе, и челядь мелкая, кто съ топоромъ, кто съ чѣмъ, всѣ пошли на Иванову полосу; а у десятника была съ собой и рогатина. Мы вишь тетерокъ сильемъ ловимъ, а ружей въ деревнѣ нашей нѣтъ ни у кого. Ну, стали подходить — всѣ и оробѣли: никто нейдетъ впередъ къ ушату на полосу, хоть что хошь дѣлай! Максимъ съ рогатиной зоветъ хозяина, дядю Ивана, а тотъ кричитъ: здѣсь, здѣсь, — а самъ ни съ мѣста. Я было пошелъ, да подумалъ: что бахвалить передъ другими, народу много, пусть идутъ. Тутъ негдѣ возьмись нашъ Лыско, собака: ощетинился, озлился да туда, черезъ огородъ-отъ, да и заурчалъ не своимъ голосомъ. Тутъ всѣ въ одинъ голосъ гайкнули да разомъ и вскочили, а медвѣдь, какъ баринъ какой, развалился въ овсѣ; да такъ-то похрапываетъ, что отъ гаму нашего вспилу пробудился, да, пробудившись, только что головой потряхиваетъ, лапами подрягиваетъ,

а онѣ его вишь и не слушаются: ни съ мѣста, лежитъ да и только! Вотъ штука-то была, баринушко! Обуха три дали ему въ лобъ, да и полно; пожелали всѣ живого домой привести; послали за ужищемъ (веревкой), опутали всего, и онъ, хмѣльной да сонный,— вотъ хоть побожиться тебѣ!—еще самъ лапы подставляетъ; шумъ да гамъ такой, всѣ ребятишки, всѣ бабы сбѣжались — потащили волокомъ медвѣдя того, глядимъ—ай, что это, Господи, на дорогѣ мой дѣдушка лежитъ! глядь, анъ сердечный не живой! Вотъ тебѣ и медвѣдь; что-молъ такое это? — Жалко и дѣдушку, да и не малая надо всѣми стряслась бѣда: поволокутъ въ судъ всѣхъ, и Богъ знаетъ, что будетъ. Онъ, вишь, прости Господи душу его, на пустоши нашей сидѣлъ, жегъ валы (лѣсъ), да и задумалъ въ этакую рань пріѣхать домой; а дорога съ пустошей мимо загородъ нашихъ лежитъ: онъ старикъ ѣхалъ верхомъ да еще охлябь (безъ сѣдла); вотъ какъ мы на медвѣдя-то загамили всѣ въ голосъ, лошадь и шарахнулась въ сторону, а дѣдушка сердечный, какъ пить далъ, съ нея торчмя головой, да въ битую дорогу темемъ; тутъ тебѣ и духъ вонъ Ну, какъ быть,—поволокли въ деревню и его, и медвѣдя; дошли до деревни—дѣдушкоотъ сталъ вздыхать; отвелъ духъ, ожилъ; тутъ мы съ радостей давай медвѣдя въ лобъ колотить да шкуру съ него и сняли. Вотъ оно какъ было дѣло-то, баринъ, съ пьянымъ медвѣдемъ! А дѣдушка жилъ себѣ еще, все жилъ, покуда не померъ.».

Между тѣмъ, стало уже не рано, и охотники наши, собираясь со свѣтомъ на промыселъ, поужинавъ, завернулись въ охобни свои разнаго покроя и повалились на полати спать. Когда же первый изъ нихъ на зарѣ потянулся и выглянулъ извнѣ плаща на бѣлый свѣтъ, то увидѣлъ, что паромъ уже стоялъ на своемъ мѣстѣ и переправа была устроена. Вскочивъ, разбу-

дилъ онъ товарищей, и черезъ четверть часа берегъ этотъ опустѣлъ; черезъ часъ, выстрѣлы стали уже раздаваться на противоположномъ берегу, перекатываясь среди общей тишины по гладкой, какъ зеркало, рѣчкѣ.

ДРУГАЯ КРУГОВАЯ БЕСѢДА

Наохотясь досыта или, по крайней мѣрѣ, до сумерекъ и усталости, кадниковцы наши заѣхали на ночь къ знакомому крестьянину, заняли клуню, гдѣ было свободнѣе и привольнѣе, чѣмъ въ избѣ, развели огонекъ подъ страхомъ своей отвѣтственности, разсѣлись вокругъ, съ большимъ нетерпѣніемъ ожидая дальнѣйшаго распорядка полевого атамана. Такъ какъ днемъ ничего не варилось, а всѣ были съ утра въ работѣ и довольствовались, какъ онъ выражался, сухомяткой, то приставлено было два блюда: кашица, для положенія основанія, и опять-таки пельмени, на закрѣпу. Между тѣмъ, какъ вчерашній вечеръ, проведенный въ круговой бесѣдѣ, всѣмъ полюбился, то и было опять предложено каждому разсказать по были или небылицѣ.

— Чуръ меня на хвостъ,—закричалъ атаманъ,—а то вы меня опять врасплохъ захватите!

«Жилъ-былъ молодой парень,—началъ первый чередной,— жилъ зажиточный купецъ, который давно уже любилъ дѣвушку небогатую, но умную, смирную и красавицу, да при жизни отца своего никакъ не смѣлъ на ней жениться, почему и оставался холостымъ до своей воли, а отдавъ отцу послѣдній долгъ

и почетъ, вскорѣ обвѣнчался съ нею и жилъ такъ, что и радостно и завидно было смотрѣть на чету эту со стороны. Вотъ Богъ услышалъ молитву ихъ и благословилъ честное житье ихъ, и приходитъ время, что ожидать имъ скоро перваго ребенка. И радостно стало, и страшно. Много они говорили объ этомъ промежъ собой, утѣшая другъ друга, а наконецъ, когда ужъ стала подходить пора, молодая жена, обнявъ мужа своего, сказала:

— Дастъ Богъ — все кончится благополучно. Отъ слова не сбудется; но еслибъ пришлось мнѣ умереть, не сѣтуй, другъ мой, и на это: мы съ тобой свидимся, а о сынѣ нашемъ—потому что я тебѣ рожу сына — не заботься: я его не покину, ужъ я Бога объ этомъ умолила.

«Больше не сказала она ничего, а мужъ заплакалъ отъ такихъ рѣчей, не сталъ болѣе разспрашивать, а старался только утѣшить ее и ободрить.

«На бѣду мужа, однако, молодая, добрая и пригожая хозяйка его, видно, сказала все это не спроста, а знала больше его; все сбылось: сыночка она ему подарила, а сама не перемоглась—позвала мужа, проститься съ нимъ, еще разъ просила не забыть, что она ему говорила, и преставилась. Нечего и говорить вамъ о томъ, какъ горевалъ бѣдный вдовецъ и тужилъ, не смогши послушаться покойницы, которая наказывала ему не плакать по ней и не скучать. Но надо было тотчасъ же позаботиться о сироткѣ, и отецъ, приказавъ отыскать хорошую, надежную кормилицу, не пожалѣлъ ничего, чтобы устроить дѣло это какъ можно лучше. И точно, нашли кормилицу молодую, хорошую, бабенку здоровую и къ тому еще добрую и заботливую, такъ что, казалось, и желать больше нечего; а между тѣмъ, дѣло все какъ-то не ладилось: ребенокъ не хотѣлъ брать груди у корми-

лицы и кричалъ цѣлый день, ночью же лежалъ спокойно и даже никогда не вскрикивалъ, хоть и просыпался.

«Никто не могъ понять, что бы это значило, и сама кормилица больше всѣхъ убивалась по пріемышѣ своемъ, котораго любила какъ свое родное дитя. Вотъ она и стала примѣчать за нимъ, не спать по ночамъ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ ей показалось, будто люлька скрипѣла ночью и качалась; и точно, на слѣдующую ночь убѣдилась она, что не ошиблась: что-то прошло по комнатѣ тише тѣни, подошло къ колыбели, и кормилица услышала, на этотъ разъ ясно, что ребенокъ сосетъ. Она испугалась и не знала, что дѣлать, но пролежала смирно, едва дыша, и видѣла опять, какъ впотьмахъ мелькнуло что-то по комнатѣ, противъ окна, а затѣмъ дверь скрипнула и опять тихо притворилась. Послѣ этого малютка спалъ спокойно до утра.

«Кормилица пришла на утро, испуганная, къ хозяину и разсказала ему въ страхѣ, что покойница-мать ходитъ по ночамъ кормить ребенка, и вотъ почему онъ днемъ не беретъ чужой груди и кричитъ, а по ночамъ покойно спитъ. Хозяинъ долго не вѣрилъ этому, но наконецъ рѣшился лечь на ночь неподалеку ребенка и стеречь, что будетъ. Онъ видѣлъ и слышалъ почти то же, что кормилица, но по темнотѣ ночи не могъ распознать, кто или что ходитъ. Поутру молодой вдовецъ сталъ крѣпко задумываться, не зная, что дѣлать; его обдавало суевѣрнымъ страхомъ. Подумавъ, пошелъ онъ совѣтоваться съ хорошими товарищами, молодыми людьми, съ которыми былъ друженъ еще до женитьбы. Они потолковали и, не вѣря такому диву, положили придти на ночевую къ своему пріятелю, чтобы во всемъ самимъ убѣдиться. Легли, не засыпая, и стали стеречь: около полуночи дверь

тихо отшатнулась, что-то, медленно и едва касаясь пола, пронеслось по комнатѣ, и вскорѣ младенецъ началъ чмокать и сосать. Одинъ изъ посѣтителей, немного погодя, всталъ, пошелъ въ другую комнату, засвѣтилъ свѣчу и вошелъ съ нею; но онъ не увидалъ ничего, кромѣ того, что безпокойный, будто испуганный ребенокъ метался головкой во всѣ стороны, какъ будто чего-то не доискивался, а потомъ сталъ плакать.

«Потолковавъ объ этомъ на другой день, пріятели хозяина стали, однакожъ, утверждать, что никто изъ нихъ ничего положительнаго не видалъ, и потому надо повторить опытъ; а одинъ изъ нихъ прибавилъ, что онъ, помнится, слышалъ когда-то отъ стариковъ, какъ въ подобномъ случаѣ надо поступить: надо поставить свѣчу подъ новый горшокъ и, какъ только что-нибудь явится, вдругъ поднять горшокъ и освѣтить комнату: тогда привидѣніе не успѣетъ скрыться, и его можно увидѣть.

«Сдѣлали все, какъ положили, и улеглись. Около полуночи слышатъ опять то же: и дверь отозвалась, и походка чья-то, легкая и едва только слышная, казалось, и младенецъ зачмокалъ. Тогда одинъ изъ гостильщиковъ снялъ горшокъ: всѣ вдругъ увидѣли покойную, молодую жену хозяина, которая, въ саванѣ своемъ, стояла на колѣняхъ подлѣ зыбки младенца и кормила его мертвою грудью... Медленно встала она, взглянула тусклыми глазами на смертельно перепуганнаго мужа, пошла тихими шагами къ двери, еще разъ оглянулась и скрылась. Всѣ вскочили и пошли вслѣдъ за нею, прослѣдили ее изъ дому по улицѣ, и другой, и третьей и, наконецъ, остановясь неподалеку кладбища, видѣли, какъ она, перекрестясь на всѣ четыре стороны, опустилась въ могилу, а надъ мѣстомъ этимъ какъ будто въ облакахъ заиграло легкое зарево. Всѣ въ

страхѣ воротились домой, не зная, что сказать и что подумать.

«Младенецъ послѣ этого вовсе отказался отъ груди кормилицы, кричалъ день и ночь, и какъ мать его болѣе не являлась, то бѣдняжка, несмотря ни на какія старанія и заботы несчастнаго отца, хирѣлъ, слабѣлъ и вскорѣ умеръ. Его похоронили въ одномъ мѣстѣ съ матерью, гробъ которой, при этомъ случаѣ, нашли въ цѣлости, съ забитой крышкой, какъ онъ былъ поставленъ. Купецъ сталъ со дня на день скучать, молчалъ, задумывался, бросилъ всѣ дѣла свои и наконецъ лишился ума; а всѣ свидѣтели этого происшествія съ испугу сдѣлались заиками».

— И я вамъ разскажу коротенькое народное преданіе,—началъ второй на очереди:—но только въ другомъ родѣ: не о мертвецахъ то есть, но и не о живыхъ.

«Волга и сестра ея Вазуза, вытекая и та и другая маленькими рѣчушками, одна въ Тверской, другая въ сосѣдней съ нею Смоленской губерніи, заспорили, кто изъ нихъ будетъ больше, сильнѣе и старше. Не переспоривъ другъ друга ничѣмъ, потому что онѣ въ пеленкахъ были обѣ равны, рѣшились пуститься бѣжать навыпередки. «Ляжемъ вмѣстѣ спать, да кто раньше встанетъ и прежде добѣжитъ до моря до Хвалынскаго, тому и почетъ». Легли; но Вазуза почти не смыкала глазъ, поднялась еще ночью, выбрала себѣ прямую дорогу и шибко потекла. Волга проснулась на зарѣ, умылась, одѣлась, Богу помолилась и пошла, ни быстро, ни тихо, средней побѣжкой; но, узнавъ объ измѣнѣ Вазузы, она пустилась ей впереймы, догнала ее въ Зубцовѣ и тутъ отрѣзала ей дорогу; тутъ Волга такъ грозно напустилась за измѣну эту на Вазузу, что эта больно испугалась, присмирѣла и назвалась меньшею сестрою: а какъ Волга перерѣзала

ей путь и самохвалкѣ Вазузѣ по сыртамъ и горамъ бѣжать было не сподручно, слабость же свою она познала, то и покорилась и стала просить старшую сестру взять ее съ собою, не попомнивъ лиха, да снести на море. Волга приняла ее, и съ тѣхъ поръ живутъ и плывутъ онѣ мирно. Вазуза, однакоже, по старой привычкѣ, просыпается всегда весной раньше Волги, бѣжитъ къ ней, будитъ ее, и онѣ вмѣстѣ уносятся на глубокое, синее море. Надо замѣтить, что Вазуза, по быстротѣ склона русла и по множеству родниковъ, точно, всегда вскрывается раньше Волги.»

Третьяго понукнули, толкнувъ подъ бокъ, и онъ началъ какъ:

«Былъ у одного мужика котъ, который въ молодости мышей ловилъ, а подъ старость залѣнился, аль у него ужъ поясница заболѣла, только сталъ онъ плохъ въ домѣ и по хозяйству ни къ чему не годенъ; а какъ его кормить не кормили, то онъ и сталъ промышлять самъ—только не мышами, какъ бывало прежде, а молочкомъ, сметанкой, маслицемъ и творожкомъ, который, видно, больно ему по зубамъ пришелся. Вотъ, хозяйка и напустилась на мужика, чего-де онъ смотритъ, на что держитъ въ домѣ кота, который вовсе избаловался, въ годъ со днемъ ни одной мышкѣ даже и хвоста не отгрызъ, а день за день бѣдокуритъ. Первое, сказала она, что надъ нами, я слышала, и мыши смѣются, а другое — намъ и отъ кота самаго житья нѣтъ,—не устережешься!

«— Ну, такъ что жъ ты на меня напустилась? управилась бы сама, какъ знаешь. Что, онъ сынъ мнѣ, что ли?

«Хозяйка отвѣчала, что это не женское дѣло, а мужику-де слѣдуетъ отвезти кота въ лѣсъ, какъ поѣдетъ по дрова, и тамъ его покинуть. Такъ мужикъ нашъ и сдѣлалъ: онъ поѣхалъ по дрова, взялъ съ со-

страхѣ воротились домой, не зная, что сказать и что подумать.

«Младенецъ послѣ этого вовсе отказался отъ груди кормилицы, кричалъ день и ночь, и какъ мать его болѣе не являлась, то бѣдняжка, несмотря ни на какія старанія и заботы несчастнаго отца, хирѣлъ, слабѣлъ и вскорѣ умеръ. Его похоронили въ одномъ мѣстѣ съ матерью, гробъ которой, при этомъ случаѣ, нашли въ цѣлости, съ забитой крышкой, какъ онъ былъ поставленъ. Купецъ сталъ со дня на день скучать, молчалъ, задумывался, бросилъ всѣ дѣла свои и наконецъ лишился ума; а всѣ свидѣтели этого происшествія съ испугу сдѣлались заиками».

— И я вамъ разскажу коротенькое народное преданіе,—началъ второй на очереди:—но только въ другомъ родѣ: не о мертвецахъ то есть, но и не о живыхъ.

«Волга и сестра ея Вазуза, вытекая и та и другая маленькими рѣчушками, одна въ Тверской, другая въ сосѣдней съ нею Смоленской губерніи, заспорили, кто изъ нихъ будетъ больше, сильнѣе и старше. Не переспоривъ другъ друга ничѣмъ, потому что онѣ въ пеленкахъ были обѣ равны, рѣшились пуститься бѣжать навыпередки. «Ляжемъ вмѣстѣ спать, да кто раньше встанетъ и прежде добѣжитъ до моря до Хвалынскаго, тому и почетъ». Легли; но Вазуза почти не смыкала глазъ, поднялась еще ночью, выбрала себѣ прямую дорогу и шибко потекла. Волга проснулась на зарѣ, умылась, одѣлась, Богу помолилась и пошла, ни быстро, ни тихо, средней побѣжкой; но, узнавъ объ измѣнѣ Вазузы, она пустилась ей вперейму, догнала ее въ Зубцовѣ и тутъ отрѣзала ей дорогу; тутъ Волга такъ грозно напустилась за измѣну эту на Вазузу, что эта больно испугалась, присмирѣла и назвалась меньшею сестрою: а какъ Волга перерѣзала

ей путь и самохвалкѣ Вазузѣ по сыртамъ и горамъ бѣжать было не сподручно, слабость же свою она познала, то и покорилась и стала просить старшую сестру взять ее съ собою, не попомнивъ лиха, да снести на море. Волга приняла ее, и съ тѣхъ поръ живутъ и плывутъ онѣ мирно. Вазуза, однакоже, по старой привычкѣ, просыпается всегда весной раньше Волги, бѣжитъ къ ней, будитъ ее, и онѣ вмѣстѣ уносятся на глубокое, синее море. Надо замѣтить, что Вазуза, по быстротѣ склона русла и по множеству родниковъ, точно, всегда вскрывается раньше Волги.»

Третьяго понукнули, толкнувъ подъ бокъ, и онъ началъ какъ:

«Былъ у одного мужика котъ, который въ молодости мышей ловилъ, а подъ старость залѣнился, ал у него ужъ поясница заболѣла, только сталъ онъ плохъ въ домѣ и по хозяйству ни къ чему не годенъ; а какъ его кормить не кормили, то онъ и сталъ промышлять самъ—только не мышами, какъ бывало прежде, а молочкомъ, сметанкой, маслицемъ и творожкомъ, который, видно, больно ему по зубамъ пришелся. Вотъ, хозяйка и напустилась на мужика, чего-де онъ смотритъ, на что держитъ въ домѣ кота, который вовсе избаловался, въ годъ со днемъ ни одной мышкѣ даже и хвоста не отгрызъ, а день за день бѣдокуритъ. Первое, сказала она, что надъ нами, я слышала, и мыши смѣются, а другое — намъ и отъ кота самаго житья нѣтъ,—не устережешься!

«— Ну, такъ что жь ты на меня напустилась? управилась бы сама, какъ знаешь. Что, онъ сынъ мнѣ, что ли?

«Хозяйка отвѣчала, что это не женское дѣло, а мужику-де слѣдуетъ отвезти кота въ лѣсъ, какъ поѣдетъ по дрова, и тамъ его покинуть. Такъ мужикъ нашъ и сдѣлалъ: онъ поѣхалъ по дрова, взялъ съ со-

бою кота въ мѣшокъ, навалилъ хворосту и, покончивъ дѣло, развязалъ мѣшокъ и закинулъ бѣднаго кота въ овражекъ, а самъ поѣхалъ. «Вотъ—подумалъ котъ—кабы я былъ собакой, хоть она и врагъ мой, то побѣжалъ бы теперь за возомъ; а съ моей натурой дѣлать этого не приходится. Видно, оставаться тутъ и пропадать!»

— «Здравствуй, Котофей Иванычъ! сказала Лиса Патрикѣевна, увидавъ этого гостя.

«— Здравствуй, коли хочешь, сказалъ котъ, отворотивъ рыло, потому что былъ сердитъ на мужика.

«— Какъ ты попалъ къ намъ сюда и зачѣмъ пожаловалъ?

«Котофей Иванычъ разсказалъ все:

«— Бывало, поѣмъ, да и на бокъ, сказалъ онъ:— оттого я гладокъ; а теперь, какъ вотъ состарѣлся и никуда не гожусь, такъ за дурное поведеніе сосланъ сюда. Вотъ и пришлось пропадать.

«Погоди, — подумала лиса,—нельзя ли будетъ изъ этого случая получить какую прибыль: Котофей Иванычъ такой звѣрь, что здѣсь въ лѣсу никто его не видалъ и не знаетъ: можно будетъ попугать имъ народъ.

«— Вотъ что, другъ мой Котофей Иванычъ, сказала лиса: — мнѣ тебя жаль, я помогу тебѣ; пойдемъ, поживи у меня — большихъ затѣй нѣтъ, мы люди не большіе, а чѣмъ Богъ послалъ, коли не прогнѣваешься!

«— Спасибо на добромъ словѣ, отвѣчалъ Котофей:— пойдемъ.

«И лиса отвела его въ нору, раскопавъ ее попире, раструбомъ, чтобъ пострашнѣе казалась, а коту велѣла залечь тамъ и отдохнуть, сама же побѣжала собирать сходку.

«Сошлись всѣ звѣри, и малый и великій, и слушаютъ, что будетъ говорить лиса; а она, поздоровав-

шись честно и пожелавъ міру всякаго добра, сказала:

«— Слышали ль вы, други, что въ нашей волости дѣлается? Къ намъ присланъ новый бурмистръ, да такой страшный, какого мы еще не видали: вотъ пойдутъ тяжкія времена! Прозывается онъ Котофей Иванычъ; рыло у него съ усами, языкъ игляной, очи что свѣчи, когти что грабли, хвостъ змѣиный, шерстка мягкая да думка злая! Спитъ, такъ храпитъ почеловѣчьи, а не спитъ, такъ я одно только слово и слышала отъ него: все кричитъ: «мало, мало, мало—хоть какой приносъ ни принеси!» Такъ вотъ что, міряне, онъ уже выбилъ меня изъ дому! Полюбилась ему моя бѣдная землянка. Что-жь! Богъ съ нимъ, я бы объ этомъ не тужила—обидѣлъ, такъ мнѣ съ нимъ не тягаться. Я бы съ чадами и домочадцами своими ушла куда-нибудь, подъ пень, подъ колоду, такъ не пускаетъ, велитъ кормить себя. Вотъ оно мнѣ одной и не подсилу. И сама я и челядь мелкая моя, почитай, не ѣвши сидимъ, а бурмистръ нашъ все съѣлъ одинъ, что я запасла и заполевала. Вотъ онъ и приказалъ мнѣ собрать сходку да повѣстить всѣмъ знать и помнить и бояться новаго бурмистра, Котофея Иваныча; приказалъ онъ міру сдѣлать раскладку, чтобъ день за день скоромный столъ былъ. Вотъ, міряне, больше мнѣ говорить нечего, сами знаете, что дѣлать: вы умнѣе меня; а сердитъ и больно сердитъ новый нашъ бурмистръ!

«Зашумѣлъ міръ и пошелъ ходить ходенемъ, какъ волна морская. «Что дальше, то не легче», ворчалъ почесываясь Мишка; однако, никто не отказался ни отъ чего, что міръ на кого положитъ, и разошлись всѣ, помня каждый, что́ и когда надо ему нести къ лисьему двору; а на первый разъ порядили такъ, чтобы идти завтра всѣмъ на поклонъ къ Котофею Ива-

нычу и всѣмъ принести ему по гостинцу. Вотъ пришли, разложили все съ великимъ страхомъ: волкъ четверть телятины принесъ, медвѣдь пива-меду наварилъ, хорекъ ощипалъ и очистилъ утку, а хорчиха его принесла пару яицъ,—словомъ, всякъ что могъ,— и стоятъ кругомъ, ждутъ; идти не смѣютъ. Выглянула изъ норы лиса, поздоровалась шопотомъ со всѣми.

«— Почиваетъ еще бурмистръ нашъ, сказала она— а будить его я не смѣю: больно сердитъ. Не поскучайте, люди добрые, подождите.

«— Послушай, кума...—началъ было медвѣдь.

«Но лиса, высунувъ опять голову, сказала:

«— Нѣтъ, Михайло Потапычъ, извини: я теперь ужь не кума, я бурмистерша. Котофей Иванычъ присланъ былъ къ намъ на управу холостымъ, а я также, сами вы знаете, перебивалась, какъ могла, сирою вдовицей. Вотъ онъ нынѣ и смиловался надо мной и почтилъ вѣрную службу мою — взялъ меня въ хозяйки; а по отчеству, коли знать не побрезгаете, зовутъ меня Патрикѣевной.

«Всѣ звѣри переглянулись, пожали плечами да и замолчали, а Миша понурилъ голову, сталъ поворачивать туда и сюда лапу свою и разсматривалъ когти. Немного погодя, лисанька вышла и стала подзывать стариковъ, чтобъ подходили на поклонъ къ бурмистру, кланялись ему ниже и звали на угощеніе. Всѣ звѣри боятся, ни одинъ не трогается съ мѣста, — только поглядывая другъ на друга, говорятъ:

«— Иди ты напередъ, иди ты!

«Наконецъ присудили идти кабану, самому старому, который уже почти мохомъ обросъ; но какъ только онъ подступилъ и захрюкалъ, хоть и самымъ почтительнымъ образомъ, то бурмистерша торопливо закричала на него и прогнала, сказавъ что этотъ человѣкъ никакой обходительности и хорошихъ обычаевъ не знаетъ.

Стали вызывать Мишку. Мишукъ пошелъ да какъ увидѣлъ въ темной норѣ пару глазъ, какъ огонь, которые освѣщали круглую, страшную морду съ усами, то насилу устоялъ на ногахъ, промычалъ что-то, оробѣлъ, поклонился и отошелъ.

«— Прочь,—закричала лиса:—самъ идетъ, самъ идетъ!

«И всѣ звѣри отошли и попрятались, кто на деревьяхъ, кто за кустами и пнями. Котофей Иванычъ вышелъ чинно, и, между тѣмъ какъ Лиса Патрикѣевна уговаривала его на ушко поднять хвостъ, какъ можно повыше и писать имъ по воздуху разводы, онъ подошелъ къ приготовленному для него столу и началъ было кушать. Тутъ онъ, по старой привычкѣ своей, заурчалъ:

«— Мало, мало, мало.

«И въ тоже время покосившись на сторону, гдѣ Мишка вашелестилъ листьями, выглядывая изъ-за куста на диковиннаго бурмистра, подумалъ, что это мышь, а потому не утерпѣлъ и бросился туда въ одинъ прыжокъ: всѣ звѣри со страху попадали, никто на ногахъ не устоялъ, —думали, что пришелъ послѣдній часъ ихъ; вскочивъ, пустились они бѣжать всѣ безъ оглядки и очистили весь лѣсъ, гдѣ поселилась лиса со своимъ бурмистромъ; ей сдѣлалось спокойно и просторно и охотиться привольно. Такимъ-то образомъ хитрая лиса, взявъ себѣ на хлѣбы дряхлаго, неспособнаго кота, закинутаго мужикомъ, напугала и выжила имъ изъ лѣсу всѣхъ звѣрей.»

— Настоящая охотничья сказка, — замѣтилъ четвертый товарищъ, за которымъ теперь стояла очередь:—волки да медвѣди! А я скажу вамъ теперь побасенку про жида.

«Шелъ мужикъ дорогой, и нагоняетъ его еврей:

«— Здравствуй, мужичекъ!

«— Здорово!

«— А куда ты идешь?

«— Иду впередъ, видишь.

«— Ну и я туда иду, такъ пойдемъ вмѣстѣ, покуда по пути.

«— Пойдемъ.

«Пошли стороной, подлѣ дороги, и дошли до канавки. Еврей перескочилъ, у него изъ-за пазухи и выпалъ кошелекъ съ деньгами, а мужикъ подхватилъ его скоро да и самъ перескочилъ. Жидъ тотчасъ спохватился и проситъ мужика:

«— Ну, ты хорошій человѣкъ, это все я знаю; однако, пожалуйста, отдай мнѣ кошелекъ.

«— Какой?

«— Да ты поднялъ его, я видѣлъ.

«— Нѣтъ, врешь.

«— Ну дай же, я тебя обыщу.

«— Нѣтъ, не дамъ.

«— Ну такъ полно шутить, отдай деньги.

«— Я тебѣ говорю, что денегъ твоихъ не бралъ и не видалъ.

«Жидъ долго усовѣщевалъ мужика и наконецъ просилъ воротиться опять на то мѣсто, гдѣ онъ обронилъ деньги. Тутъ онъ, стараясь напомнить мужику, какъ что было, показалъ ему на дѣлѣ: какъ онъ шелъ впереди, какъ дошелъ до канавы, какъ собралъ полы халата въ руки, перескочилъ, деньги выпали,—потомъ заставилъ мужика прыгать, требуя, чтобъ онъ показалъ, какъ онъ нагнулся и поднялъ деньги; но мужикъ отказался, говоритъ:

«— Я денегъ твоихъ не видалъ и примѣра такого небывалаго показывать не хочу.

«— Коли такъ, говоритъ жидъ:—то пойдемъ къ пану; пусть онъ насъ разсудитъ.

«— Пожалуй, пойдемъ.

«Идутъ и все дорогою спорятъ. Вотъ жидъ и спрашиваетъ.

«— Ну, добрый человѣкъ, скажи жь мнѣ правду, когда будемъ мы передъ паномъ стоять, что ты будешь говорить?

«— А извѣстно, все то же, что денегъ твоихъ не видалъ.

«— Нѣтъ, сердце мое, ты говори такъ, какъ я буду говорить.

«— А ты какъ будешь говорить?

«— А вотъ какъ, говори ты за мною: шли мы двохъ по дорогѣ.

«— Шли мы двохъ по дорогѣ.

«— Дошли мы двохъ до канавы.

«— Ну, дошли мы двохъ до канавы.

«— Я черезъ канаву скокъ.

«— Я черезъ канаву скокъ.

«— Кошелекъ съ деньгами въ канаву покъ.

«— Кошелекъ съ деньгами въ канаву покъ.

«— А ты хапъ!

«— А ты хапъ!

«— Нѣтъ, постой, сердце, спохватился жидъ:—не такъ—ты говори: а я хапъ!

«— Да коли ты самъ признаешься, что ты хапнулъ его, сказалъ мужикъ:—такъ намъ и толковать больше съ тобой не о чемъ.

«— Нѣтъ сердце мое, добрый ты человѣкъ, вотъ на, я тебѣ дамъ на чарочку пятакъ, только говори по правдѣ: когда я скажу—*ты*, то ты говори:—*я*; а коли я скажу—*я*, то ты говори—*ты*.

«— Я и то говорю: ты говоришь, что я поднялъ кошелекъ, а я говорю, что ты.

«— Нѣтъ, полно шутить, говори же такъ на себя.

«Мужикъ взялъ пятакъ и переговорилъ слѣдомъ за

евреемъ все, какъ тому хотѣлось; тогда еврей успокоился, повторилъ дорогой еще разъ урокъ этотъ и просилъ только, чтобы мужикъ не забылъ этого и также точно говорилъ передъ паномъ. Идутъ дальше, и жидъ все то же опять твердитъ мужику, а какъ этотъ только заупрямится и не хочетъ говорить по немъ, то жидъ ему даетъ пятакъ; такимъ образомъ, покуда дошли они до пана, онъ ему передавалъ до десятка пятаковъ и былъ доволенъ, что глупый мужикъ затвердилъ наконецъ урокъ свой и говорилъ за жидомъ, ни въ чемъ не сбиваясь.

«Приходятъ къ пану, начали судиться. Мужикъ отпирается, говоритъ только, что денегъ жидовскихъ не видалъ (это была правда, потому что онѣ были въ кошелькѣ, и онъ точно ихъ не видалъ, а видѣлъ и поднялъ съ деньгами кошелекъ). Жидъ говоритъ:

«— Пане вельмозный! какъ шли мы до вашей мосьци, то онъ мнѣ самъ признавался. Вотъ пусть паночекъ позволитъ, я самъ стану спрашивать его: онъ добрый человѣкъ, все скажетъ, а вы только слушайте. Ну, говори, сердце, за мною, какъ говорилъ дорогой: шли мы по дорогѣ, дошли мы до канавы, я черезъ канаву скокъ, кошелекъ съ деньгами покъ, а ты хапъ!

«— Нѣтъ, я денегъ твоихъ и не видалъ.

«— Вотъ видишь, какой же ты невѣрный человѣкъ: передъ паномъ не хочешь такъ говорить, какъ говорилъ дорогой... Позвольте, паночекъ, я съ нимъ выду въ сѣни, потолкую: онъ, глупый человѣкъ, забылъ, какъ говорилъ прежде.

«Вышли, а панъ сталъ въ дверяхъ и слушаетъ, что они будутъ говорить. Жидъ сталъ попрекать мужика, зачѣмъ онъ его обманулъ.

«— Я тебѣ дорогою передавалъ сколько пятаковъ, чтобы ты помнилъ хорошенько, какъ надо говорить, а ты опять свое. За что же я тебѣ давалъ деньги?

На, возьми, вотъ тебѣ еще, только смотри, говори за мною вѣрно, хорошенько; какъ я тебя училъ, да также говори передъ паномъ...

«Услыхавъ это, панъ вдругъ растворилъ дверь, прибилъ жида за то, что учитъ глупаго мужика на себя самого наговаривать напраслину, и выгналъ ихъ обоихъ вонъ.»

Пятый товарищъ, полевой атаманъ, который также бывалъ въ Литвѣ, взялся разсказать небыль о евреѣ на соснѣ и о зайцахъ.

«Въ одномъ мѣстечкѣ было набито биткомъ столько жидовъ, что они ужъ, какъ говорится, сѣли другъ на друга, и не было имъ одному отъ другого житья: проѣзжаго, бывало, чуть не разорвутъ на клочки, потому что всѣ голодны, каждому надо поживиться; на базарѣ, коли что дешево, съ бою берутъ, другъ передъ другомъ, такъ что бѣдному мужику страшно подступиться — разорвутъ какъ собаки, и не будешь знать послѣ, на комъ искать. Вотъ одному еврею понадобилось купить кое-что, онъ и поѣхалъ на торгъ въ ближнее селеніе, надѣясь тамъ достать что нужно подешевле. Пріѣхалъ, закупилъ соли, масла, свѣчъ, нитокъ, иголокъ, наперстковъ и отправился вечеромъ домой; а пора была осенняя и ночи темныя. Между тѣмъ, сталъ онъ заботиться, что долго промѣшкалъ и домашніе его будутъ по немъ безпокоиться; сталъ онъ также шибко побаиваться самъ, чтобы въ лѣсу чего съ нимъ не случилось; гналъ клячу свою и чуть не загналъ вовсе, потому что дороги были плохи, а возъ тяжелый, да еще къ тому онъ заѣхалъ ночью на такую раздорожицу, которой не могъ признать впотьмахъ и не зналъ куда ѣхать; лошадь же онъ замучилъ и задергалъ такъ, что и она сбилась, тогда какъ сама, вѣрно, дошла бы хорошо. Думалъ онъ, думалъ, бился, бился, а пришлось одному ночевать въ непогодь въ лѣсу. Вотъ онъ

слѣзъ съ воза, выпрягъ и привязалъ лошадь, давъ ей корму, а самъ разсудилъ, что ему ночевать у воза опасно: коли недобрые люди набѣгутъ, то убьютъ непремѣнно, ни за грошъ; поэтому онъ повозку и лошадь покинулъ, выбралъ въ сторонѣ такую сосну, на которую бы можно было взлѣсть, и, ободравшись весь, взобрался подъ самый вершокъ сосны этой и сидитъ, радуясь безопасному притону своему, а самъ все смотритъ внизъ, на повозку и лошадь, что-то тамъ дѣлается; но темь стоитъ такая, что не видать низги, и путникъ отдался на волю Божью.

«Вдругъ еврей слышитъ вдали протяжный крикъ, будто кто въ лѣсу аукается, и крикъ этотъ приближается къ нему съ разныхъ сторонъ. Сперва было онъ очень испугался, думая, что это непремѣнно какая-нибудь шайка воровская, вышедшая его искать; но когда крикъ приблизился, то бѣдный жидъ, дрожа отъ страха, вдругъ узналъ, какъ ему показалось, голоса своихъ любезныхъ дѣтей: «такъ и есть, — говорилъ онъ, — такъ и есть, они, бѣдненькіе, захлопотались безъ меня, что я больно промѣшкалъ, и теперь, видно, Сузька моя вывела ихъ всѣхъ въ лѣсъ меня искать; такъ, я слышу, это голосокъ моего маленькаго Шмуля, а это моя Хаичка... «Здѣсь, здѣсь!» началъ еврей подавать голосъ надсѣдаясь; а тѣ продолжаютъ себѣ кричать, то приближаясь, то опять удаляясь, будто его и не слышатъ. Еврей выходитъ изъ себя, во все горло кричитъ и аукаетъ, не постигая, отчего вся семья его оглохла; а между тѣмъ, это перекликивались зайцы, зычно покрикивая человѣческимъ голосомъ, чего еврей мой дотолѣ отъ роду не слыхалъ; и чѣмъ поперемѣнно зайцы то подбѣгали ближе, то дальше, тѣмъ онъ больше выходилъ изъ себя, кричалъ во все горло, что онъ здѣсь; то спускался въ полдерева, то опять подымался, опасаясь слѣзть вовсе и стараясь

разсмотрѣть что-нибудь впотьмахъ. Онъ до того докричался и добѣсился, ругая домашнихъ своихъ, которые ходятъ вокругъ, а на крикъ его не отзываются, что со свѣтомъ слѣзъ съ дерева промокшій, ободранный, осипшій, усталый и совсѣмъ больной: онъ рѣшительно выбился изъ силъ. Къ разсвѣту, само собою разумѣется, вся семья его исчезла, и онъ опять остался въ лѣсу одинъ.

«Впрягши лошадь, онъ все еще не могъ опознаться и долго плуталъ по лѣсу, покуда наконецъ встрѣчный крестьянинъ не указалъ ему дороги. Пріѣхавъ домой и позвавъ всѣхъ, чтобъ переносить въ корчму покупки, онъ грозно на нихъ напустился: «какіе вы, говоритъ, дураки, вышли меня искать — ну, и спасибо вамъ за это—такъ зачѣмъ же вы не слушали моего голоса? Я вамъ отвѣчалъ, кричалъ, кричалъ — вотъ, совсѣмъ охрипъ и говорить даже не могу, и грудь болитъ. Теперь лишній расходъ — надо пить шалфей!»

«Домашніе всѣ смотрятъ на него какъ на шальнаго и наконецъ уже, когда сошлись также сторонніе и евреи показалъ, какъ именно жена и дѣтки его кричали, дѣло объяснилось, и тогда его засмѣяли, такъ что онъ сидѣлъ дома съ недѣлю, пилъ шалфей и никуда не смѣлъ показать глазъ. Долго еще дразнили и сердили его, спрашивая: «а каково поживаютъ твои дѣти въ лѣсу?»

— Хороша твоя сказка, сказалъ одинъ изъ товарищей: — теперь кругъ обошелъ всѣхъ; а между тѣмъ все-таки еще одинъ собесѣдникъ остался и за нимъ сказка: — что ты чужому смѣху смѣешься, — сказалъ онъ, обратясь къ хозяину избы, который подошелъ въ продолженіе разсказовъ, присѣлъ и слушалъ.—А ты найди свой да и смѣйся. Ну, говори что-нибудь,—мы слушаемъ.

Хозяинъ пожался и почесался немного, оттоваривaясь незнаніемъ сказокъ и былей, но потомъ сказалъ:

— Вѣдь у насъ хорошихъ сказокъ нѣтъ: простыя все, мужицкія; вотъ, напримѣръ, какъ портной съ волка мѣрку сымалъ. Коли не осудите, такъ, пожалуй, такую разсказать можно.

— Говори. Какая есть, такую подавай!

«Портной, который ходилъ по деревнямъ и обшивалъ людей, пошелъ, куда ему надо было, въ сосѣднюю деревню, и въ лѣсу встрѣтилъ волка. Для портного это дѣло непривычное и страшное, а потому, когда волкъ сказалъ ему: «теперь ложись, я тебя съѣмъ», то бѣднякъ сталъ отмаливаться; а когда волкъ не прощалъ его и хотѣлъ было ужь начать, безъ всякаго милосердія, не позволяя ему даже напередъ Богу помолиться и проститься съ родными, то портной сталъ увѣрять, что ему мѣста не будетъ въ волчьей требушинѣ, заспорилъ объ этомъ съ волкомъ и выпросилъ себѣ одну милость: чтобъ волкъ позволилъ снять съ себя мѣрку, можно ли будетъ портному въ немъ помѣститься.

«— Ну, мѣряй,—сказалъ волкъ:—да поскорѣй!

«Портной выхватилъ изъ кармана мѣрку, прикинулъ на волка, а самъ, протянувъ руку къ заду, вдругъ замоталъ себѣ волчій хвостъ на руку да, доставъ изъза пазухи утюгъ, давай волка утюжить. Тотъ рвался долго, но не могъ вырваться, и видитъ, что смерть его пришла.

«— Постой, говоритъ:—помилуй, и я у тебя одной милости прошу: возьми хвостъ мой, коли онъ тебѣ нуженъ, да ужь меня-то отпусти. Я не трону тебя, убѣгу.

«Портной досталъ ножницы, отстригъ волку хвостъ по самую рѣпицу и говоритъ:

«— Пошелъ на всѣ четыре стороны!

«Такъ портной снялъ мѣрку съ волка, проутюжилъ его и откроилъ ему хвостъ.

«Волкъ побѣжалъ, но вскорѣ страшно завылъ и собралъ вокругъ себя сходку. Пришло волковъ болѣе десятка. Когда онъ разсказалъ имъ, что портной сдѣлалъ надъ нимъ, какъ обманулъ его и опозорилъ, то они рѣшили изорвать и съѣсть этого портного и стали его догонять и окружать. Видя такую новую бѣду, портной взлѣзъ на ель, сидитъ и глядитъ на волковъ и не знаетъ, что дѣлать. Волки же, посовѣтовавшись между собой, сказали: «Давай доставать его. Становись ты, куцый, первый, а мы по одному горкой на тебя, такъ и доберемся до него.»

«Портной глядитъ — подмостились они и полѣзли одинъ на другаго, и ужь близко—близко къ нему подбираются. Вотъ онъ, испугавшись, не зная что дѣлать, гляпулъ внизъ и говоритъ: «Ну, лѣзьте, лѣзьте; а ужь никому такъ не достанется, какъ куцому!»

«Куцый, какъ только услышалъ это, выскочилъ изъ подъ низу, и вся горка разсыпалась, и половина волковъ перебилась, прочіе разбѣжались, а портной благополучно ушелъ.»

— Вотъ острастка то ину пору и дороже побоевъ живетъ, покончилъ мужикъ; а собесѣдники, посмѣясь выдумкѣ этой, вскорѣ улеглись и на утро возвратились домой.

НАПРАСЛИНА

Давно когда-то, говорятъ, жилъ баринъ въ деревенькѣ своей, какъ водится, а еще болѣе какъ водилось, съ огромной дворней. Дворня эта съѣдала его совсѣмъ, да дѣлать было нечего—дѣвать ее некуда: не сгонишь. Она досталась ему въ наслѣдство съ четырехсотъ душъ, распавшихся на шесть или на семь частей, по числу наслѣдниковъ. Онъ былъ очень недоволенъ раздѣломъ: ему достались очень плохенькіе мужички и разбойникъ на разбойникѣ изъ дворовыхъ. Пытался было онъ и переводить ихъ на пашню и отпускать на оброкъ, да какъ-то не ладилось и это: дармоѣды всѣ опять сбивались въ кучу въ огромной застольной, выстроенной когда-то на сто человѣкъ дворни малыхъ и великихъ, съ русскою печью величиною въ скирду сѣна. Все это сердило помѣщика, выводило его изъ терпѣнія, и, правду сказать, желчь у него частенько черезъ мѣру разливалась. Онъ привыкъ, по стародавнему обычаю, къ короткой расправѣ и, къ сожалѣнію, не зналъ въ ней мѣры и не умѣлъ безъ нея управиться.

Въ домѣ былъ кучеръ, уже въ лѣтахъ, съ тремя сыновьями. Этотъ кучеръ, пользуясь старшинствомъ своимъ, какъ бывшій кучеръ стараго барина, а равно

и дурною славою своею, которая говорила, что онъ-де у барина отъ рукъ отбился, бунтовалъ и подымалъ всю дворню, молодцуя нахальствомъ своимъ и нерѣдко угрозами такого рода, которыя доставляли ему полное уваженіе всей застольной братіи. Онъ, и пьяный и трезвый, всегда толковалъ о томъ только, что баринъ этотъ никуда не годится и что ему не сдобровать.

Младшій сынъ кучера, мальчикъ, слабый здоровьемъ и испорченный такимъ отцомъ съ самаго корня, однажды провинился. Баринъ былъ очень сердитъ и наказалъ его, вымѣстивъ при этомъ случаѣ, можетъ быть, на сынѣ и отцовскіе успѣхи. Дѣло было не новое, и никто много объ этомъ не заботился, кромѣ отца, кучера, который, продумавъ до вечера, выдумалъ неслыханное и невиданое доселѣ средство, чтобы показать или утолить—не знаю, какъ и выразиться—свою родительскую любовь; онъ позвалъ надежныхъ помощниковъ и подручниковъ своихъ, двухъ старшихъ сыновей, и сказалъ имъ: «пойдемте-ка, ребята, да задушимъ Ѳедьку—то есть младшаго сына—что ужь,пусть пропадаетъ, все одно; онъ же мальчикъ хилый, жалѣть его нечего—вы двое у меня останетесь. А задушивъ его, въ городъ, да и донесемъ, что засѣкъ его баринъ; вотъ мы ему и всучимъ такую щетинку, что онъ во вѣкъ не раздѣлается.»

Насталъ вечеръ. Видно, старшіе сыновья нашли предложеніе отца очень дѣльнымъ. Всѣ трое выждали время послѣ ужина, когда никого въ избѣ не было, и порѣшили Ѳедьку.... А сдѣлавъ дѣло, подняли всю дворню, всю деревню, которая ждала только случая, чтобы гласно обнаружить нерасположеніе свое къ помѣщику, и поскакали въ городъ. Судъ тотчасъ же наѣхалъ. Улика на лицо и такъ ясна, что не въ чемъ сомнѣваться. Барина увезли, продержали нѣсколько мѣсяцевъ, судили и сослали.

Конечно, барина нѣтъ. Никто доселѣ не зналъ правды, кромѣ кучера и двухъ сыновей его. Всѣ они трое верховодили теперь, когда имѣніе попало подъ опеку, пуще прежняго и пили безъ просыпу; но никто изъ нихъ, даже пьяный, не проговаривался, не смѣя похвалиться поступкомъ своимъ, какъ водится въ другихъ случаяхъ, даже и предъ своими братьями; дѣло, конечно, выходило изъ ряду вонъ. Злодѣйству этому едвали можно найти противень.

Настала лѣтняя пора, когда все идетъ на работу, кромѣ малыхъ и старыхъ, когда и лѣнивому не посидится дома и пьяницѣ скучно и стыдно одному на деревнѣ. Дворъ нашего сосланнаго помѣщика былъ такъ же пустъ, какъ и вся деревня. Одинъ изъ зажиточныхъ крестьянъ сдѣлалъ у себя для покосу помочь, купивъ ведра два вина, и, кто только могъ держать въ рукахъ косу, всѣ были тамъ.

На порогѣ крыльца знакомой намъ застольной сидѣла одна-одинехонька дѣвочка лѣтъ семи. Она жевала покинутый ей огромный сукрой хлѣба и кормила куръ и цыплятъ, покрывавшихъ всѣ ступени крыльца. Все было тихо. На улицахъ послышался стукъ телѣги, которая остановилась у воротъ; а здоровый мужикъ, въ круглой шляпѣ съ высокой тульей и пережабиной на ней, вошелъ на дворъ, оглянулся и подошелъ прямо къ дѣвочкѣ. Это былъ коробейникъ, разнощикъ, который уже нѣсколько лѣтъ сряду заѣзжалъ на перепутьѣ въ эту деревню и приставалъ на барскомъ дворѣ у старой ключницы, съ которой у него было давнишнее знакомство и которой внучка теперь сидѣла на порогѣ.

— Здорово, Анютка!—сказалъ онъ, подходя къ ней:—здорово! Что у васъ никого не видать?

— Да на покосѣ.

— А бабушка гдѣ?

— И бабушка на покосѣ, и ее потчивать станутъ виномъ.

— А, вотъ какъ! Ну, что жь у васъ дѣлается? Всѣ здоровы?

— Здоровы.

— А что жь у васъ въ барской усадьбѣ ставни-то закрыты?

— Да барина нѣтъ, вишь, давно.

— А гдѣ жь онъ?

— Въ городъ взяли.

— Какъ взяли? зачѣмъ?

— Да дѣдушка Андрей (т. е. кучеръ) задавилъ, вишь, дядю Ѳедора—ужь тотъ молился, молился имъ—вотъ и задавилъ.

Коробейникъ, глядя на ребенка, хотѣлъ былъ разсмѣяться на эту болтовню, однако спросилъ прежде:

— Да гдѣ же дядя Ѳедоръ?

— Померъ, къ Богу ушелъ, унесли,—отвѣчалъ ребенокъ.

Все это показалось коробейнику очень дико и несвязно, а, между тѣмъ, онъ зналъ, что ребенокъ этотъ не глупъ и всего этого самъ не придумаетъ. Пріѣзжій сталъ ее разспрашивать, отъ нечего дѣлать, и дѣвочка разсказала, что я-де сидѣла на печи въ застольной, а дядя Ѳедоръ лежалъ на лавкѣ, а дѣдушка Андрей пришелъ съ Иваномъ и Кирилой (т. е. со старшими сыновьями); дѣдушка Андрей и насѣлъ на дядю Ѳедора, и всѣ они налегли. Ужь дядя Ѳедоръ молился имъ, молился,—нѣтъ! задавили; а я испугалась, да молчу все, да такъ на печи до утра и проспѣла. Вотъ и померъ дядя Ѳедоръ.... А барина за это взяли въ судъ, да вотъ и нѣтъ его.

Коробейнику какъ-то стало страшно. Не добившись толку, но зная, что дѣдушка Андрей былъ истинный разбойникъ, онъ почуялъ недоброе—снялъ

шляпу, перекрестился, не велѣлъ дѣвочкѣ никому сказывать, что онъ былъ, и поѣхалъ прямо дальше, въ городъ, до котораго всего было верстъ десятокъ.

Въ городѣ у разнощика былъ издавна знакомый дворникъ или содержатель постоялаго двора. Приставъ у него, онъ вечеромъ присѣлъ съ нимъ на особицу и сталъ распрашивать, что такое сдѣлалось въ такой-то деревнѣ. Хозяинъ разсказалъ ему, что помѣщика за то и то сослали. Тогда разнощикъ понялъ все и ужаснулся. Въ страхѣ онъ пересказалъ слышанное отъ дѣвочки хозяину и просилъ его объ этомъ не говорить. Но хозяинъ былъ умнѣе своего постояльца и вскочилъ съ лавки, когда все это услышалъ.

— Избави Богъ!—сказалъ онъ:—что ты со мною дѣлаешь?.... Да я тебя и держать не стану ни одного часу: я такой бѣды съ тобой наживу, что и не раздѣлаешься! Нѣтъ, любезный пріятель, власть твоя, продолжалъ онъ, ухвативъ поясъ и шапку:—а ты иди со мной тотчасъ къ начальству, да тамъ объявимъ все; а не то, гляди, какая бѣда прикинется!

Нечего дѣлать нашему коробейнику; вздохнувъ тяжело и проклиная судьбу, которая занесла его не въ добрый часъ въ деревушку, онъ пошелъ за хозяиномъ. Съ нихъ сняли допросъ, отправились въ деревню, захватили врасплохъ пьянаго кучера съ сыновьями, дали имъ выспаться, заперши ихъ всѣхъ порознь, и, послѣ продолжительнаго запирательства, одинъ изъ сыновей сбился, тамъ сознался во всемъ, а тамъ уличили и другихъ, отца его и брата.

Помѣщика воротили изъ ссылки, а кучера съ двумя сыновьями отправили на его мѣсто.

ОСКОЛОКЪ ЛЬДУ

Четырнадцатилѣтняя казачка Марья Чернушкина, Красногорской крѣпости на Оренбургской линіи, выгоняла въ поле телятъ. Еще солнце не взошло, но пожелклая трава была суха, какъ пыль, на нее не пало за ночь ни росинки. Помахивая хворостинкой, Маша напѣвала пѣсенку и спускалась подъ гору къ мостику, какъ сбоку, изъ оврага, внезапно на нее наскакали верхами два человѣка дикаго вида, съ длинными копьями въ рукахъ, въ лохмотьяхъ, въ мохнатыхъ шапкахъ. Они кинулись на нее украдкой, безъ всякаго шума, и почти не говоря ни слова, а только свирѣпо пригаживая, схватили ее, приподняли поспѣшно съ земли, перевалили черезъ лошадь, поперекъ сѣдла, и поскакали въ сторону. Бывало одно слово: *Киргизы!* пугало ребенка Машу такъ, что она забивалась въ самый задній уголъ на печи, особенно съ тѣхъ поръ, какъ въ станицу привезли трупъ старшаго брата ея, казака, убитаго въ стычкѣ съ киргизами; тогда все женское населеніе станицы выбѣжало съ воплемъ на встрѣчу покойнику и Маша отъ испуга дрожала нѣсколько дней и не могла спать по ночамъ;—а теперь она сама была у нихъ въ рукахъ! Она обезпамятѣла, но вскорѣ опять пришла въ себя, закричала и забилась на лошади изо

всѣхъ силъ, когда ей, какъ спросонья, показалось, будто ее кинули въ воду: въ самомъ дѣлѣ вокругъ нея шумѣла вода и передъ собою она видѣла только бурную пѣну; вода неслась быстрымъ потокомъ подъ ногами лошади, и будто уносила ее съ собою: у Маши закружилась голова и сердце обмерло, она рѣзко взвизгнула и, сама не зная, что дѣлать, хотѣла вырваться: это была переправа вбродъ черезъ Уралъ. Киргизъ ударилъ ее раза два, чтобы угомонить и удержать на лошади, но она такъ сильно рванулась, что упала въ быстрый потокъ. Невольно стала грести руками и выплыла на ближайшій азіатскій берегъ. Но и тутъ ей не было никакого спасенія; слѣдя за нею, воры уже успѣли выѣхать на берегъ, соскочили съ лошадей и спокойно ожидали добычу свою, которая не могла ихъ миновать: имъ стоило только протянуть руки къ идущей на встрѣчу добычѣ. Въ изнеможеніи Маша отдалась имъ опять; они посадили ее на заводную лошадь, связали ей ноги подъ брюхомъ лошади и потащили ее крупною рысью за собою.

Солнце уже взошло и вскорѣ обсушило Машу. Верстъ 70 проѣхали воры въ глубь степи почти въ одинъ духъ, и она до того утомилась и измучилась, что чувства и понятія ея притупѣли и она почти обезпамятѣла отъ скорби, боли, жажды и усталости. Въ крутомъ оврагѣ воры остановились, дали плѣнницѣ своей испить воды, убѣдившись сперва, по сродной имъ предосторожности, что она нѣсколько отдохнула, и дали ей немного круту (сыру). Она съ жадностію пила, но ѣсть не стала, уснула и съ воплемъ пробудилась, когда послѣ недолгаго отдыха и забытья пришла опять въ себя и постигла отчаянное положеніе свое.

Такъ или почти такъ прошла цѣлая недѣля, въ большихъ и малыхъ переѣздахъ и роздыхахъ. Нако-

нецъ, разбойники прибыли въ свой аулъ, кочевавшій на песчаномъ кара-кумѣ, по близости рѣки Сыра, гдѣ все населеніе осматривало бѣдную Машу кругомъ и со всѣхъ сторонъ, любуясь *марджой*, то есть плѣнной русской женщиной, и оцѣняя на глазъ, чего она стоитъ и сколько можно будетъ за нее получить. Здѣсь продержали ее нѣсколько недѣль, заставляя пахтать кумысъ или прясть верблюжью шерсть и обращаясь, впрочемъ, съ плѣнницей довольно ласково. Особено полюбила ее молодая, бойкая дѣвка, въ кованыхъ остроносыхъ сапогахъ и остроконечной шапкѣ съ перьями; дѣвка эта приходила по нѣсколько разъ въ день присматривать за Машей, заговаривала съ нею, стараясь ее развеселить, и даже отстаивала ее противъ выходокъ злой старухи, хотѣвшей заставить плѣнницу, молоденькую дѣвчонку, выминать въ рукахъ сыромятную кожу.

Подошли чушмекейцы съ караваномъ, который шелъ въ Бухару, нѣкоторые изъ старыхъ извозчиковъ прибыли въ аулъ, гдѣ находилась плѣнница, для смѣны заболѣвшихъ или ослабѣвшихъ верблюдовъ, и, услышавъ, что тутъ есть свѣжая русская плѣнница, стали объ ней освѣдомляться: хозяевамъ представлялся случай выгодно сбыть ее. *Марджа! Марджа!* раздалось по всему аулу—и Маша, зная уже новое названіе свое, переиначенное, впрочемъ, изъ имени ея и многихъ землячекъ ея, — Маша вышла изъ кибитки и оглянулась: къ ней шелъ хозяинъ ея съ тремя посторонними, въ числѣ коихъ былъ одинъ изъ прибывшихъ съ караваномъ бухарецъ, въ пестромъ халатѣ и чалмѣ. Купецъ осмотрѣлъ Машу, пошутилъ даже съ нею, зная нѣсколько словъ по-русски, уговаривалъ ее не горевать, а просить хозяина, чтобы онъ продалъ ее въ Бухару, гдѣ ей будетъ жить хорошо, привольно и весело, не такъ, какъ у этихъ степныхъ, необразо-

ванныхъ мужиковъ; затѣмъ онъ старался приласкать ее, потрепалъ по щекѣ и сталъ бить съ хозяиномъ ея по рукамъ. Это длилось нѣсколько времени, а Маша стояла молча и смотрѣла: хозяинъ ея, назначивъ цѣну, скидывалъ по-временамъ что-нибудь или повторялъ одно и то же, а купецъ набавлялъ или также кричалъ свое, и каждый разъ били они рукой объ руку, перетолкивая при томъ Машу, въ горячности свой, какъ продажнаго барана, то на ту, то на другую сторону. Этимъ каждый изъ нихъ выражалъ окончательную волю или намѣреніе покончить дѣло на своемъ словѣ. Наконецъ дѣло сладилось; купецъ развязалъ поясъ, расплатился и, кивнувъ рукой, позвалъ Машу за собой. Какъ неживая, она послѣдовала за нимъ; молодая киргизка побѣжала за нею слѣдомъ, обняла ее и подарила ей, за большую рѣдкость, простую, большую булавку, которою чрезвычайно дорожила. Лучшаго подарка у нея не было, и не скоро, можетъ быть она опять достала подобную рѣдкость.

Недѣли двѣ качалась Маша на верблюдѣ, плакала и тосковала и опять повременамъ прояснялась, не зная чего-то ей ждать, что сулитъ ей будущность; быть захваченной въ плѣнъ киргизами, очутиться на Сырѣ, потомъ быть перепроданною бухарцу и на пути въ басурманскую столицу—обо всемъ этомъ она слышала, конечно, въ разсказахъ о другихъ, но къ себѣ разсказовъ этихъ не примѣняла, себѣ судьбы такой не ждала. А ей всего только былъ 15-й годокъ—а отца и мать покинула она, вѣроятно, навсегда и непростившись даже съ ними, погнавъ спокойно буренушку свою въ поле и полагая свидѣться съ ними черезъ полчаса... Теперь, голая, однообразная и сухая степь разстилалась передъ нею во всѣ стороны до безконечности, все наводило тоску—а съ родиной простилась она на вѣкъ! Около недѣли спустя послѣ переправы

черезъ большую рѣку, за которою слѣдовала вовсе безводная степь на четыре дня ходу, мѣста становились болѣе жилыми, начали попадаться обработанныя поля, сады, окруженные глинобитными стѣнами, земляники или земляныя лачуги. Издали появилось что-то въ родѣ стѣнъ или земляной насыпи, съ остроконечной башней, которая, среди гладкой и пустынной мѣстности, казалась довольно высокою. Всѣ пали на землю и стали молиться—это была Бухара-и-Шерифъ.

Въ тотъ же день вечеромъ, Маша была представлена эмиру или хану бухарскому, которому купецъ поднесъ ее *изъ чести*, какъ пешкешъ, подарокъ или приношеніе изъ дальней стороны. Ханъ, сидя на коврѣ съ четками въ рукахъ, окинулъ ее глазами и приказалъ передать въ вѣдѣніе старухи, также русской плѣнницы. Эта старуха, управляя уполовникомъ вмѣсто атаманской булавы или шестопера, несмотря на униженное положеніе свое, умѣла держать всю дворню ханскую въ безусловной подчиненности; *сарты и таджики* смѣялись выходкамъ ея и повелительнымъ пріемамъ, но слушались ее; она готовила пловъ и баранину на самого эмира и потому не только смѣняла часовыхъ подъ воротами ханскаго замка по своему произволу, но распоряжалась нерѣдко и на ханскомъ пушечномъ дворѣ, и ясаулы хотя и перебранивались съ нею повременамъ, но никогда не рѣшались отмѣнять ея распоряженій.

Мало-по-малу Маша стала привыкать къ своему довольно сносному, впрочемъ, положенію; умная, ловкая и проворная, она пріобрѣла напередъ благоволеніе этой непосредственной начальницы своей и поступила подъ особенное ея покровительство; вскорѣ, и не искавъ того, вошла въ довѣренность къ младшимъ женамъ ханскимъ и носила отъ нихъ продавать на базаръ *тюбетейки* и другія бездѣлушки ихъ рукодѣлья,

выручая за это нѣсколько *танеи* на шелкъ, лоскутья и иглы, которыми жены ханскія коротали взаперти прескучное время. Состоя во дворцѣ на побѣгушкахъ, Марья ознакомилась со всѣми жильцами его, а равно съ обычаями и всѣмъ мѣстнымъ бытомъ. Глядя на женъ ханскихъ, сидѣвшихъ десятками въ самомъ строгомъ заключеніи, Маша Чернушкина, по русскимъ понятіямъ своимъ, смотрѣла на нихъ съ сожалѣніемъ и не промѣняла бы на нихъ судьбу даже и свою. Эмиръ самъ зналъ ее, потому что она иногда ему прислуживала, былъ къ ней довольно ласковъ и, захворавъ однажды, заставилъ ее сидѣть при себѣ всю ночь; онъ былъ человѣкъ хилый, изможденный, и у него вообще былъ обычай—держать вокругъ себя, во время частой болѣзни, одну только женскую прислугу. Марья, какъ смѣтливая и услужливая хожалка, ему полюбилась, и съ тѣхъ поръ онъ не отпускалъ ее отъ себя ни на шагъ, когда бывалъ нездоровъ; а это случалось съ нимъ сплошь и рядомъ. Онъ къ ней привыкъ, и никто не могъ услужить больному, брюзгливому эмиру лучше Маши.

Время шло однообразно; Машѣ исполнилось уже 17 лѣтъ, а старый и хилый ханъ былъ, такъ сказать, ея оберегателемъ; какъ ханская невольница, была она для всѣхъ недотрогой, ея боялись и уважали; но многіе ждали, не пожалуетъ ли имъ ханъ Марью въ невольницы же за какую нибудь услугу. Старостиха или стряпуха, съ своей стороны, прочила ее за какого-то любимца своего, пушкаря, также изъ русскихъ, который очень старался Машѣ во всемъ угождать. Вслѣдствіе этого, стряпуха приняла бѣдную Машу еще ближе подъ свой надзоръ и покровительство, оберегая ее отъ всякихъ обидъ и искательствъ; и грозный уполовникъ ея не разъ обрушался всею тяжестію своею на задорныя головы покорныхъ рабовъ

и храбрыхъ работниковъ ханскихъ, при малѣйшемъ посягательствѣ ихъ на добрую славу хорошенькой, живой и умной дѣвушки. Ханъ не отказывалъ стрянухѣ своей въ сватовствѣ ея, но и не давалъ положительнаго согласія; старуха подучала Машу воспользоваться первымъ удобнымъ случаемъ и замолвить объ этомъ самой словечко; Маша на это не рѣшалась, ей стыдно было просить себѣ жениха; такъ дѣло это и тянулось, оставаясь до времени нерѣшеннымъ.

Однажды эмиръ опять захворалъ и впалъ въ жестокую горячку. Это было среди знойнаго лѣта. Маша высидѣла при немъ безсмѣнно нѣсколько сутокъ: то держала голову его на своихъ колѣняхъ, то отгоняла мухъ, то подавала пить или обмывала лицо его, то опахивала отъ жара, вертя быстро въ рукѣ своей четвероугольное, плетеное опахало, на деревянной оси или стержнѣ: она устала до изнеможенія, но не смѣла покинуть больного властелина своего, который стоналъ, метался, забывался, опять приходилъ въ себя и все просилъ Машу, чтобъ она его уберегала и выходила: умирать ему не хотѣлось. Разметавшись въ жару, онъ вдругъ отчаянно застоналъ: «горитъ, горитъ во мнѣ! Марджа, достань льду, достань мнѣ сейчасъ же осколокъ льду, и я тебя озолочу!» Маша вскочила и побѣжала, сама не зная; куда и за чѣмъ, потому что въ это время года ледъ въ Бухарѣ принадлежалъ къ необычайнымъ рѣдкостямъ; у кого онъ былъ, тотъ хранилъ и таилъ его, а у хана, жившаго изо дня въ день и притомъ всегда на чужой счетъ, вообще никакихъ запасовъ не водилось. Но Маша бѣжала безъ памяти и слышала только въ сѣняхъ, какъ эмиръ кричалъ еще ей вслѣдъ: «Марджа, льду! Если принесешь, отпущу на волю и выдамъ, за кого пожелаешь!»

Выбѣжавъ изъ воротъ ханскаго замка, Маша кинулась, какъ бѣшеная кошка, на какого-то прохожаго таджика, съ визгомъ и крикомъ вцѣпилась въ него и барахталась изо всѣхъ силъ, между тѣмъ какъ онъ толкалъ ее и старался отъ нея освободиться и уйти. На крикъ сбѣжались люди съ ханскаго двора и старостиха явилась съ уполовникомъ. Маша кричала только: «для хана, для эмира, эмиръ приказалъ!» и силилась вырвать что-то изъ рукъ таджика. Старостиха тотчасъ же отпустила ему по головѣ уполовникомъ полновѣстную нахлобучку и принялась кричать повелительно: «отдай, отдай, для эмира!» Прочіе помогли ей, схватили строптиваго таджика и хотѣли его тащить къ хану на расправу, за ослушаніе; вольно ему дураку было проходить такъ оплошно мимо ханскаго двора, какъ называютъ тамъ эту кучу огороженныхъ землянокъ, притонъ или логовище безсмысленнаго и кровожаднаго звѣря. А Марья, сдѣлавъ свое, давно уже въ это время стояла передъ ханомъ, съ деревянной чашкой, въ которой лежалъ осколокъ льду. Эмиръ жадно лизалъ его высокостепеннымъ языкомъ своимъ и въ удовольствіи и нѣгѣ повторялъ поврeменамъ обѣтъ свой отпустить Машу на волю и пристроить ее, если онъ только выздоровѣетъ.

Подивитесь же Машину счастью: выбѣжавъ безъ ума на улицу, она встрѣтилась носомъ къ носу съ таджикомъ, и этотъ первый, встрѣчный ей человѣкъ, несъ въ чашкѣ осколокъ льду!... Чудесъ, конечно, нѣтъ въ наше время, а дивныя вещи бываютъ: и случай, который я разсказываю, не выдуманъ, а былъ на дѣлѣ.

Эмиръ выздоровѣлъ скоро; черезъ недѣлю онъ уже сидѣлъ на своемъ коврѣ, еще желтѣе и блѣднѣе обыкновеннаго, со впалыми щеками, со ввалившимися, безсмысленными глазами, съ отупѣвшимъ умомъ, но онъ

уже сидѣлъ и почиталъ Машу своей избавительницей. Въ пятницу поѣхалъ онъ верхомъ въ мечеть. У Маши сердце больно билось; она ни съ кѣмъ не смѣла говорить о томъ, что обѣщалъ ей ханъ; но прислуга, стоявшая за войлочными пологами дверей, слышала слова его, и въ цѣломъ глиняномъ замкѣ было всякому извѣстно, что эмиръ обѣщалъ русской плѣнницѣ волю. Явились женихи; ее сватали зажиточные бухарцы, съ условіемъ, чтобы она приняла мусульманство.—Маша, въ отвѣтъ на это, бранилась, затыкала себѣ уши и проклинала ихъ въ глаза; они смѣялись и отходили въ сторону; а старостиха, по данной ей повадкѣ, грозилась на нихъ страшнымъ орудіемъ своимъ; сватался Машу и русскій пушкарь, но и его она не слушала, и тогда старостиха подымала уполовникъ свой на нее; видно, пушкарь сумѣлъ задобрить стряпуху и склонить на свою сторону.

Прошла еще недѣля, насталъ мусульманскій постъ, и эмиръ позвалъ къ себѣ Машу. «Я тебѣ обѣщалъ волю, если ты меня выходишь: ты свободна, выбирай мужа. Вотъ тебѣ десять *тилла* на хозяйство.»

Маша рухнулась ему въ ноги и взвыла. Въ четыре года она выучилась свободно говорить по-татарски, а эмиръ понималъ языкъ, какъ свой. «Пресвѣтлый ханъ, говорила она, не губи меня, когда хочешь сдѣлать добро; вольный идетъ на всѣ четыре стороны: отпусти же меня домой...»

Ханъ насупилъ брови. «Этому не бывать, сказалъ онъ: этого не позволяетъ вѣра наша. Отпускаю тебя на волю, но живи здѣсь.»

«Эмиръ, завопила Маша, у васъ своя вѣра, у насъ своя; передъ Богомъ всякая вѣра хороша, коли она добро творитъ; я молилась за тебя по своему, ты умиралъ, Богъ меня услышалъ, ты теперь здоровъ; не бывать бы этому, еслибъ я молилась по вашему: тогда

бы Богъ меня не услышалъ; тогда бы ты погибъ... воля Его есть на то, чтобы всякій держалъ вѣру своихъ отцовъ! Солнце Востока! что тебѣ въ одной, бѣдной плѣнницѣ? Не найдешь ты развѣ работницъ?— Эмиръ, я не встану—я буду лежать, покуда не прикажешь ясауламъ своимъ убить меня на мѣстѣ за то, что я за тебя молилась, но я не встану; отпусти меня домой!»

Ханъ подумалъ, пожалъ плечами, развелъ руками— ясаулы подскочили было, чтобъ вытащить Машу за дверь, но онъ взглянулъ на нихъ, и они остолбенѣли. Ханъ приказалъ ей удалиться, а къ ночи созвалъ совѣтъ свой козыевъ и улемовъ, и предложилъ имъ на разрѣшеніе вопросъ: можетъ ли онъ домой отпустить плѣнницу эту, давъ, во время болѣзни своей, въ томъ самому себѣ передъ Богомъ святой обѣтъ, потому что онъ былъ въ горячкѣ, сильно страдалъ и не помнилъ, что дѣлалъ? — Онъ просилъ книжниковъ не упустить изъ виду, что плѣнница эта спасла его отъ смерти, что онъ точно внутри сердца своего далъ такой обѣтъ, и наконецъ, что рѣчь идетъ не о человѣкѣ, а о дѣвкѣ. Улемы хотѣли было заняться предварительно рѣшеніемъ вопроса: точно ли эмиръ обязанъ былъ ей своимъ выздоровленіемъ?—Но, какъ ханъ подтвердилъ самымъ положительнымъ образомъ, завѣривъ ханскимъ словомъ своимъ, что безъ нея бы онъ умеръ непремѣнно, то совѣтъ и не могъ болѣе въ томъ сомнѣваться, а потому не только рѣшилъ, что коли Аллаху угодно было послѣ такого обѣта продлить жизнь эмира и даже употребить для сего недостойнымъ орудіемъ своимъ эту куль, рабыню, то и обѣтъ исполнить должно и отпустить Марью можно; но сверхъ того пріискалъ къ тому случаю, какъ водится, для успокоенія высокостепенной совѣсти, приличный стихъ изъ корана, въ которомъ, впрочемъ, рѣчь шла вовсе объ иномъ. Ханъ

повторилъ стихъ этотъ съ благоговѣніемъ нѣсколько разъ, въ тупомъ раздумьѣ своемъ, и успокоился.

Съ послѣднимъ осеннимъ караваномъ веселая и рѣзвая Маша стала собираться въ путь; эмиръ самъ призывалъ къ себѣ караванъ-баша и передалъ плѣнницу на его отвѣтъ. Старостиха была оборотомъ этимъ очень недовольна, она бранилась и грозилась, но на прощанье вспомнила полузабытую родину свою, стала вздыхать и задумываться и вдругъ сдѣлалась, вопреки обычая своего, мягкою и плаксивою. Пушкарь сильно тосковалъ, напослѣдокъ даже плакалъ, какъ ребенокъ, и отдалъ Машѣ на дорогу образокъ своей работы, наказывая ей строго, чтобы она не забыла его дома освятить.

Одна Маша была весела и шаловлива и не помнила себя отъ радости; всѣ трудности пути переносила она шутя. Недѣль черезъ шесть прибыли въ Орскую; тутъ нашла она родного брата на линейной службѣ. Его отпустили домой и на третій день прибылъ онъ съ сестрой въ Красногорье. Трудно было узнать, съ перваго взгляда, въ этой рослой, статной и бойкой дѣвкѣ, четырнадцатилѣтнюю Машу, которая три года пасла на красногорскихъ жителей телятъ. — Вся станица сбѣжалась; восклицанія, рыданія и смѣхъ прерывались только по временамъ звонкимъ чмоканьемъ привѣтственныхъ поцѣлуевъ; пропавшая безъ вѣсти Маша благополучно возвратилась подъ родительскую кровлю! Она хвалилась впослѣдствіи, пересказывая любопытныя свои похожденія, что въ плѣну быть ничуть не страшно, но идти туда вторично не соглашалась.—Между Красногорскими козаками вскорѣ нашелся женихъ, къ которому она была не такъ строга, какъ къ бѣдному пушкарю бухарскаго хана; а хозяйки расторопнѣе и и работящѣе Маши, конечно, по всѣмъ станицамъ, отъ Нѣженки до Орска, трудно было бы отыскать; мало

того, хотя Каменная, какъ всѣмъ вамъ извѣстно, славится на пространствѣ этомъ красотою казачекъ своихъ, но знатоки этого дѣла увѣряютъ, что такой статной и видной женщины, какая вышла изъ Маши, не было даже и въ Каменной

РАЗСКАЗЪ
ВЕРХОЛОНЦОВА О ПУГАЧЕВѢ

Билимбаевскій заводскій служитель Верхолонцевъ, будучи 85-ти лѣтъ, разсказывалъ въ 1831 году похожденія свои съ шайкой Пугачева; передаемъ ихъ, какъ разсказъ очевидца. Верхолонцевъ изъ походныхъ сотниковъ пугачевскихъ дослужился, волей и неволей, до полковника 3-го яицкаго полка и радъ былъ, по окончаніи этого поприща своего, что могъ попасть опять, по добру по здорову, въ рядовые служители. 1774-й годъ о-сю пору въ восточной Россіи слыветъ пугачевскимъ и служитъ въ народѣ исходной точкой для лѣтосчисленія.

18-го января 1774 года—говоритъ Верхолонцевъ—мы впервые услышали о приближеніи Пугачева; я былъ горнымъ писчикомъ, и у меня было подъ рукой рабочаго народа до 500 человѣкъ, которые работали на рудникахъ. Молва о распорядкахъ Пугачева, ненависти его къ помѣщикамъ и боярамъ, всюду поднимала народъ, который, по глупости, радъ былъ такому безначалію: и въ моей командѣ нашлись бойкіе выскочки, за которыми потянули и другіе: всѣ отбились

отъ рукъ и грозили мнѣ смертію, коль скоро прибудетъ сюда Великій Государь, какъ народъ звалъ, въ невѣжествѣ и будучи обманутъ, самозванца. Одинъ изъ работниковъ сверзилъ (столкнулъ) меня въ рудную яму, а другіе подняли на меня такой гаркъ, что я радъ былъ, утекши отъ нихъ. Заводскіе прикащики, которыхъ народъ не любилъ, бѣжали въ лѣсъ, не смѣя приклонить головы у буйныхъ крестьянъ; послѣ они добрались до Екатеринбурга; а нѣсколько добрыхъ служителей, нестрогихъ до народа, оставались и пировали съ ними за-одно, будучи за-одно съ ними обмануты, потому что въ началѣ никто на заводахъ не считалъ Пугача самозванцемъ. Я ушелъ въ деревню *Крылосово*, къ шурину своему; около полуночи наскакали разъѣздные изъ шайки; между ними былъ и зять мой изъ деревни *Черемши:* онъ меня отыскалъ, ударилъ нагайкой соннаго, а когда я вскочилъ, испугавшись, то меня связали, припутали къ стремени и повели на Черемшу въ Билимбаевскій заводъ. Туда прибылъ 18-го января пугачевскій полковникъ Иванъ Наумовичъ Бѣлобородовъ, бывшій командиръ Кунгурскаго уѣзда Богородскаго села, знавшій, какъ сказывали, истиннаго царя Петра Ѳедоровича и убѣждавшій всѣхъ пристать къ самозванцу, называя его царемъ. Мнѣ велѣли явиться къ нему, въ жильѣ у прикащика Антона Ширкалина я упалъ передъ нимъ на колѣни и просилъ пощады. «Богъ и великій государь тебя прощаютъ,» сказалъ суесловъ Бѣлобородовъ. На немъ былъ нагольный тулупъ и сабля на поясѣ. Узнавъ, что подо мной было до 500 рабочихъ, онъ приказалъ мнѣ завтра, чѣмъ свѣтъ, выстроить ихъ и сдѣлать имъ перекличку по горнымъ спискамъ При Бѣлобородовѣ находился кунгурскій татаринъ, *Алзафоръ*, ревностный слуга Пугачева: онъ вездѣ первый кричалъ на сборищахъ: *Осударь Питеръ Педоровичъ*, а кто

чуть только не поддавался ему, того онъ жестоко билъ и истязалъ; этого татарина всѣ боялись. Званіе *походныхъ сотниковъ и старшинъ* несли на себѣ служители Осокинскаго Юговскаго завода, первые послѣдователи Бѣлобородова; всѣ они одѣты и вооружены были по-казачьи. Какъ Бѣлобородовъ, такъ и самъ Пугачевъ, старались получить довѣріе народа лестью, притворною трезвостью и кротостью, будучи на самомъ дѣлѣ приверженцами раскольниковъ, съ которыми а были у нихъ тайныя стачки и переговоры, почему они въ душѣ были люты и ненавидѣли всѣхъ православныхъ.

Ночью я выстроилъ своихъ 500 человѣкъ въ одну шеренгу противъ жилья полковника и ждалъ разсвѣта. Бѣлобородовъ всталъ рано, и меня тотчасъ позвали. «Что, любезный другъ, исполнилъ ли ты приказъ мой?» спросилъ онъ меня.—Исполнилъ, ваше высокоблагородіе. «Хорошо.» Онъ всталъ со стула, надѣлъ лисій малахай (шапку) напередъ ушами и вышелъ. Всѣ умолкли; онъ осмотрѣлъ мою рать, выбралъ изъ нея человѣкъ 300, а остальныхъ не принялъ, за старостію, калѣчествомъ и малолѣтствомъ; потомъ скомандовалъ *фрунтъ*, выхватилъ саблю, оборотился къ нъ старшинамъ и сотникамъ, которые также вынули сабли изъ ноженъ. «Поздравляю тебя,» сказалъ онъ мнѣ, «походнымъ сотникомъ, а васъ, ребята, съ товарищемъ.» Я поклонился; радъ-нерадъ милости, а надо было кланяться; меня тотчасъ остригли по-казачьи, подъ айдаръ, и дали саблю.

Въ этотъ день было много шуму, тревоги и буйства между народомъ, крестьяне и работники перепились, гуляли пьяные по улицамъ, кричали и бушевали; коли кто кричалъ: «за здравіе государя Петра Ѳедоровича», то этимъ покрывалъ всѣ грѣхи, всякое буйство, и могъ дѣлать, что хотѣлъ. Конторскія книги и

весь архивъ вынесли на площадь и съ пѣснями и бранью сожгли. Кромѣ рудныхъ рабочихъ, многіе иные люди, кто по волѣ, а больше изъ страха, приставали къ шайкѣ Бѣлобородова; между ними были и заводскіе служители; такъ Герасимъ Стражевъ былъ секретаремъ, Порхачевъ—сотникомъ.

Изъ Билимбаевскаго пошли мы въ Васильевскій или Шайтанскій заводъ, гдѣ насъ встрѣтили хлѣбомъ и солью. Бѣлобородовъ занялъ домъ заводчика Ширяева, а я тутъ училъ его писать его имя: Иванъ Бѣлобородовъ, водя руку его своей рукой по бумагѣ. Здѣсь же была у насъ первая стычка: изъ Екатеринбурга пришла команда, подъ начальствомъ капитана Ярополъцова, мы взяли въ плѣнъ 60 человѣкъ, и Бѣлобородовъ двоихъ изъ нихъ повѣсилъ, двоихъ казнилъ на плахѣ, четырехъ застегалъ плетьми, а остальныхъ постригъ въ казаки. При этой первой баталіи Бѣлобородовъ удивилъ всѣхъ насъ искусствомъ своимъ стрѣлять изъ пушекъ. На другой день Порхачевъ посланъ былъ на Утку-Демидову, но былъ разбитъ и взятъ въ плѣнъ; самъ Бѣлобородовъ двинулся туда на помощь, но воротился безъ успѣха.

По отбытіи Бѣлобородова, шайтанцы образумились, возстали и, подкрѣпленные екатеринбургскою командой, которая вразумляла, что это-де самозванецъ, сожгли жилье полковника. Онъ пошелъ съ нами на Серги (Сергинскіе заводы, послѣ Губиныхъ), оттуда на Каслинскій, направляясь къ Оренбургу. Въ Каслинскомъ Бѣлобородовъ вздумалъ привести жителей къ присягѣ; тамъ пошли въ Богородскую слободу, гдѣ стоялъ другой пугачевскій полковникъ, тоже безграмотный, Самсонъ. Насъ однакоже здѣсь разбили, и вся команда наша разбѣжалась. Бѣлобородова каслинскій мужикъ увезъ на Саткинскій заводъ, гдѣ мы понемногу стали собираться. Здѣсь мы взяли Пасху, сожгли заводъ и

отправили донесенія къ самозванцу въ Берды, подъ Оренбургомъ. Вскорѣ мы услыхали, что Пугачевъ разбитъ княземъ Голицынымъ. Поспѣшивъ изъ Саткии къ нему, мы встрѣтили его подъ Магнитною; здѣсь явились къ нему три полковника: два нашихъ, а третій изъ Сибири. Мы увидали издали, какъ Пугачъ разъѣзжалъ съ наѣздниками около крѣпости; онъ счелъ насъ за непріятелей, потому что мы шли стройно, чего самъ онъ никогда не дѣлывалъ; но когда узналъ, что его полковники, то подъѣхалъ къ палаткамъ своимъ, поднялъ знамя и ждалъ дружины: мы преклонили передъ нимъ свои самодѣлковыя знамена.

При первомъ взглядѣ на мнимаго царя, я усомнился. Сравнивая его съ портретами, я не находилъ никакого сходства; вскорѣ я, какъ многіе другіе, узнали въ немъ несомнѣннаго обманщика, но страхъ преграждалъ уста наши. Пугачевъ былъ средняго роста, плотный, въ плечахъ широкъ, борода окладистая, глаза черные, большіе, на немъ была парчевая бекешь, родъ казачьяго троеклина; сапоги красные, шапка изъ покрововъ церковныхъ, ограбленныхъ раскольниками; самозванецъ былъ рѣчистъ, голосъ его сиповатый, самъ онъ распорядителенъ, но впрочемъ мужикъ мужикомъ... Когда взяли Магнитную крѣпость и Пугачевъ поѣхалъ по улицамъ, то какая-то женщина выстрѣлила въ него изъ окна, и ранила его въ правую руку. Ее изрубили на мѣстѣ.

Раненый самозванецъ не могъ ѣздить верхомъ и потому разъѣзжалъ въ коляскѣ. Мы пошли съ нимъ къ Троицкую, взяли ее, но вскорѣ оставили: за нами шелъ отъ царицы генералъ Декалонгъ. Передовые его настигли насъ, окружили меня и сбили съ лошади; но я успѣлъ поправиться и ускакалъ. Пугачевъ пошелъ на Красноуфимскъ, гдѣ насъ встрѣтилъ капитанъ Но-

повъ: была жаркая баталія, но она кончилась ничѣмъ, кромѣ того, что меня ранили, и мы взяли налѣво, въ Осу, гдѣ командовалъ маіоръ *Скрипицынъ*, укрѣпивъ городъ деревянкымъ заплотомъ и навѣсомъ; въ насъ жарили картечью, а во время приступа кидали съ навѣсу каменья и лили кипятокъ и смолу. Отъ насъ привезли много возовъ соломы, поставили въ нѣсколько рядовъ и стали изъ-за нихъ стрѣлять и надвигать ихъ; жители испугались, видя, что мы хотимъ сжечь ихъ, зазвонили въ колокола отбой, растворили ворота и вывели обезоруженныхъ солдатъ, которые, распустивъ волосы по плечамъ, въ унынiи ждали своей участи. Съ нихъ тутъ же сняли мундиры, остригли и одѣли по-казачьи. Маіоръ Скрипицымъ съ поручикомъ Минѣевымъ шли до пристани Рожественскаго Демидовскаго завода плѣнными; это было въ іюнѣ; Скрипицынъ разъѣзжалъ и разговаривалъ съ самозванцемъ, который тутъ переправился за Каму; Скрипицынъ, съ повѣреннымъ князей Голицыныхъ, почью отправилъ письмо по Камѣ въ Воткинскій заводъ, къ исправнику Алымову, уговаривая его вооружиться противъ самозванца и обѣщая ему помощь. Поручикъ Минѣевъ открылъ это Пугачеву: посланныхъ догнали на Камѣ, а Скрипицына и Ключникова повѣсили. За это поручикъ сдѣлался любимцемъ самозванца, который пошелъ внизъ по Камѣ, на Воткинскій. Здѣсь не встрѣтили мы сопротивленія; начальники уѣхали, управляющій скрылся, полковникъ Грязной засѣлъ въ прудъ, выставивъ одну голову; того сожгли въ избѣ, обложивъ его соломой, а этого повѣсили.

Въ Ижевскомъ встрѣтили насъ мирно, хлѣбомъ и солью; и мы тутъ не бушевали: силы нашей прибывало, и самозванецъ рѣшился идти на Казань. Пришли и стали на Арскомъ полѣ; Пугачевъ написалъ вызовы,

чтобы сдавались, казанцы насмѣхались надъ нами; на другой день двинулись на городъ, куда подулъ и сильный вѣтеръ. Завязался бой, густой дымъ гнало въ городъ; скоро сбили мы казанцевъ съ валу, вошли въ городъ, зажгли его и уже до 15 т. нашихъ ворвались въ крѣпость, но ихъ тамъ заперли. Пугачевъ хотѣлъ задушить головнями засѣвшихъ тамъ; жгли, рѣзали и грабили; разграбили и монастырь, а игуменью съ монахинями вывели на Арское поле; разбили острогъ и выпустили колодниковъ, въ томъ числѣ жену и сына Пугачева. Въ числѣ добычи на пиршество побѣды вывезли на Арское поле 15 бочекъ вина: самозванецъ угощалъ дружину свою послѣ каждой удачи.

Настала ночь, развели огни, расположились по полкамъ и начали попойку; Пугачевъ самъ разъѣзжалъ по стану: говоръ, крикъ и пѣсни длились далеко за полночь, хотя всѣ очень утомились. Только-что притихло немного, да сонные туда-сюда повалились съ похмѣлья, какъ вдругъ сталась тревога: подполковникъ Михельсонъ, занимавшій Царицыно (село), напалъ на насъ, на хмѣльныхъ и сонныхъ. Кто куда могъ—давай Богъ ноги; много тысячъ нашихъ было побито и легло тутъ, много взято въ плѣнъ и весь обозъ и артиллерія пропали.

На другой день собрались мы кое-какъ, хотѣли устоять; опять на насъ насѣли, и вѣтеръ погналъ дымъ на насъ. Это, сказали многіе, дурная примѣта. Насъ сбили съ поля; 5 т человѣкъ съ Бѣлобородовымъ отрѣзали, полонили вмѣстѣ съ полковникомъ; а самозванецъ съ остальною шайкою бѣжалъ вверхъ по Волгѣ, въ Сундырь.

Обезоруженныхъ плѣнниковъ подполковникъ Михельсонъ сталъ отпускать по домамъ, приказавъ находящемуся при немъ служителю Серганскаго завода,

Гаврилѣ Владимірову, осматривать плѣнниковъ, не будетъ ли между ними самого Пугачева или кого изъ главныхъ его приверженцевъ. Владимировъ сначала служилъ Бѣлобородову въ Саткинскомъ заводѣ, съѣздилъ оттуда съ донесеніями къ Пугачеву, въ Берду; оттуда, догадавшись, что Пугачъ обманщикъ, перешелъ къ Голицыну, а отъ него поступилъ къ Михельсону. Онъ всѣхъ зачинщиковъ зналъ въ лицо. Онъ узналъ тотчасъ же Бѣлобородова, и его задержали вмѣстѣ съ бывшими при немъ дочерьми. Слышно было послѣ, что онъ казненъ въ Москвѣ.

Сундырь наши разграбили и сожгли за то, что жители потопили суда, чѣмъ много затруднили переправу нашу черезъ Волгу. Отъ Сундыря пошли мы Мордвой и Черемисой; народы эти, по склонности къ идолопоклонству, ненавидѣли поповъ своихъ; а какъ христонаступникъ Пугачевъ не щадилъ ихъ, задабривая народъ, то этотъ и самъ сталъ съ ними безчеловѣчно управляться. Въ Курмышѣ, на Сурѣ, близъ Алатыря, человѣкъ 200 бояръ разнаго рода съ людьми своими и пожитками думали спастись на одномъ небольшомъ островѣ; они даже вооружились, кто чѣмъ могъ, и роздали людямъ своимъ оружіе, надѣясь отстоять островъ въ случаѣ нападенія; но когда Пугачевъ приблизился, то прислуга сдѣлалась непокорною, перевязала господъ своихъ и выдала ему. Всѣхъ ихъ, не исключая и женщинъ и младенцевъ, безчеловѣчно перегубили. Взяли Алатырь, пошли на Саранскъ; архимандритъ Саранской пустыни встрѣтилъ самозванца съ крестомъ, за что его впослѣдствіи кн. Голицынъ повѣсилъ. Между тѣмъ, Пугачевъ ѣздилъ обѣдать въ монастырь, гдѣ, по незнанію истины или отъ страху, приняли его съ почетомъ. Въ станъ Пугачева привели тутъ генерала Цыплятева съ женою, двумя дочерьми и малолѣтнимъ сыномъ; всѣхъ ихъ

безбожно казнили позорною смертію: жену и дѣтей повѣсили, а Цыплятева истязали мученически до смерти.

Оттуда пришли мы, чрезъ Пензу, въ г. Петровскъ, гдѣ насъ встрѣтили безъ бою; но, боясь Суворова, о которомъ слухи ходили для Пугача нехорошіе, онъ поворотилъ на Саратовъ. Здѣсь шло жестокое сраженіе съ городомъ и гарнизономъ; наконецъ принуждены были сдаться Пугачеву, но все начальство ушло въ Царицынъ. Преслѣдуемые Суворовымъ, пошли мы въ Дубровку, гдѣ на перепутьѣ явились къ самозванцу донцы, человѣкъ до 500, въ полномъ вооруженіи, въ самомъ исправномъ видѣ. Пугачевъ очень радъ былъ этому подкрѣпленію и принялъ ихъ съ великою честію, не подозрѣвая того, что ему бы лучше было потерять еще 1000 человѣкъ своихъ, чѣмъ принять эти 500.

Мы пришли въ Камышинъ, распустили тамъ тюрьму и разбили винный подвалъ, до 600 бочекъ, по приказанію Пугачева, выпустили въ подвалъ, не давая никому пить; однако арестанты и чернь пили съ земли припадкой и черпая вино шляпами и рукавицами; городъ вскорѣ наполнился пьяными и буйными шатунами, пошелъ грабежъ; Пугачевъ, не посмѣвъ долѣе оставаться, изъ опасенія погони, пошелъ на Царицынъ, далъ тамъ одинъ только выстрѣлъ въ московскія ворота и, безъ роздыху почти пошли далѣе, на Астрахань. Сколько ни бѣжать, говорится, а гдѣ нибудь, да постоять; остановились мы на ночевку, не доходя Черноярска. Михельсонъ шелъ за нами по пятамъ и ночью подошедъ, также остановился версты за 2 или за 3; у насъ объ эту пору было до 60 т. такъ называемаго войска, т. е. разнаго сброду въ нестройныхъ толпахъ и до 60-ти орудій, вновь забранныхъ въ разныхъ мѣстахъ, послѣ пораженія нашего подъ Казанью.

Но всѣ крѣпко упали духомъ, и одинъ только страхъ удерживалъ огромную шайку около Пугачева; помню, что я и думалъ уйти нѣсколько разъ, но боялся, не ожидая доброй участи, если даже и попадусь въ руки войскъ Царицы

Утромъ, на солновосходѣ, Михельсонъ напалъ на насъ. Нельзя было болѣе избѣжать встрѣчи, и началось жаркое сраженіе: при этомъ случаѣ оказалось, что вновь приставшіе къ намъ донцы загвоздили пушки наши, или подрубили оси и колеса у лафетовъ. Пугачевъ былъ разбитъ на голову и бѣжалъ въ Черный Яръ съ шестью только человѣками; тамъ, переплывъ Волгу, бѣжали они въ камыши на рѣчкахъ Узеняхъ, между Волгою и Яикомъ. Но здѣсь товарищи его, видя, что уже все кончено и пора неминучая настала, рѣшились искупить свои головы его головой, почему, схвативъ его внезапно, связали и привезли сначала въ Яицкую крѣпость (Уральскъ), а потомъ въ Симбирскъ, гдѣ были тогда Суворовъ и Панинъ.

Про себя Ворхолонцовъ прибавилъ: я уже сказывалъ, что въ Билимбаевскомъ заводѣ Бѣлобородовъ произвелъ меня въ походные сотники: въ этомъ чинѣ служилъ я до 7-го августа и былъ почти во всѣхъ сраженіяхъ, сперва съ Бѣлобородовымъ, а потомъ съ самимъ Пугачевымъ. У Красноуфимска былъ я раненъ и, находясь близъ своей родины, думалъ бѣжать, но сробѣлъ и остался, тѣмъ болѣе, что за мной, по приказанію Пугача, присматривали и раненаго возили въ телѣгѣ. Съ другой стороны и не знаешь, куда бѣжать и на кого Богъ приведетъ наткнуться: у Красноуфимска стоялъ капитанъ Поповъ, съ солдатами и вооруженными крестьянами и, какъ слышно было, не давалъ никому изъ шайки Пугачева никакой пощады. Такимъ образомъ я оставался прикованнымъ къ судьбѣ самозванца, до самаго конца ея, хотя и зналъ уже

положительно, что онъ обманщикъ и разбойникъ, и вовсе не желалъ быть товарищемъ его, какъ и поступилъ я въ шайку его противъ воли, по милости моего зятя. Я былъ освобожденъ, въ числѣ другихъ плѣнныхъ и, по милости царицы, скоро послѣдовало всепрощеніе.

ЦЫГАНЪ

(Пустобайка).

Цыгану, который отбился отъ табора для промысла, пошла такая неудача, что онъ всей семьей цѣлый мѣсяцъ прожилъ безъ хлѣба, и еслибъ спросить его, чѣмъ они жили, что ѣли, то онъ бы и самъ этого не могъ сказать. Наконецъ пришло такъ круто, что онъ рѣшился уйти на время отъ семьи и бросить ее: авось я на сторонѣ что нибудь скорѣе промыслю, а они—да какъ себѣ знаютъ, сироткамъ безъ меня еще скорѣе кто-нибудь подастъ милостыню, чѣмъ при мнѣ; а работы кузнечной здѣсь нѣтъ, въ цѣлый мѣсяцъ и гвоздя не выковалъ, да къ тому еще и голодъ: вишь въ какіе края зашли; мужики сами безъ хлѣба....

Заложилъ онъ кобылку свою и поѣхалъ тайкомъ, не сказавъ женѣ, куда и зачѣмъ. Ѣдетъ черезъ плотинку,—сломалась ось. Онъ взялъ топоришко свой, чтобы вырубить жердь и подвести подъ ось, влѣзъ на вербу, сталъ на сукъ и рубитъ его. Мужикъ идетъ мимо; посмотрѣлъ и говоритъ:—«цыганъ, что ты дѣлаешь? сидишь на суку, а самъ его рубишь; гляди, скоро въ водѣ будешь!»—Цыганъ поглядѣлъ на мужика, сказалъ: «поди, приведи сюда своего батьку, такъ

я и того еще научу!» и продолжалъ рубить, а мужикъ пошелъ своей дорогой. Скоро затѣмъ сукъ обломился и цыганъ торчмя головой полетѣлъ въ воду. Русскій человѣкъ отвѣтилъ бы на оберегъ прохожаго: ничего, онъ сперва затрещитъ; а цыгана вишь и на это не достало. Ну, за то онъ искупался.

Выскочивъ изъ воды, онъ побѣжалъ вдогонку за мужикомъ и присталъ къ нему: «Почему ты зналъ, что я буду въ водѣ? Развѣ ты все знаешь?»—Все.—«Отчего же ты все знаешь?» — Оттого, что я цыганскій богъ.—«Такъ, можетъ быть, ты знаешь, когда я умру?»—Знаю. — «Скажи, сдѣлай милость, скажи!»—Вы же сами знахари и ворожеи, такъ и это должны знать. — «Да, мы ворожеи для васъ, а не для себя, а ты скажи мнѣ правду, когда я умру?» — А вотъ какъ подвяжешь жердь, да поѣдешь въ гору, то коли лошадь твоя чихнетъ, да фыркнетъ три раза, такъ ты за третьимъ разомъ и помрешь; только твоего и вѣку.

Цыганъ воротился бѣгомъ, будто самъ торопился исполнить судьбу свою, умереть, починилъ кое-какъ повозку и сталъ подыматься на гору: тощая кобылка его насилу везла порожнюю телѣженку, а самъ онъ шелъ пѣши и понукалъ; фыркнула клича разъ, потомъ на полу-горѣ другой — и цыганъ готовъ къ смерти: фыркнула третій—онъ бросилъ поводья и упалъ, какъ шелъ по дорогѣ, и лежитъ; лошадь отошла въ сторону и начала пастись.

Долго ли лежалъ мертвый цыганъ на дорогѣ, нѣтъ ли, какъ ѣдетъ помѣщикъ: цыганъ хотѣлъ посмотрѣть, кто идетъ, и вдругъ приподнялъ голову, а лошади испугались его и понесли. Остановивъ ихъ подъ горой, баринъ послалъ кучера посмотрѣть, кто лежитъ тамъ и зачѣмъ. Кучеръ приходитъ и допрашиваетъ цыгана,—а цыганъ говоритъ только: «не *рушь* меня, добрый

человѣкъ, бо я уже *вмеръ*.» — Иди, говорю, къ пану, панъ кличетъ! — «А какъ же я пойду, когда я уже померъ!» — Баринъ услышалъ это и, разсердившись, закричалъ: «бей дурака кнутомъ!» — Кучеръ стегнулъ его порядкомъ, а онъ вскочилъ на ноги и побѣжалъ, закричавъ: «ой, да какже больно и на томъ свѣтѣ дерутся!» Баринъ однако сжалился надъ нимъ, приказалъ дать ему грошъ и уѣхалъ.

Цыганъ подумалъ, ощупалъ себя по рукамъ и по ногамъ, взялся за голову, оглянулся кругомъ, попробовалъ кашлянуть и убѣдился, что онъ живъ. «Видно, то былъ не настоящій цыганскій богъ, сказалъ онъ, а вотъ это настоящій, который меня оживилъ. Что же теперь мнѣ дѣлать? Поѣду купить на грошъ товару.» Сѣлъ, поѣхалъ, и всю дорогу чистилъ грошъ свой, чтобъ онъ былъ свѣтлый. Пріѣхалъ онъ на рынокъ, и какъ у него тутъ съ голодухи глаза разбѣжались, глядя на съѣстное, то онъ и положилъ купить на грошъ, чего больше дадутъ. Приходитъ онъ въ лавку и спрашиваетъ: «сколько на грошъ вотъ этого меду?»—А только одинъ разъ лизнуть съ лопаточки, сказалъ купецъ. — Цыганъ отвернулся и увидѣлъ бабу, которая несла цѣлую охапку хрѣну.—«Что дала за хрѣнъ?»—Да такъ, грошъ за беремя. — Обрадовавшись, что этого добра много даютъ на грошъ, онъ пошелъ и купилъ цѣлое беремя хрѣну; хоть печь топи! — Тотчасъ онъ принялся его ѣсть, и слезы потекли у него ручьями изъ глазъ. «Плачьте очи, сказалъ онъ; сами видѣли, что покупали....» Но когда ему не въ мочь стало, то онъ выпустилъ изъ-подъ мышки беремя, а поплакавъ и подумавъ, сталъ потчивать имъ свою отощалую кобылу; когда же и та стала отворачиваться отъ такого добра, то съ отчаянья и голодухи рѣшился продать ее съ повозкой и промышлять пѣшкомъ. «Издохнетъ лошадь, кричалъ онъ, ставъ на треколую телѣжку свою, сей-

часъ издохнетъ, покупайте поскорѣе да покормите, тогда увидите, какого звѣря купили: семеры сутки била-носила, семеры сутки не ѣвши стояла, семеры сутки не поена! А, какова лошадка? А? Поглядите, у кого глаза во лбу есть, сами увидите, сами скажете, сами благодарить будете, придете цыгану руки цѣловать: вотъ какова лошадка!»

Возгласы эти, позабавивъ и насмѣшивъ людей, привлекли однакоже и таковскихъ покупателей; хотя за три алтына да продана лошадь съ цыганской сбруей и телѣжкой, и цыганъ мой наѣлся досыта, въ первый разъ послѣ долгаго времени. Но цыгану въ городѣ и на торгу тѣсно; онъ продалъ, что надо было, купилъ, что можно было, а ѣсть выбрался въ чистое поле; тутъ онъ и насытился, и отдохнулъ спокойно и роскошно, не опасаясь докуки цыганки своей и цѣлаго гурта нагихъ ребятъ, брошенныхъ на произволъ судьбы. Полежавъ, увидѣлъ онъ издали человѣка съ ружьемъ и, подошедъ къ нему, поздоровался и спросилъ: «ты кто таковъ?»— Я охотникъ, иду дичь стрѣлять.—«Ну, и я охотникъ, сказалъ цыганъ, такъ пойдемъ вмѣстѣ.» — Пожалуй, пойдемъ; да чѣмъ же ты стрѣляешь? — «А вотъ увидишь; покажи ты мнѣ прежде, чѣмъ ты стрѣляешь, тогда и я покажу». Пошли; выскочилъ заяцъ, охотникъ его убилъ.—Вотъ, говоритъ, я свое сдѣлалъ! — Стали подходить къ деревнѣ; ходитъ свинья съ поросятами: цыганъ погнался за ними, поймалъ поросенка, посадилъ его въ мѣшокъ и говоритъ: «а теперь я свое сдѣлалъ: вотъ какъ я стрѣляю!»

Остановились на ночлегъ и положили испечь на углѣхъ поросенка. Охотникъ взялся стряпать, а цыганъ уснулъ. Проснувшись на самой зорькѣ и увидавъ, что охотникъ возится подлѣ него, а огонекъ еще дымится, цыганъ думалъ, что все еще вечеръ, тогда какъ товарищъ его ужь собирался въ походъ. — «Ну,

братъ, сказалъ цыганъ, давай же ужинать! Я было заснулъ немного, да во снѣ видѣлъ, будто я былъ у царя въ гостяхъ, и ѣлъ такія сласти, что жаль было разстаться!»—То-то, отвѣчалъ охотникъ, напрасно ты тамъ и не остался, у царя въ гостяхъ; а я ждалъ, ждалъ тебя, да не дождавшись и съѣлъ поросенка! — «Какъ такъ? Да, вѣдь, это я все видѣлъ!» — А я почему зналъ, что во снѣ; ты не сказалъ мнѣ напередъ!— «Брошу я тебя,—сказалъ обиженный цыганъ охотнику, ты недружный человѣкъ, съ тобой нельзя водиться, Пойду искать счастья.»

И приходитъ онъ въ лѣсъ къ землянкѣ, гдѣ жилъ извѣстный силачъ, разбойникъ, со своею матерью. Сила у этого разбойника была не людская, а львиная, и никто не могъ съ нимъ совладать. Удивившись, что смѣлый человѣкъ къ нему зашелъ, онъ спросилъ цыгана: «какой ты человѣкъ? что надо?» — А я, отвѣчалъ тотъ, такой человѣкъ, что за поживой хожу; за тѣмъ и пришелъ.—«Такъ что жь ты помѣряться, что ли, силами хочешь?» — А, пожалуй, мѣряй коли достанешь.—Матушка, сказалъ тотъ, разсуди насъ: вотъ пришелъ человѣкъ, говоритъ, что онъ сильнѣе меня! — Подите жь вы вмѣстѣ изъ колодца воду таскать; кто больше подыметъ ее и унесетъ на себѣ, тотъ и сильнѣе. — Приходятъ къ колодцу, разбойникъ вытащилъ огромную бадьищу воды, приподнялъ, поставилъ опять и говоритъ: «на, неси, коли сможешь!» — Зачѣмъ? спрашиваетъ цыганъ. Я такъ не ношу воды; и самъ принялся вить претолстую веревку. — «Это что будетъ?» — А вотъ погоди, такъ увидишь: я весь колодезь притащу къ твоей матери! — «Постой, сказалъ тотъ, не надо; пойдемъ такъ,» и разсказалъ все матери. — Ну, сказала она, такъ подите жь теперь камни давить, кто сильнѣе надавитъ!

Пошли; разбойникъ положилъ камень на камень, палегъ и подавилъ — искры посыпались, и камень въ песокъ разсыпался; а цыганъ, который успѣлъ уже въ землянкѣ разбойника украсть пирогъ, положилъ его, накрылъ камнемъ, подавилъ и сказалъ: «нешто такъ камни давятъ, по твоему? У насъ вотъ какъ: гляди, бахвалъ, видишь ли, сокъ пошелъ!» — Вижу, сказалъ тотъ, и пошелъ; доложилъ объ этомъ матери.— Ну, такъ идите жь на послѣдній споръ: кто больше дровъ наберетъ въ охапку и принесетъ сюда, тотъ будетъ сильнѣе. Пошли на буреломное мѣсто, и разбойникъ сталъ собирать въ кучу валежникъ; цыганъ смотрѣлъ, смотрѣлъ на него, покачалъ головою и сказалъ: «ахъ ты дурень, сердечный! да нешто такъ дрова носятъ?» — А какъ же? — «Да по нашему вотъ какъ: поди ко, принеси мнѣ веревку, что я началъ вить у колодца.»—Ну, а тамъ что?—«А тамъ совью я ее всю, да обнесу вокругъ всего лѣсу стоячаго, свяжу его въ одну охапку и принесу къ вамъ.» — Нѣтъ, постой, надо матери сказать; куда жь намъ дѣвать послѣ столько дровъ? Это со стороны примѣтно будетъ, и люди насъ найдутъ; погоди. «Матушка, вотъ такъ и такъ: не лучше ль намъ съ этимъ гостемъ помириться, чтобъ онъ съ Богомъ отъ насъ ушелъ?»—Ну, мирись, сынокъ.— Что возьмешь, богатырь почтенный, чтобъ уйти отсюда и насъ больше не знать?—«Давайте мѣдныхъ денегъ, сколько унесу!»—Сколько есть, бери, сказалъ разбойникъ, подумавъ про себя: пропали мы теперь! Онъ все унесетъ, и серебромъ и золотомъ ему не доплатишься!—Но цыганъ нагребъ въ мѣшокъ, сколько подъ силу поднять человѣку, а денегъ открыли ему цѣлую яму, — и, взваливъ ношу на плеча, онъ простился и пошелъ. Разбойникъ поглядѣлъ ему вслѣдъ и сказалъ:— Ну, матушка, либо это человѣкъ больно стыдливый, либо онъ насъ съ тобой одурачилъ. — А что?—Да де-

негъ то онъ унесъ мѣшокъ, что мнѣ однимъ пальцемъ нечего подымать!—Ну, сказала мать, въ другой разъ придетъ, такъ мы его проучимъ!

Цыганъ пришелъ къ женѣ и дѣтямъ, заставилъ всѣхъ ихъ перечистить пятаки, закопалъ ихъ подъ свою наковальню въ землю, доставалъ оттуда по горсточкѣ и сталъ жить да поживать.

Покуда велись у него деньги эти, цыганъ поневолѣ стоялъ съ шатромъ своимъ на одномъ мѣстѣ, потому что оберегалъ кладъ, да и подняться было ему не на чемъ: лошаденки нѣтъ. Прискучилось ему, правда, жить на одномъ мѣстѣ, какъ живетъ дубъ или чертополохъ, который приросъ корнями къ землѣ,—да какъ быть? — Покуда велись у цыгана мелкія деньги, онъ жалѣлъ ихъ; доставалъ по пятакамъ да по гривнамъ, а отсчитывать въ одинъ разъ мелочь рублей тридцать за лошаденку—на это онъ не рѣшался; а когда кладъ сталъ приходить къ концу, то было ужь поздно. «Молчи, сказалъ онъ женѣ, я видѣлъ сонъ, что раздобуду коня; не тужи, будетъ такъ; сонъ никогда меня не обманывалъ!»

Невдалекѣ отъ цыганскаго кочевья жилъ баринъ, большой шутникъ и проказникъ, который особенно тѣшился всегда тѣмъ, когда могъ разсердить или одурачить кого нибудь. Вотъ онъ и придумалъ штуку: объявилъ, что хочетъ постричься и все наживное добро свое раздарить бѣднякамъ и вообще добрымъ людямъ. Разумѣется, за этими добрыми людьми, охотниками до подарковъ, дѣло не стало. Приходитъ мужикъ, кланяется униженно, жалуется на бѣдность свою и проситъ барской милости.—Что жь тебѣ надо? спрашиваетъ баринъ. — «Да что пожалуете, батюшка, что милость ваша будетъ, всѣмъ останемся премного довольны.»— Ну, чтожъ, подарить тебѣ добрую соху? — «Благодарнмъ покорно»—а самъ стоптъ и чешетъ затылокъ.—

Ну, и еще что нибудь? Не коровку ли?—«Благодарны много милости вашей...» А самъ все еще стоитъ, не будетъ ли еще чего. — Что жь, мужичекъ, можетъ статься тебѣ этого мало, не поправишься съ этого?— «Да коли милость ваша будетъ, такъ пожалуйте еще что нибудь...» — Какъ закричалъ баринъ: ахъ ты ненасыть, видно глазъ твоихъ ничѣмъ не накормишь? Люди добрые, подите сюда, разсудите насъ вотъ съ этимъ человѣкомъ: мужичекъ пришелъ попросить у меня что нибудь на бѣдность; я подарилъ ему соху— говоритъ: мало; подарилъ я ему еще корову— говоритъ: мало; что жь, развѣ такъ благодарятъ за подарки? Развѣ ты пришелъ ко мнѣ подати съ меня собирать, что ли?— Кирюшка, дай ему добраго подзатыльника, да вытолкайте его, мошенника, со двора!..

Приходитъ другой въ крѣпко-изорванномъ, худомъ армякѣ; баринъ подозвалъ его, пожалѣлъ объ немъ и кричитъ:—эй, принесите сюда хорошіе кучерскіе кафтаны!—Принесли, стали перебирать и разсматривать, который отдать бѣдняку: кучеръ выбралъ было одинъ, но баринъ велѣлъ откинуть его вовсе, сказавъ, что этотъ не годится: хорошему-де человѣку надо подарить и хорошую вещь. —Вотъ этотъ отдай,— сказалъ онъ, указавъ на одинъ изъ самыхъ плохихъ:—на-ко, мужичекъ, накинь на себя да погляди, ладно ли будетъ?— А у нашего мужичка, глядя на щегольскіе кафтаны, что передъ нимъ разложили, глаза разбѣжались. «Власть ваша, батюшка,» отвѣчалъ онъ, а самъ косился на лучшую одежу...—Однако, спросилъ баринъ, говори!— «Да коли ужь милость ваша будетъ, такъ хоть бы вонъ этотъ кафтанишко пожаловали,» указывая на лучшій и самый новый... — Хорошо, мужичекъ, возьми; отдайте ему этотъ! — Ну, что, хорошъ? — «Какъ не хорошъ, батюшка, дай Богъ вамъ здоровья...» А между тѣмъ, надѣвъ щегольской кафтанъ, мужикъ, охораши-

ваясь, похлопывалъ себя руками по поламъ и все еще косился вбокъ, туда, гдѣ лежала одежда.—Ну, чтожь, мужичекъ? сказалъ баринъ ласково: — договаривай! — «Да ужь коли бъ такая милость ваша была, такъ не пожалуете ли на бѣдность вотъ и кушачка, да шапочку...»—Ахъ ты воръ, безстыжіе глаза! Слышите люди добрые? Далъ ему кафтанъ—не хорошъ, дай другой, что ни есть лучшій; отдалъ ему и этотъ—такъ и того мало, говоритъ: подай мнѣ кушакъ и шапку! Въ зашей его, ребята, да хорошенько, бей въ шею со двора!

Опять другому приказалъ онъ пріѣхать на своей лошаденкѣ, обѣщавъ дать деньженокъ. Тотъ пріѣхалъ, баринъ и велѣлъ пустить его въ кладовую, заваленную мѣшками съ мѣдными деньгами, сказавъ: «вотъ, любезный, наваливай смѣло, бери сколько надо!»

Какъ глянулъ гость въ кладовую, такъ у него руки задрожали и ножки подкосились... Принялся онъ таскать да валить на телѣгу: не глядитъ онъ, сколько на возу навалено, а все у него глаза разбѣгаются на кучи мѣшковъ въ кладовой; таскалъ, таскалъ, наконецъ остановился, почесалъ затылокъ, видитъ, что навалилъ возъ большой. Погоди, думаетъ, хоть попробую, свезетъ ли проклятая лошаденка моя... взялъ вожжи въ руки, сталъ нукать—ни съ мѣста; подперъ мужичекъ грядку плечомъ, дергаетъ лошаденку, хлещетъ подъ брюхо кнутикомъ — та бѣдная только вертится да топчется, да фыркаетъ, да крутитъ хвостомъ и головой, а сама ни съ мѣста... — Стой, стой, закричалъ баринъ, что ты это дѣлаешь? Ахъ, ты подлецъ! Я тебѣ велѣлъ забрать денегъ вволю, а ты навалилъ, что и лошадь не везетъ!— Сваливайте долой, возьмите-ка у него кнутъ, да, настегавши ему хорошенько спину, гоните со двора!

Вотъ объ этомъ-то баринѣ услыхалъ нашъ цыганъ въ то самое время, когда у него пятаки всѣ вышли; сидѣть на мѣстѣ соскучилось, а лошаденки не было.

Пришелъ онъ къ нему на дворъ, ходитъ, поглядываетъ, то опять постоитъ у воротъ, держа шляпу въ рукахъ, и дождался наконецъ, что люди разспросили его и доложили барину, что де цыганъ какой-то пришелъ, по наслышкѣ, просить лошади. Вотъ погоди жь, думаетъ тотъ, я надъ нимъ потѣшусь; и вышелъ.—Что, братъ, лошаденку, что ль, тебѣ подарить? Цыганъ кланяется, молчитъ. — Выведите-ка вотъ такихъ то, такъ мы ихъ тутъ попробуемъ да выберемъ, которая получше будетъ: хорошему человѣку надо и хорошую скотину держать. Вывели тройку: одна дорогая лошадь, другая—подъ стать ей, третья поплоше, однако не мужицкой подъ стать. — Сядь ка на эту, сказалъ баринъ цыгану, указывая на плохую, да попробуй ее, полюбится ли она тебѣ? Цыганъ поклонился въ поясъ, взвалился на лошадь, да безъ оглядки и поѣхалъ со двора. — Куда жь ты, закричалъ баринъ, ты погляди прежде, годится ли? — «Даровому коню въ зубы не глядятъ, баринъ» отвѣчалъ тотъ, поклонился низенько и поѣхалъ.—Ну, передъ тобой, сказалъ баринъ, молодецъ: не поддался! поѣзжай, лошадь твоя!

Съ этихъ то поръ цыганъ зажилъ опять по настоящему обычаю своему и по охоткѣ; съ денегъ цыгану никогда таланту нѣтъ, богатство ему не далось, на одномъ мѣстѣ сидѣть также не рука; а коли добрая лошадь попалась, такъ съ нея отъ всего скорѣе разживется: такъ съ нимъ и сталось!

ПОДТОПЪ

Кто живалъ небольшимъ помѣщикомъ въ деревнѣ, тотъ и плакался на лихоту людскую: на недобраго сосѣда, да на недобрыхъ заступниковъ нашихъ, блюстителей порядка. Однако не все плакать, надо и посмѣяться; а ловкому мошенничеству иногда поневолѣ улыбнешься.

Вы знаете, что у насъ есть рѣчки, на которыхъ мельницы-мутовки выросли подъ каждымъ кустомъ, какъ грибы, и знаете, что владѣльцы сосѣднихъ мельницъ всегда бываютъ между собою въ ссорѣ за воду: сосѣдъ, пониже меня, въ упалую воду жалуется, что я держу запасъ, не спускаю столько воды, сколько ему нужно; я сваливаю вину на своего сосѣда, выше по рѣкѣ; а въ половодье, каждый изъ насъ обвиняетъ того, кто подъ нимъ, въ подпрудѣ и подтопѣ; каждый, кто успѣетъ и сумѣетъ захватить и удержать воду, старается сохранить ее въ запасъ, на то время, какъ пойдетъ ниже межени; а этимъ то онъ и подтапливаетъ верхо́вые луга или и самую мельницу. Законы наши на это довольно строги и справедливы, охраняя права каждаго; желательно только, чтобы и исполнители закона были правы и безстрастны, какъ самый законъ.

Помѣщикъ, у котораго мельница молола слабо, вздумалъ исправить бѣду довольно просто: прибавивъ вершковъ на шесть поперечника подливнаго колеса. Первымъ слѣдствіемъ этого было, разумѣется, что колесо сѣло ниже и что, какъ говорится, *оказался подтопъ*. Стали обсылаться на словахъ, а тамъ и письменно, съ нижнимъ сосѣдомъ, требуя, чтобы онъ спустилъ воду. Почитая себя въ своемъ правѣ, сосѣдъ не хотѣлъ этого и слышать, отвѣчая, что если-де по произволу увеличивать размѣръ колеса, да по немъ и воду держать, то можно заставить спустить всю, и что на такое безразсудное требованіе согласиться нельзя. Вода стоитъ, какъ стояла прежде, и потому подтопу нѣтъ.

Верхнему уступить не хочется; поговорилъ онъ съ земскими, которые отъ такой ссоры себѣ худа не чаяли, и подалъ просьбу. Загорѣлось дѣльце. Подоили того и другого, протянули на полгода; снять подоили—такъ прошелъ и годъ. Собирали и понятыхъ и допрашивали, собирали ихъ и держали по недѣлѣ безъ допросу, писали, отписывались, наводили справки—прошло еще полгода. Одинъ сидитъ съ подтопомъ и съ богатырскимъ колесомъ своимъ и ждетъ спуска воды, не разсчитывая проторей разнаго рода и убытковъ отъ стоянки мельницы;—другой стоитъ за правое дѣло свое, пожимается, но не уступаетъ. Наконецъ дошло дѣло и до суда; и тутъ, разумѣется, безъ хлопотъ и раструски не обошлись; обратили дѣло для дослѣдованія, тамъ еще разъ для переслѣдованія,—но какъ всему на свѣтѣ долженъ быть и есть конецъ, то и тутъ, наконецъ, судъ рѣшилъ, что слѣдуетъ окончательно дополнить слѣдствіе, приведя въ точную извѣстность, какая была межень воды до спора и какова она теперь, и поставить клейменый столбъ, съ чертою межени. Присланъ для этого и землемѣръ,

гроза сельскихъ обывателей и главарь поземельныхъ и другихъ подобныхъ тяжебныхъ дѣлъ.

Въ это время, на бѣду, нижній сосѣдъ отлучился въ губернскій городъ и оставилъ своего бурмистра. Временный земскій судъ, условившись, въ чемъ слѣдовало, съ верхнимъ владѣльцемъ, назначилъ день выѣзда, въ который де при понятыхъ повѣряться будетъ уровень воды *въ натурѣ*. Тотъ изъ этихъ господъ, кто улаживалъ дѣло, подослалъ напередъ прикормленнаго человѣка къ бурмистру отсутствующаго помѣщика: вотъ-де, такъ и такъ, въ воскресенье будетъ судъ; исправникъ, самъ ты знаешь, много доволенъ твоимъ бариномъ и держитъ его руку, такъ видишь-ли, однако, чтобы тутъ чего не вышло; оно все-таки дѣло спорное и будетъ придираться сосѣдъ—а сдѣлайте вы вотъ что: спустите-ка вы въ ночь на воскресенье вершковъ шесть воды; мы пріѣдемъ, опросимъ, выйдемъ на мѣсто, всѣ покажутъ, что подтопа нѣтъ, что вода у васъ въ межени, либо еще и ниже—тѣмъ мы дѣло и повершимъ; а вы послѣ, пожалуй, себѣ опять поудержите воду, такъ и накопите въ трои сутки; теперь воды много.

Бурмистръ раскланивался и благодарилъ за барина своего, угостилъ лазутчика, чѣмъ могъ, и обѣщалъ ему еще благодарность. Бурмистру совѣтъ это былъ по сердцу, какъ нельзя больше; онъ привыкъ съ издѣтства къ такимъ невиннымъ хитростямъ, безъ которыхъ и въ правомъ дѣлѣ иногда правды добиться трудно, и видѣлъ въ этой уловкѣ несомнѣнный успѣхъ.

Прошло воскресенье, а съ нимъ наѣхалъ и судъ съ землемѣромъ, напередъ на верхнюю мельницу, гдѣ прежде была подпруда, потому что было опущено колесо, а теперь, когда нижній сосѣдъ временно спустилъ воду, мельница молола въ порядкѣ Послѣ ве-

селаго завтрака, выѣхали они на мельницу, гдѣ все оказалось въ порядкѣ. Ну — что, ребята, подтопу нѣтъ?—Нѣтъ.—А вы, спросили у понятыхъ со стороны нижняго помѣщика, вы теперь довольны, не жалуетесь, вода въ межени?—Довольны, и баринъ нашъ останется доволенъ.—Ну вотъ, и ладно. Такъ чего же баринъ вашъ спорилъ, изъ за чего-жь онъ дѣло заводилъ и насъ тормошилъ, и сосѣда безпокоилъ, а? А сосѣдъ-то, вѣдь, человѣкъ почтенный!

Повѣренные и понятые молчали на эту выходку, почесываясь, а исправникъ обратился опять къ дѣлу. Отобрали сказки и заручныя, а между тѣмъ у землемѣра оказался наготовѣ столбикъ, который былъ гдѣ-то заложенъ на подводѣ; принесли столбъ, поставили его тутъ же, при свидѣтеляхъ, въ воду, пониже плотины, разожгли клеймо, заклеймили, и провели черту межени, по уровню воды. Тотчасъ же сѣли и поскакали на нижнюю мельницу; тутъ и спрашивать было нечего, понятые были уже опрошены и остались позади, и другой готовый столбикъ нашелся; его поставили въ воду повыше плотины, и такъ же положили на него неприкосновенное казенное клеймо и провели черту межени по уровню воды. «Вотъ вамъ и всѣмъ спорамъ конецъ, сказалъ исправникъ; и вамъ, и намъ спокойнѣе будетъ; теперь обѣ стороны довольны, и никому чужого не надо. Держите жь вы воду по чертѣ, такъ и привязки не будетъ: а вы скажите вашему барину, чтобы онъ не жаловался по пустякамъ, не тревожилъ бы насъ и добрыхъ сосѣдей.»

Бурмистръ разинулъ ротъ и растопырилъ пальцы: теперь только спохватился онъ, что его объѣхали на кривой. Но какъ стать спорить? О чемъ? Самъ онъ объявилъ и далъ сказку, что вода теперь въ межени и что выше этого они воды не держатъ; какъ признаться, что она была спущена по злоумышленному

совѣту? Помѣщикъ нижней мельницы воротился и его поздравили съ благополучнымъ окончаніемъ тяжбы. Помѣщикъ верхней мельницы, одержавшій такую славную побѣду, свелъ счеты и плюнулъ: три года, говоритъ, надо молоть моей мельницѣ на этихъ господъ; три года будетъ она замалывать протори и поборы. Въ барышахъ, стало быть кто?

ПОСЛУХЪ

(Преданіе.)

— Куда ты меня завезъ, проклятый? — кричалъ баринъ изъ коляски на ямщика, который, сидя на козлахъ, съ видимымъ безпокойствомъ оглядывался во всѣ стороны, покрикивая и понукая лошадей, явнымъ образомъ только для своего ободренія.

— Ничего, вотъ, дастъ Богъ, выберемся, — говорилъ онъ.

А тамъ опять ворчалъ про себя довольно внятно:

— Ахъ ты Господи! что ты будешь дѣлать? Вотъ наказаніе за грѣхи наши! лошадей зарѣжемъ совсѣмъ.

Ночь была темная. Небо заволокло тучами. Осенній, довольно рѣзкій, боковой вѣтеръ тянулся по равнинѣ, и ободья колесъ окатились густою, липкою грязью, шириною въ поларшина. Лошади тянули въ упоръ ступою и пофыркивали. «Ну, будь здоровъ!» отзывался повременамъ ямщикъ, прибавляя къ этому обычному пожеланію иногда другое: «чтобъ те лопнуть!» и, привставая на козлахъ, опять оглядывался кругомъ. Наконецъ онъ молча слѣзъ, а потомъ, ворча и проклиная неизвѣстно что и кого, пошелъ, нагнувшись, бродить по сторонамъ, покапывая передъ собою кнутови-

щемъ и отыскивая потерянную дорогу, какъ булавочку. Баринъ согналъ, въ помощь ему, соннаго слугу, сидѣвшаго копной на запяткахъ, а потомъ съ отчаянною рѣшимостью завернулся въ шубу и прилегъ въ самый задъ коляски.

Черезъ нѣсколько времени голоса въ сторонѣ коляски сдѣлались слышнѣе. Слуга бранился, а ямщикъ сталъ веселѣе и разговорчивѣе, даже смѣялся и много поумнѣлъ заднимъ умомъ. Они нашли какую-то дорогу, и догадливый ямщикъ разсказывалъ рѣшительно, подробно и краснорѣчиво, гдѣ, какъ и когда имъ слѣдовало бы своротить и придержаться правой руки, а поднявшись на гору, не вѣрить глазамъ, потому что глазъ обманетъ, особенно, когда не видитъ низги, а, вѣрить надо лошадямъ, которыя никогда не обманутъ, и прочее. Къ кому относились всѣ наставленія и нравоученія эти, — неизвѣстно. Никто не мѣшалъ ямщику слѣдовать имъ въ свое время, потому что и баринъ спалъ, и слуга спалъ, и никто изъ нихъ въ распоряженія его не мѣшался; но, вѣроятно, и самъ онъ также спалъ, да и надежныя лошади его задремали и протащили коляску Богъ вѣсть куда, въ сторону.

Какъ бы то ни было, дорогу нашли, выбрались на нее по пнямъ и кочкамъ, и ямщикъ сталъ покрикивать на лошадей повеселѣе. Вскорѣ увидѣли свѣтъ, пріѣхали къ жилому мѣсту. Баринъ все молчалъ, отдавшись на волю судьбы и ямщика; а этотъ, не говоря ни слова или, по крайней мѣрѣ, разговаривая только самъ съ собою и съ лошадьми, слѣзъ съ козелъ, постучался въ первыя ворота, которыя ему попались, поговорилъ съ бабой, пришедшею отпирать ихъ, и въѣхалъ во дворъ. Тогда только баринъ спросилъ:

— Да куда же ты меня привезъ?

— Да куда привезъ!—отвѣчалъ тотъ:—куда Богъ велѣлъ: въ деревню привезъ! Слава Богу, что добра-

лись. На распутьѣ не ночевать стать въ экую непогодь. Покормимъ, да и ободняетъ, такъ дастъ Богъ, по добру, по здорову выберемся.

Это была не деревня, а цѣлое село или, лучше сказать, нѣсколько деревень, собранныхъ въ кучку. Дворовъ сто, съ видною усадьбой и ухожами, составляли вотчину богатаго барина, котораго несмѣтная дворня съ музыкантами и псарями объѣдали пуще всякой саранчи, такъ что печѣмъ уплачивать было процентовъ въ опекунскій совѣтъ. Все остальное, по десяткамъ, по пяткамъ и даже по парамъ избушекъ, раздроблено было владѣльцевъ на пятнадцать. Ямщикъ привезъ нашего путника къ одной изъ такихъ владѣтельныхъ особъ, вдовѣ, старушкѣ, которая сама жила въ крестьянской избѣ и не отказала проѣзжему въ пристанищѣ.

Баринъ вышелъ, весьма недовольный похожденіями своими, изъ коляски; но когда онъ вошелъ въ избу, гдѣ уже освѣтились окна, то имъ овладѣло чувство холи и уютности, которое всегда утѣшаетъ путника при переходѣ изъ-подъ ненастной, темной ночи въ теплую и опрятную свѣтелку. Хозяйка была радушна и привѣтлива, не докучая, впрочемъ, своею привѣтливостью; чай былъ поданъ безъ суетни и бѣготни, довольно скоро; самоваръ не дымился, не чадилъ, столъ — на всѣхъ четырехъ ножкахъ; у чайника не былъ отшибенъ ни носикъ, ни ручка; а шнурокъ, которымъ крышечка держалась за ручку эту, былъ довольно опрятенъ. При видимой бѣдности, весь передній уголъ, сверху донизу, былъ уставленъ иконами въ огромномъ кивотѣ, на уступѣ котораго лежало нѣсколько священныхъ книгъ съ застежками; на окнѣ было нѣсколько мѣдныхъ копѣекъ, предназначенныхъ для подаянія и оставшихся отъ прошедшаго дня. Съ женщиной, которая прислуживала, старушка говорила вполголоса,

тихо и кротко. Оглянувшись кругомъ, путникъ замѣтилъ, что изба была чрезвычайно ветха. Онъ заговорилъ объ этомъ съ хозяйкой, которая сказала ему, что изба срублена еще дѣдомъ ея, что она не въ состояніи поставить новую, а надѣется дожить въ ней до конца своего вѣка, котораго, по ея мнѣнію, осталось же не Богъ знаетъ сколько.

Пріѣзжему постлали постель въ переднемъ углу. Онъ улегся и вскорѣ уснулъ, между тѣмъ какъ хозяйка легла за перегородкой. Лампадка передъ иконами теплилась, свѣчи были погашены. Усталому путнику приснился какой-то крестный ходъ, церковное пѣніе и большое стеченіе народа; но всѣ люди одѣты были не такъ, какъ ходятъ живые, а будто въ саванахъ. Одно только священство съ причтомъ облачено было въ праздничныя ризы. Онъ проснулся отъ капли святой воды, брызнувшей ему въ лицо, при окропленіи народа, и, къ удивленію своему, увидѣлъ наяву продолженіе этого сна. Въ свѣтелку, въ которой стѣны и перегородка какъ будто были отнесены и терялись въ отдаленіи — по крайней мѣрѣ, онъ не могъ ихъ ясно отличить — вошелъ старый, сѣдой священникъ со святыми дарами, а за нимъ весь причтъ. Послѣ молебна, въ продолженіе котораго старушка спала спокойно, священникъ исповѣдывалъ и пріобщалъ ее св. тайнъ, а затѣмъ окончилъ служеніе. Толпа народу въ саванахъ, малые и великіе, дѣти и старики, женщины и мужчины, всѣ прикладывались, послѣ креста, въ рукѣ старушки, которая во все время не просыпалась, и наконецъ все исчезло.

Долго лежалъ проѣзжій въ какомъ-то недоумѣніи, стараясь придти въ себя и объяснить себѣ все, что видѣлъ; но онъ не могъ отдать себѣ въ этомъ никакого отчета. Все было тихо и спокойно, стѣны избы и перегородка на своихъ мѣстахъ; лампадка теплилась,

едва только бросая тусклый свѣтъ, а между тѣмъ, онъ видѣлъ то, что сейчасъ происходило, не во снѣ, а наяву. Наконецъ онъ успокоился тѣмъ, что явленіе это во всякомъ случаѣ не могло быть дурнымъ знаменіемъ, а, напротивъ, развѣ только хорошимъ. Усталость взяла верхъ, и онъ, хотя и очень поздно, заснулъ опять крѣпкимъ сномъ.

Утромъ проснулся онъ, и то будто съ какимъ-то усиліемъ, отъ призыва по имени и отчеству. Передъ нимъ стоялъ слуга, подпоясанный и съ шапкою въ рукахъ, стоялъ и докладывалъ, что уже очень поздно, что проспали лучшее время для выѣзда и что ямщикъ съ нетерпѣнія ворчитъ. Баринъ вскочилъ, опомнился, и видѣніе напередъ всего пришло ему на память. Онъ оглянулся: чайный приборъ былъ поставленъ на столѣ, и женщина вносила закипавшій самоваръ. Хозяйка, опрятно одѣтая, со спокойнымъ лицомъ, вышла изъза перегородки, поздоровалась съ гостемъ, спросила, какъ онъ почивалъ, и принялась заваривать чай. Проѣзжій все еще не могъ опомниться, всталъ, умылся, присѣлъ къ чаю, поглядывалъ на хозяйку и не доискивался словъ, ни для вопроса, ни для отвѣта. Она, повидимому, ничего не знала о томъ, что ночью съ нею сталось, а онъ не зналъ, какъ это понять и что обо всемъ этомъ подумать. Напились чаю, слуга вытаскалъ вещи барина, разсчитались съ хозяйкой, которая была до того умѣренна въ своихъ требованіяхъ, что никакъ не хотѣла принять плату за что-либо, кромѣ овса и сѣна: «хлѣбъ-соль отплатное, взаимное дѣло, говорила она:—за хлѣбъ-соль расплачиваться грѣхъ». Наконецъ, по крайнему настоянію проѣзжаго, она согласилась, чтобы онъ положилъ деньги самъ на окно, гдѣ лежало уже нѣсколько мелочи, сказавъ, что въ такомъ случаѣ, онѣ пойдутъ на раздачу нищимъ.

Баринъ сѣлъ въ коляску, въ раздумьѣ о ночномъ

приключеніи; слуга обошелъ еще разъ кругомъ, осмотрѣлъ гайки и винты, поковырялъ пальцемъ на одномъ мѣстѣ, гдѣ, какъ ему уже давно извѣстно было, недоставало гайки, и, поковырявъ, заглянулъ туда, будто хотѣлъ удостовѣриться, не выросла ли она, можетъ быть, за ночь, потомъ онъ усѣлся на запяткахъ, сказавъ громко: «съ Богомъ!» и ямщикъ тронулъ лошадей. Хозяйка, проводивъ своего гостя на крыльцо, воротилась въ избу.

Въ эту минуту, когда коляска, едва только выѣхавъ изъ воротъ, поворотила направо и поровнялась съ самой избой старушки, раздался глухой гулъ и трескъ, и вся избушка рухнула въ облакѣ пыли. Первая мысль проѣзжаго была, что передъ нимъ пожаръ; но вслѣдъ затѣмъ онъ опомнился, закричалъ: «стой!» и, выскочивъ изъ коляски, которую испуганныя лошади промчали сажень сто дальше, воротился пѣшкомъ на мѣсто происшествія. Изба, въ которой онъ ночевалъ, обрушилась. Срубъ еще стоялъ отчасти, но вся кровля, со стропилами, съ потолкомъ или накатомъ и переводинами провалилась внутрь. Участіе и любопытство заставили проѣзжаго выждать конца: народъ сбѣжался, помѣщики и помѣщицы изо всего села сошлись, и вскорѣ разобрали избу и вынесли изъ нея два трупа; хозяйку и прислужницу ея. Болѣе тамъ никого не было.

Всѣ толковали, иные изумлялись, другіе утверждали, что они давно пророчили сосѣдкѣ такой несчастный конецъ, потому что верхніе вѣнцы избы и концы переводинъ сгнили и свѣтились по ночамъ мышинымъ огонькомъ. Вскорѣ подошли къ толпѣ и два священника этого села. Народъ вообще очень жалѣлъ о старухѣ, крестился и сулилъ ей царство небесное, называя матерью калѣкъ и нищихъ, богобоязненною и христолюбивою.

— Все такъ,—сказалъ одинъ изъ священниковъ:— а смерть не хороша: отдала Богу душу безъ покаянія. Ее отпѣвать и хоронить на святомъ мѣстѣ нельзя.

Въ числѣ окружающихъ нашлись люди, которые, въ уваженіе доброй памяти старухи, заступились за прахъ ея и стали упрашивать священниковъ, чтобы ее честно похоронить, какъ женщину, которую всѣ поминали однимъ только добромъ; но священникъ отказывался, и собратъ его съ нимъ соглашался.

Тогда проѣзжій вдругъ вспомнилъ, чему онъ въ ночи былъ свидѣтелемъ. Подумавъ немного, онъ обратился напередъ къ стоящимъ тутъ помѣщицамъ и разсказалъ имъ ночное похожденіе. Всѣ слушали его съ величайшимъ любопытствомъ и изумленіемъ, крестились и молились; подойдя къ обоимъ священникамъ, они просили ихъ выслушать показаніе проѣзжаго, который повторилъ гласно то же, разсказавъ все, что видѣлъ, во всей подробности, присовокупивъ, что готовъ сейчасъ же присягнуть въ истинѣ своихъ словъ.

— Какой же это былъ священникъ? не изъ насъ ли кто нибудь?—спросилъ одинъ священникъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ проѣзжій:—это былъ низенькій старичекъ; худощавый, въ бѣлыхъ, кудреватыхъ волосахъ и съ узенькой бородой, почти по поясъ.

Всѣ съ изумленіемъ взглянули другъ на друга, а нѣкоторые отъ благоговѣйнаго страха отступили шагъ назадъ: всѣ узнали въ этомъ описаніи умершаго, года за два, сельскаго священника.

Подумавъ немного и посовѣтовавшись между собой, священники рѣшили, что, стало быть, старушка умерла не безъ покаянія, а исполнивъ всѣ христіанскія обязанности, и поэтому она была отпѣта и похоронена, при большомъ стеченіи народа, какъ добрая и вѣрная христіанка.

АРХИСТРАТИГЪ

Когда наши войска воротились домой изъ-подъ Франціи, то охочимъ сказанъ былъ отпускъ на цѣлый годъ. Годовъ съ восемь изъ дому мнѣ вѣстей не было никакихъ: не то померли всѣ—царство имъ небесное,—не то живы; а пора была такая, что тутъ было не до писемъ.—А что, сказалъ я землякамъ:—пойду и я; денегъ, благодаря Бога, у меня много, потому что жалованье шло заграничное; хоть повидаться, поотдохнуть да поразсказать, каковъ на свѣтѣ Парижъ городъ живетъ.

И пошелъ. Съ мѣста наняли мы подводу,—а насъ было человѣкъ десять попутчиковъ; прошли верстъ двѣсти, тутъ отдѣлились отъ насъ трое, а подъ конецъ, на границѣ своей губерніи, Курской, осталось насъ только двое земляковъ. Опять таки наняли было подводу, да въ Фатежѣ товарищъ захворалъ, остался въ больницѣ, а мнѣ выжидать его не приходилось, и я пошелъ дальше. Одному подводу нанимать не по карману. Не привыкать стать нашему брату журавлемъ шагать, да и не далече. Я вскинулъ котомку за плечи, взялъ посохъ въ руки да и пошелъ одинъ путемъ-дорогой. Мѣста не то чтобы знакомыя, а все ужь не

такъ далеко: верстъ сто и всего-то отъ дому,—такъ и идти какъ-то стало веселѣе.

Настигли меня сумерки на большой дорогѣ, за поворотомъ съ фатежской на курскую; а пора была осенняя, глухая, темная: пришлось искать, гдѣ бы приклонить на ночь усталую головушку. Тутъ по дорогѣ было много постоялыхъ дворовъ, и хотя нашему брату служивому эти постоялые дворы не больно сподручны, а выгоднѣе и спокойнѣе заходить въ деревню къ простымъ мужичкамъ, да ужь тутъ дѣлать было нечего, выбирать некогда. Я остановился да сталъ осматриваться, въ которыя бы ворота постучаться; а встрѣчу мнѣ идетъ какой-то, видно, зазывать вышелъ, да и говоритъ: «Что, землякъ, не ночевать ли?... Просимъ милости на хлѣбъ на соль.» Я, отозвавшись да отблагодаривъ, подошелъ, а онъ, разглядѣвъ, что передъ нимъ служивый, и отворотилъ было отъ меня рыло-то: «дескать, съ вашего брата взятки гладки и за безпокойство поживы не будетъ!»

— Ну, зазвалъ, — сказалъ я: — такъ ужь не откидывайся, землякъ: вѣдь я домой пришелъ, это моя губернія; а что проѣмъ, заплачу. Не бойся, на это станетъ: вѣдь, я изъ заграничной арміи.

Услышавъ это, онъ опять подался: сталъ поласковѣе; а извѣстное дѣло, что въ тѣ поры всѣ наши изъ-за границы приходили съ деньжонками.

— Ну, говоритъ, съ Богомъ, поди. Вонъ это дворъ мой. Скажи хозяйкѣ, что я прислалъ: а мнѣ надо еще тутъ побыть: не будетъ ли обоза; никакъ, подъ горой кто-то покрикиваетъ.

Вошелъ я въ избу, помолился, поздоровался — гляжу, хозяйка не старая, видная, здоровая.

— Коли хозяинъ прислалъ, говоритъ, такъ съ Богомъ, распоясывайся.

— Расноясываться нашему брату служивому нечего: разстегнулъ шинель походную, да и вся недолга! Поразговорилась хозяйка и ласкова стала: то пожалѣетъ за нужду военную, то пошутитъ да приголубитъ, про походы разспрашиваетъ и какую кто поживу принесъ отъ француза.

— А кому какое счастье послужило, — говорю я. — Извѣстно, что съ бою взято, то и свято. Ну, и жалованье царское шло намъ серебромъ да золотомъ.

— Стало быть, и всѣ вы богаты воротились?

— Иной, говорю, порастрясъ все тамъ, то за французскими пуштиками, то съ нѣмцами бирки потрынкалъ, кто во что горазъ, благо своя воля.

— Да ужь отъ вашего брата, говоритъ, что путнаго ждать! что жь, и ты такимъ же гоголемъ домой пришелъ?

— Ну, говорю, кто Богу не грѣшенъ, Царю не виноватъ; однако, я былъ не изъ первыхъ гулякъ: не то, чтобы все прокутилъ, а помнилъ и своихъ. Вотъ теперь и пришелъ домой, да коли дастъ Богъ застану кого въ живыхъ, а, надо быть, двѣ сестры мои ужь подросли, такъ я ихъ и уважу, по червончику, другому имъ на приданое принесу.

Пришелъ хозяинъ, а хозяйка подала щей. Какъ поглядѣлъ я на него при огнѣ, что-то больно не понутру онъ мнѣ показался. Сказано слово: «съ чернымъ въ лѣсъ не ходи, съ рыжимъ ночи не спи»; а ужь коли нашъ братъ курскій рыжій, такъ держи ухо остро! «Ну, думаю, Господь съ нимъ: мнѣ только бы переночевать, да спозаранку убраться».

— Поужиналъ я, помолился, разулся и легъ на лавкѣ; а ночевалъ я у нихъ одинъ: видно, извощиковъ хозяинъ не успѣлъ зазвать. Засыпая, я только подумалъ, какъ-то завтра разсчитаюсь съ рыжимъ. Ну, да

не пять же рублей онъ за свои щи слупитъ съ нашего брата! извѣстно, полтиной мѣди чистъ будешь, а больше не возьметъ.

Уморившись съ переходу, какъ я свалился, когда огонь погасили, такъ и уснулъ, только еще прочиталъ до половины молитву своему ангелу, Архистратигу. Вдругъ просыпаюсь ночью, таки вотъ словно кто меня студеной водой окатилъ, и сразу вскочилъ на ноги, гляжу: хозяйка вздула огонь, да взяла въ руки топоръ, а хозяинъ съ ножемъ, да оба прямо идутъ на меня. Пропалъ я, стало быть: вотъ въ какую берлогу меня Господь принесъ; а при мнѣ нѣтъ ни даже щепочки, чѣмъ бы отбиться! И самъ не знаю, какъ и съ чего это во мнѣ вдругъ взялось, будто кто за меня вымолвилъ,—только я, взмолившись хозяину, говорю: «Что ты дѣлаешь! вѣдь я не одинъ здѣсь, вѣдь насъ тутъ цѣлая рота, меня спохватятся!»

Хозяинъ мой какъ будто немного опѣшалъ, однако подошелъ вплоть:

— Поздно теперь, говоритъ, сказки сказывать!... Какая рота? Молись да и аминь тебѣ!

— Чего ты его слушаешь? закричала хозяйка и сама кинулась на меня съ топоромъ.

Я только успѣлъ призвать на помощь ангела своего, святого Архистратига, какъ кто-то шибко застучалъ въ ставень... — молчокъ; а съ улицы голосъ подалъ кто-то, да еще шибче забарабанилъ.

— Кто тамъ? закричалъ хозяинъ, поднявъ надо мною ножъ, чтобъ я не поспѣлъ крикнуть, между тѣмъ какъ проклятая баба опустила обухъ и прислушивалась.

— Кто! развѣ не слышишь?... Не узналъ голоса фельдфебеля? Аль заспался?

— Михайло Ларіоновъ, ты, что ли?

Я, ни живъ, ни мертвъ, отозвался.

— Собирайся живѣе,—продолжалъ фельдфебель:—рота выступаетъ. Чего зѣваешь? Да живо! Не то я подыму!

Рыжій съ хозяйкой задрожали ровно листъ на осинѣ, да оба разомъ пали мнѣ въ ноги, говоря: «Не погуби, ради Спаса святаго не погуби!...»

Я схватилъ котомку, сапоги, шапку и выскочилъ изъ избы, самъ не помня какъ. Не могу понять по нынѣшній день, какъ я отперъ впотьмахъ сѣнныя двери, какъ растворилъ ворота, либо перескочилъ черезъ заборъ,—ничего не знаю. Выбѣжалъ на улицу—все темно, низги не видать и никого нѣтъ. Я взмолился еще разъ своему архангелу и пошелъ прямо, безъ оглядки, куда глаза глядятъ. Вышелъ на дорогу—отколѣ не взялась тройка курьерская, скачетъ во весь духъ да прямо на меня: я едва только успѣлъ отскочить да съ перепугу закричалъ что есть силы.

— Стой, стой!—закричалъ курьеръ, военный офицеръ:—стой! Никакъ мы кого-то задавили. .

— Да, чуть было не задавили, ваше благородіе! отозвался я.

— А ты кто таковъ?

— Служивый, ваше благородіе: иду въ домовой отпускъ; ночь настигла, ваше благородіе; сдѣлайте отеческую милость, подвезите...

— Садись, сказалъ добрый офицерь.

Сѣли и понеслись. Покуда разсвѣло, такъ ужь мы были верстъ двадцать за Курскомъ. Тутъ я поблагодарилъ офицера и пошелъ своимъ путемъ въ сторону.

— Да кто жь тебя спасъ отъ ножа и обуха!—спросили слушатели Михайла Ларіонова:—кто же постучался въ ставень и сказался фельдфебелемъ?

— А вы и не догадались?.... Эхъ, вы, маловѣрные! Вотъ то-то и есть! Кто на войнѣ не бывалъ,

тотъ досыта Богу не маливался! А кому же я взмолился? А кто за меня стоялъ, держалъ подъ своимъ покровомъ, въ сорока сраженіяхъ, отъ вступленія француза въ матушку Россію до самаго занятія Парижа?

КЛАДЪ

Кого не сведутъ съ ума клады, если онъ только соблазнится разъ какимъ нибудь сбыточнымъ или несбыточнымъ преданіемъ, разсказомъ, таинственнымъ слухомъ или народною молвою, и возьметъ заступъ въ руки? Заманчивое и соблазнительное дѣло! Съ работы будешь горбатъ, а не будешь богатъ: трудись вѣкъ, едва заработаешь на хлѣбъ. А тутъ стóитъ только удачливо попасть на слѣдъ, да осторожно и умѣючи взяться за дѣло—съ вечера вышелъ съ сумой, а на утро воротился въ золотѣ.

Вездѣ почти бывали, въ прежнія или въ позднѣйшія времена, различные перевороты, при коихъ разорялись села и города, разбѣгался народъ: часть имущества онъ уносилъ съ собою, часть пряталъ, зарывалъ въ землю, остальное доставалось непріятелю. Все это сохранилось въ темныхъ преданіяхъ народа, обратилось для кого въ простую сказку, для кого въ священное преданіе, украшеное сказочными добавленіями; и стоитъ только разъ кому нибудь, разгорячивъ воображеніе свое, или принявъ умышленно таинственный видъ, дополнить отъ себя то, чего въ преданіи недостаетъ, напримѣръ назвать мѣсто, гдѣ скрытъ мнимый кладъ,— и преданіе пойдетъ въ этомъ видѣ далѣе, перейдетъ

даже на потомство и заставить кого нибудь современемъ поискать счастья своего тамъ, гдѣ его, вѣроятно, нѣтъ и не бывало.

Есть и другого рода поводы подобныхъ преданій: въ былое время кой-гдѣ важивались шайки разбойниковъ, у которыхъ не бывало ни банковъ, ни казначейства, ни даже надежной осѣдлости, подъ охрзною которой они не могли бы обезпечить богатства, изрѣдка пріобрѣтаемыя ихъ промысломъ, и они зарывали ихъ въ землю. На этомъ основаніи, преступники разнаго рода, сидя подъ стражей, нерѣдко сами распускали ложный слухъ о зарытыхъ ими деньгахъ, въ надеждѣ соблазнить и подкупить этимъ сторожей своихъ или, по крайней мѣрѣ, найти случай ускользнуть изъ подъ замка и запора для указанія мѣста, гдѣ мнимые клады эти зарыты. Наконецъ, простолюдины наши, не только встарину, но и понынѣ, иногда зарываютъ деньги свои въ горшкахъ и котлахъ, въ берестовыхъ котомкахъ и кувшинахъ, изъ опасенія лишиться богатства своего, либо по проискамъ и вымогательству людей, отъ коихъ они зависятъ, либо отъ воровъ, которые съ большимъ искусствомъ разузнаютъ всегда напередъ, гдѣ именно у такого-то богатаго мужика лежатъ въ дому деньги, а потомъ уже до нихъ добираются, по готовымъ и извѣстнымъ имъ слѣдамъ.

Какъ бы то ни было, а всѣ обстоятельства эти поселили въ народѣ необычайное легковѣріе къ кладамъ, и дали плутамъ средства прибирать къ рукамъ кладоискателей и, въ ожиданіи мнимаго богатства, располагать настоящимъ имуществомъ обманутыхъ. Вотъ источникъ служащихъ собственно для этой цѣли, для мошенничества, *кладовыхъ записей*, составленныхъ будто бы хозяевами кладовъ, для памяти, и найденныхъ послѣ ихъ смерти. Этими тайными записями, а иногда и простыми замѣтками, въ довольно общихъ словахъ,

КЛАДЪ

Кого не сведутъ съ ума клады, если онъ только соблазнится разъ какимъ нибудь сбыточнымъ или несбыточнымъ преданіемъ, разсказомъ, таинственнымъ слухомъ или народною молвою, и возьметъ заступъ въ руки? Заманчивое и соблазнительное дѣло! Съ работы будешь горбатъ, а не будешь богатъ: трудись вѣкъ, едва заработаешь на хлѣбъ. А тутъ стóитъ только удачливо попасть на слѣдъ, да осторожно и умѣючи взяться за дѣло—съ вечера вышелъ съ сумой, а на утро воротился въ золотѣ.

Вездѣ почти бывали, въ прежнія или въ позднѣйшія времена, различные перевороты, при коихъ разорялись села и города, разбѣгался народъ: часть имущества онъ уносилъ съ собою, часть пряталъ, зарывалъ въ землю, остальное доставалось непріятелю. Все это сохранилось въ темныхъ преданіяхъ народа, обратилось для кого въ простую сказку, для кого въ священное преданіе, украшеное сказочными добавленіями; и стоитъ только разъ кому нибудь, разгорячивъ воображеніе свое, или принявъ умышленно таинственный видъ, дополнить отъ себя то, чего въ преданіи недостаетъ, напримѣръ назвать мѣсто, гдѣ скрытъ мнимый кладъ,—и преданіе пойдетъ въ этомъ видѣ далѣе, перейдетъ

даже на потомство и заставитъ кого нибудь современемъ поискать счастья своего тамъ, гдѣ его, вѣроятно, нѣтъ и не бывало.

Есть и другого рода поводы подобныхъ преданій: въ былое время кой-гдѣ важивались шайки разбойниковъ, у которыхъ не бывало ни банковъ, ни казначейства, ни даже надежной осѣдлости, подъ охраною которой они не могли бы обезпечить богатства, изрѣдка пріобрѣтаемыя ихъ промысломъ, и они зарывали ихъ въ землю. На этомъ основаніи, преступники разнаго рода, сидя подъ стражей, нерѣдко сами распускали ложный слухъ о зарытыхъ ими деньгахъ, въ надеждѣ соблазнить и подкупить этимъ сторожей своихъ или, по крайней мѣрѣ, найти случай ускользнуть изъ подъ замка и запора для указанія мѣста, гдѣ мнимые клады эти зарыты. Наконецъ, простолюдины наши, не только встарину, но и понынѣ, иногда зарываютъ деньги свои въ горшкахъ и котлахъ, въ берестовыхъ котомкахъ и кувшинахъ, изъ опасенія лишиться богатства своего, либо по проискамъ и вымогательству людей, отъ коихъ они зависятъ, либо отъ воровъ, которые съ большимъ искусствомъ разузнаютъ всегда напередъ, гдѣ именно у такого-то богатаго мужика лежатъ въ дому деньги, а потомъ уже до нихъ добираются, по готовымъ и извѣстнымъ имъ слѣдамъ.

Какъ бы то ни было, а всѣ обстоятельства эти поселили въ народѣ необычайное легковѣріе къ кладамъ, и дали плутамъ средства прибирать къ рукамъ кладоискателей и, въ ожиданіи мнимаго богатства, располагать настоящимъ имуществомъ обманутыхъ. Вотъ источникъ служащихъ собственно для этой цѣли, для мошенничества, *кладовыхъ записей*, составленныхъ будто бы хозяевами кладовъ, для памяти, и найденныхъ послѣ ихъ смерти. Этими тайными записями, а иногда и простыми замѣтками, въ довольно общихъ словахъ,

плуты торгуютъ, вызывая охотниковъ покупать ихъ за наличныя деньги и дѣлая еще, сверхъ того,—болѣе для вида,—условія о раздѣлѣ клада, если бы онъ отыскался.

Но вотъ является новое обстоятельство: преданіе завѣрило меня, что около такого-то мѣста лежитъ кладъ разбойника Кудеяра, или даже Ваньки Каина, Гаркуши, Гришки Отрепьева; послѣ долгихъ стараній и издержекъ, я пріобрѣлъ наконецъ и таинственную запись, въ которой мѣсто это довольно подробно означено, а между тѣмъ всѣ труды мои пропадаютъ: я не могу найти ровно ничего, хотя и изрылъ уже вокругъ всю мѣстность.... Объясненіе такого явленія очень просто: клада этого нѣтъ, потому что его и не бывало и никто его не зарывалъ; но я этому не хочу вѣрить, а тотъ, кто меня обманулъ, и подавно. Итакъ, кладъ есть, безспорно, и надежда еще не потеряна; но онъ не дается: онъ положенъ со *словцомъ*, съ зарокомъ; его стережетъ нечистый и выдастъ только тому, кто сумѣетъ его взять, или кто исполнитъ зарокъ.... Новая забота, новые догадки, розыски, хлопоты и новый случай поддѣть легковѣрнаго; идутъ къ знахарю, отыскиваютъ спрыгъ или разрывъ-траву, отъ которой всѣ подземные запоры и затворы распадаются, либо,—еще лучше,—цвѣтъ папоротника, при свѣтѣ коего земля сквозитъ, дѣлается прозрачною, клады выходятъ наружу и безъ всякихъ хлопотъ даются въ руки....

Между тѣмъ нельзя оспаривать, что если не кладоискатели, то другіе люди отъ времени до времени случайно находятъ неизвѣстно кѣмъ и когда зарытыя въ землю деньги,—и вотъ это служитъ новымъ торжествомъ и въ то же время предметомъ зависти и подстрекательствомъ для первыхъ. Напримѣръ, баба мыла бѣлье на рѣчкѣ, на такомъ мѣстѣ, гдѣ тысячи бабъ или, по крайней мѣрѣ, тысячу разъ бабы полоскались

до нея; на берегу стоялъ, всѣмъ давнымъ-давно знакомый, ивовый пень, который едва только за память старикомъ когда-то былъ въ сучьяхъ и зелени. Въ этомъ пнѣ, съ такихъ же едва памятныхъ временъ, было просторное, глубокое дупло, наполненное снизу иломъ и пескомъ, отъ выступавшей ежегодно рѣчки. Баба складывала бѣлье на пень этотъ, а нѣкоторыя вещи положила и въ самое дупло, коего отверстіе становилось съ году на годъ шире; когда же она стала выбирать опять бѣлье свое изъ дупла, то замѣтила тамъ какой-то цвѣтной лоскутокъ, который тянулся изъ подъ песку и разлѣзся у ней подъ пальцами, когда она за него потянула; порывшись рукою немного глубже, она вынула глиняный кувшинъ, наполненный серебромъ стараго чекана. Другой пахалъ и выпахалъ изъ земли завязанное съ двухъ концовъ голенище, изъ котораго посыпались старинные рублевики; третій рубилъ избу на новомъ мѣстѣ и хотѣлъ подкатить, для стула подъ срубъ, изрядной величины камень, который искони лежалъ на одномъ мѣстѣ;—подъ камнемъ оказалась желѣзная ржавчина и навела мужика на слѣдъ зарытаго тутъ нѣкогда желѣзнаго котелка, который уже весь обратился въ ржавчину, но въ немъ стоялъ еще другой, мѣдный, нѣсколько уцѣлѣвшій и, притомъ, насыпанный вровень съ краями древнимъ русскимъ серебромъ, удѣльныхъ временъ.

Неподалеку селенія Сердобскаго уѣзда, Саратовской губерніи, кореннаго мѣсторожденія всѣхъ преданій и повѣрій о несмѣтныхъ богатствахъ, зарытыхъ нѣкогда волжскими разбойниками,—около этого селенія есть небольшой курганъ, мимо коего рѣдкій изъ крестьянъ повезетъ васъ, не разсказавъ, что тутъ лежитъ невѣсть какой большой кладъ, положенный, однакожь, не спроста, а на извѣстное число головъ; но какъ извѣстное число это неизвѣстно, да притомъ и никому

невѣдомо, сколько головъ уже погибло при безуспѣшныхъ попыткахъ поднять кладъ и скоро ли урочное число жертвъ исполнится, то и никто не знаетъ, скоро ли кладъ этотъ дастся кому нибудь въ руки! Между тѣмъ, одинъ изъ крестьянъ этого селенія, довольно плохой хозяинъ и работникъ, задумалъ разбогатѣть безъ большихъ хлопотъ и придумалъ вотъ что: прикормивъ къ себѣ какого-то сироту, мальчишку, который побирался, мужикъ мой отправился въ полночь—время, въ которое только и можно искать клады—къ этому кургану и взялъ мальчика съ собой: онъ располагалъ поднять кладъ *его руками*, съ тѣмъ, что если надобно еще кому-нибудь сложить голову свою по зароку, то пусть-де пропадетъ этотъ безродный сирота. Пошли, и мужикъ строго наказалъ своему товарищу не креститься и не поминать Бога, во все время, что они будутъ работать надъ кладомъ, а также не робѣть и даже не оглядываться, что бы ни случилось, удостовѣряя, что всѣ голоса, которые, можетъ быть, будутъ слышны въ это время, и всѣ страшилища, которыя дразнятъ языкомъ кладокопателя, ничего не смогутъ сдѣлать, если не робѣть и не смотрѣть на нихъ, потому что все это есть мара, то есть одинъ обманъ чувствъ; но стоитъ только оглянуться или струсить, и нечистая сила тотчасъ возьметъ верхъ и одолѣетъ: тогда пропадешь.

По примѣтамъ, которыя мужичекъ мой исподволь выспросилъ или подслушалъ тутъ и тамъ, онъ принялся рыть на извѣстномъ мѣстѣ кургана. Ночь была довольно темна и тиха, но небо ясно. Въ ту минуту, какъ мужикъ съ наговорами въ первый разъ ударилъ заступомъ въ землю, звѣзды, всѣ до послѣдней, попрятались и ужь не видать стало низги. Мужикъ усердно продолжалъ работу: вдалекѣ, съ полуночной стороны, послышалось отдаленное завыванье, и вскорѣ

налетѣла страшная буря, которая стонала и бушевала по степи и перегнала черезъ курганъ нѣсколько кустовъ перекати-поля. Мужикъ все еще не робѣлъ, даже попытался ударить заступомъ одинъ изъ кустовъ этихъ, не разсыплется ли онъ кладомъ: онъ уже вырылъ яму въ колѣно, и, къ радости его, буря начала утихать, какъ вдругъ усилились вой и стоны, послышалось множество голосовъ, конскій топотъ и брякъ оружія: ближе, ближе, и на дорогѣ, которая проходила подъ самымъ курганомъ, выстроилась грозная рать, на коняхъ, въ старинныхъ доспѣхахъ, а глаза у людей и лошадей горѣли ровно угольки, и паръ изъ ноздрей коней валилъ огневистый.... Только-что мужикъ мой успѣлъ струсить, какъ конная рать эта зашевелилась, встряхнулась, люди всѣ въ голосъ начали кричать непонятныя рѣчи, лошади заржали такимъ голосомъ, какъ ржетъ одинъ только нечистый; затѣмъ поднялись стукъ и брякъ, скокъ и топотъ, пальба изъ пищалей—и мужикъ мой, выскочивъ изъ ямы, пустился бѣжать... Грозная рать гналась за нимъ по пятамъ, до самой околицы. Тутъ вдругъ вся мара исчезла, какъ въ землю провалилась; ночь, по прежнему, была тиха и звѣздиста, и пѣтухи, безъ которыхъ дѣло это никогда не обходится, подхватывали и выносили «кукареку», вслѣдъ за своимъ запѣваломъ.... И на этомъ то поискѣ бѣдный сирота пропалъ безъ вѣсти, а яма, вырытая мужикомъ, оказалась заваленною. Полагаютъ, что она обратилась въ могилу для сироты, и мѣсто это получило названіе сиротской могилки.

Въ окрестностяхъ Кіева простолюдины также много занимаются кладами, частію городскіе, частію подгородные. Жилъ, а можетъ быть и теперь живетъ тамъ мѣщанинъ, изъ бывшихъ казаковъ, Лупопупенко; онъ, къ числѣ многихъ другихъ, повидимому, посвятилъ всю жизнь и малое достояніе свое кладоисканію и

упорно продолжаетъ дѣло, несмотря на всѣ неудачи, растрачивая все, что пріобрѣталъ другими способами. У него хранились въ тайникахъ, между прочимъ, до десяти желѣзныхъ щуповъ или буровъ, разныхъ размѣровъ, и множество землекопныхъ снарядовъ. Онъ отправлялся въ теченіе лѣта съ товарищами на розыски и рылся цѣлыя ночи напролетъ, тщательно размѣривая, по записямъ и преданіямъ, разстоянія по разнымъ примѣтамъ и запуская въ землю свои щупы.

Зима приходила къ концу, и Лупопупенко сталъ опять сильно думать о предстоящихъ поискахъ, которыхъ онъ жаждалъ, какъ рыба воды. Надумавшись и взявъ тайкомъ отъ хозяйки кошель съ цѣлковыми, которые заработаны были въ теченіе зимы мелочною и въ особенности табачною торговлей, онъ напередъ всего отправился съ Подола въ Печорскую часть города, гдѣ жилъ давнишній знакомецъ его, державшій росписи кладамъ. По словамъ этого человѣка, драгоцѣнныя росписи составлены были мало-по-малу многими лицами, частію уже очень давно, и пополнены достовѣрными свѣдѣніями изъ предсмертныхъ показаній и покаяній бродягъ и разбойниковъ и другихъ лицъ, знавшихъ эти тайны.

Послѣ первыхъ привѣтствій, Лупопупенко сказалъ:

— Ну, отецъ, я пришелъ за нашимъ дѣломъ: вотъ деньги тебѣ, сполна—ужь молчи, пожалуйста, чтобы меня еще жена не побила—да отдай мнѣ записи, какъ обѣщалъ, всѣ пятнадцать; да смотри же, покуда я не обыщу всѣ мѣста, не давай же другой росписи никому; а то ты, пожалуй, спишешь да и другому кому продашь, а мы съ нимъ тамъ и сойдемся, въ чистомъ полѣ, да другъ друга испугаемся. .

— Небось,—отвѣчалъ тотъ:—я не такой человѣкъ; вотъ, гляди, какъ была старенькая бумажка, вотъ, и приписка въ разные, давнишніе годы, разными черни

лами, такъ она и есть: видишь? Только вотъ что, Захаръ Прокофьичъ: вѣдь я, по уговору, на два года продаю тебѣ роспись; а черезъ два года, то есть вотъ какъ нынѣ, прощеный день Сырной седмицы, хоть ты нашелъ не нашелъ что, а роспись мнѣ принеси опять: она завѣтная; а уже за то, что нашелъ, все твое, мнѣ только по-людски да по-божьи, какъ, то есть, законъ повелѣваетъ, одну третью часть отдать, и ужь я на совѣсть твою пошлюсь. Богъ накажетъ, коли обманешь. Прочее все твое; только заручись, что черезъ два года роспись принесешь опять.

Согласились, сосчитали и убрали деньги, выпили по маленькой и принялись оба вмѣстѣ разбирать сводъ записей. Вотъ онъ, отъ слова до слова:

1) Закопаны суть деньги на Крещатикѣ, тамъ, гдѣ прежде былъ поповъ дворъ, подъ колодою и подъ глодовымъ кустомъ, въ казанѣ (т. е. котлѣ).

2) Тоже закопаны деньги и большое количество серебряной посуды, до 200 пудовъ, и серебряныхъ ключей, въ рощѣ подъ Кіевомъ, на краю возлѣ Васильковской дороги, между двумя валками, на которыхъ стоитъ по березѣ.

3) На лыбедской дорогѣ, въ Кіевѣ, которая начинается отъ рощи въ три аршина, закопанъ казанъ и глекъ (горшокъ) червонцевъ.

4) Въ срединѣ рощи, подъ Кіевомъ, въ яру возлѣ сосны, на три аршина отъ оной, закопанъ большой горшокъ карбованцевъ (цѣлковыхъ), также и малый горшокъ.

5) Въ селѣ Гусачовкѣ, подъ корчмой, съ лѣвой стороны въ углу, закопано 4,100 рублей. Кладъ сей положенъ на 12 индюшечьихъ головъ.

6) На Климовской горѣ, въ Кіевѣ, есть погребъ, въ яру по лѣвый бокъ отъ церкви Воздвиженья. Въ томъ погребѣ 14 бочекъ серебра.

7) Въ селѣ Гвоздовкѣ, подъ корчмою въ углу, закопаны съ лѣвой стороны 400 червонцевъ и шпага, облитая золотомъ. Со словцомъ.

8) Въ селѣ Германовкѣ, у шляхтича Корякаго въ огородѣ, въ углу, закопанъ большой казанъ денегъ. Мѣсто свѣтится тому, кто три дня тощаетъ.

9) Въ лѣвой брамѣ (воротахъ) въ Кіевѣ, на смежномъ валу съ лѣвой стороны, закопано великое множество серебряной посуды.

10) Въ Кіевѣ, на Кириловскомъ полѣ, есть могила: въ той могилѣ казанъ и четыре сундука съ серебряной посудой и деньгами.

11) Въ Кіевѣ на рогѣ Дѣтинкѣ, закопанъ боченокъ съ червонцами.

12) Въ Кіевѣ на Крещатикѣ—глекъ съ червонцами, подъ черемухой.

13) Подъ рощею, между двумя дорогами, подъ кривою березою, на западъ солнца, третья ступеня (шагъ)—казанъ червонцевъ.

14) Противъ пригорка къ Вышгороду, на долинѣ, три сосны по бѣлому озеру, а на тѣхъ соснахъ примѣты: на одной три, на другой двѣ, а на третьей одна посѣка, или знакъ. Между ними закопана воловья кожа денегъ.

15) За Днѣпромъ, возлѣ краснаго трактира, казакъ, возвращаясь въ 1812 г. съ французской войны, заболѣлъ; а близъ того есть сосна, а на той соснѣ казакъ вырѣзалъ саблю и нику и подъ тою же сосной выкопалъ саблей неглубокую яму и положилъ тамъ въ саквѣ походной большое количество денегъ, червонцами. Не доѣхавъ до дому, онъ померъ, сознавшись священнику....

Перечитавъ заманчивую роспись эту нѣсколько ралъ и разспросивъ хозяина своего, въ которомъ изъ этихъ мѣстъ было уже искано и каковы были послѣд-

ствия, Лупопупенко раскланялся, выпивъ на дорогу еще маленькую, и рѣшился вскорѣ, по разнымъ примѣтамъ, начать поискъ свой съ № 13. Съ трудомъ только достало у него терпѣнья выждать, покуда земля немножко прочахла изъ-подъ снѣга; безпокойство мучило его, и нужда погоняла; въ домѣ давно уже почти нечего было ѣсть, и жена, зная, что деньги были, и не получая въ нихъ никакого отчета, грызла казаку голову день и ночь.

Мѣсто осмотрѣно было съ большою осторожностію днемъ, нѣсколько разъ; двѣ дороги подъ рощей найдены, а также двѣ или три кривыя березы. Лупопупенко мучило сомнѣнье: подъ которою изъ этихъ березъ лежитъ кладъ; наконецъ онъ, однакоже, сообразилъ, что это должно быть подъ самою толстою, старою березою, и началъ готовиться въ путь. Обманувъ жену, какъ и чѣмъ могъ, онъ собралъ въ полночь снаряды свои: щупъ, заступъ и ломъ, и отправился подъ кривую березу. Какъ онъ тамъ отмѣривалъ шаги на закатъ солнца, щупалъ, гдѣ земля порыхлѣе, и наконецъ принялся за работу—этого мы въ подробности не знаемъ, но онъ воротился домой ночью же, растерявъ дорогою ломъ и заступъ, и въ такомъ страшномъ видѣ, что жена прежде еще, чѣмъ успѣла вздуть огня, а какъ только отворила дверь и услышала дыханіе его, перепугалась на смерть. Сперва думала она, что Лупопупенко воротился пьяный, но сама божилась послѣ, что вскорѣ убѣдилась въ ошибкѣ своей и попосила его понапрасну, и пьянъ онъ не былъ, а насилу опомнился и оклемался. Онъ увѣрялъ послѣ, что глухое завыванье по рощѣ вскорѣ начало раздаваться и усиливалось постепенно, по мѣрѣ того, какъ онъ дорывался клада; наконецъ по лѣсу пошли огни и такіе страшные голоса, что онъ по неволѣ оглянулся въ сторону, но тогда увидѣлъ онъ вокругъ

себя такія страсти, что ни подумать объ этомъ, ни пересказать не можетъ. Онъ не вытерпѣлъ, бросилъ все и побѣжалъ; черти гнались за нимъ, улюлюкая, какъ по волку, травили его огненными псами, и какъ ушелъ онъ и какъ попалъ, домой, и самъ не помнитъ...

Но охота искать клады все еще не покидала Лупопупенко, и, потуживъ съ недѣлю и отдохнувъ, онъ опять пошелъ посовѣтоваться съ тѣмъ же пріятелемъ своимъ на Печоры, а этотъ, для утѣшенія вѣрителя своего въ бѣдѣ и неудачѣ, далъ ему на придачу еще одну запись, которая указывала самый вѣрный и несомнѣнный кладъ. Во время кіевскаго большого мора, въ 1778 году, говорилось въ записи этой, какая-то большая барыня, со всей семьей, домочадцами и пожитками, выѣхала изъ города и остановилась на извѣстномъ мѣстѣ въ лѣсу, обозначенномъ двумя толстыми дубами. Но, захвативъ съ собою чуму, всѣ они въ лѣсу перемерли, а деньги и драгоцѣнности напередъ зашили въ воловьи шкуры и зарыли въ землю, вмѣстѣ съ убитыми для этого волами. Въ записи было также сказано, что щупъ на этомъ мѣстѣ, на глубинѣ двухъ аршинъ, останавливается на воловьихъ костяхъ.

Итакъ, рѣшено: Лупопупенко идетъ за этимъ кладомъ; но страхъ отъ первой попытки отнялъ у него нѣсколько храбрости, и потому онъ рѣшился пригласить съ собою двухъ надежныхъ товарищей.

Пошли, отыскали два дуба, размѣряли между ними разстояніе шагами и хотя не могли ничего нащупать прутомъ или буромъ, но уже рѣшались было безъ этого приступить къ работѣ, какъ Лупопупенко, отойдя немного въ сторону, среди темной и бурной ночи, вдругъ закричалъ дикимъ и страшнымъ голосомъ.... Товарищей его будто громомъ оглушило и метнуло въ сторону; безъ памяти бросились они бѣжать, и долго еще вслѣдъ за ними раздавался пронзительный,

отчаянный крикъ несчастнаго Лупопупенко, котораго, безъ сомнѣнія, черти терзали по клочку, по волоску...

Прибѣжавъ безъ памяти домой, товарищи, однако же, постепенно опомнились и стали догадываться, что сдѣлали дурно; они созвали еще нѣсколько молодцовъ и пошли гурьбой выручать у чорта казака... Какъ только подошли они къ нечистому мѣсту и подали робкій голосъ, какъ въ ту же минуту бѣдный Лупопупенко сталъ отзываться настоящимъ волкомъ; они подошли нѣсколько ближе и стали съ нимъ перекликаться и переговариваться: онъ звалъ ихъ на помощь, увѣряя, что онъ гибнетъ совсѣмъ, что скоро духъ испуститъ, если его не выручатъ; а они, не желая связываться съ такимъ опаснымъ и непосильнымъ врагомъ, не рѣшались подойти... Мало-по-малу, однакоже, онъ умолилъ ихъ раздуть огня и идти къ нему всѣмъ вмѣстѣ, осѣняясь крестнымъ знаменіемъ и читая вслухъ молитву ангелу-хранителю: робко приближалась толпа, и наконецъ увидѣли, что бѣдный Лупопупенко нашелъ кладъ: онъ попалъ въ волчій капканъ.

Кто бы разувѣрилъ его, если бы онъ самъ какъ-нибудь вырвался и ушелъ, что его не чортъ поймалъ зубами за ногу? И самъ онъ догадался, въ чемъ дѣло тогда только, когда товарищи подошли съ огнемъ и освѣтили казака въ капканѣ.

— Ну, капканъ, такъ капканъ, — сказалъ онъ: — а чортъ таки не далъ мнѣ спуску: страсти были неописуемыя, невообразимыя, по діавольскому навожденію; а я стоялъ противъ нечистой силы носомъ къ носу и не могъ тронуться съ мѣста! Несите меня, братцы, домой... Что то хозяйка скажетъ?

ГРѢХЪ

Въ вотчинной конторѣ главный прикащикъ сидѣлъ на своемъ мѣстѣ, на высокомъ кругломъ табуретѣ передъ высокою конторкою; вокругъ человѣка два побрякивали счетами, а въ передней половинѣ комнаты, отдѣленной перильцами, стояли нѣсколько крестьянъ. Они подходили поочередно, кланялись, клали передъ главнымъ прикащикомъ нѣсколько раскрытыхъ ассигнацій и, если дѣло было въ порядкѣ, по знаку его, молча либо со вздохомъ удалялись. Кому счастье послужило и оброкъ былъ выработанъ съ избыткомъ, тотъ былъ и съ виду повеселѣе, потряхивалъ головой и разводилъ кудри руками; иной же бѣднякъ вздыхалъ и сопѣлъ и поворачивался, будто нехотя, когда приходилось туго, либо надо было просить на одну часть оброка отсрочки. Прикащикъ обращался хорошо и довольно ласково съ людьми, и кто носилъ болѣе половины за полгода и представлялъ дѣльныя причины, тому онъ, при надлежащихъ наставленіяхъ, давалъ отсрочку. Низко кланяясь и благодаря Ивана Тимоѳеича за милость и льготу, тотъ уходилъ съ отсрочкой своей домой.

Наконецъ прикащикъ обратился къ крестьянину, который стоялъ поодаль въ углу, держалъ шапку пе-

редъ собою въ опущенныхъ рукахъ, глядѣлъ въ землю и во все время даже ни разу не почесался. Крестьянинъ этотъ не задолго передъ симъ отвѣчалъ прикащику:

— Нѣтъ у меня ни гроша, батюшка Иванъ Тимоѳеичъ, власть ваша.

Иванъ Тимоѳеичъ тогда поглядѣлъ на него только искоса и продолжалъ разсчитываться съ другими; теперь же онъ положилъ оба локтя на конторку, опять посмотрѣлъ на мужика пристальнѣе и сказалъ.

— Осипъ! что жь это будетъ съ тобой? шутишь ты, что ли?

— Не шутка на умѣ, батюшка,—отвѣчалъ тотъ:— такая дача задалась, что хоть ты что хошь дѣлай. Извѣстно, батюшка Иванъ Тимоѳеичъ, ваше дѣло правое; на васъ нашему брату жаловаться нечего, да и на господъ плакаться грѣшно: милуете и жалуете, а свое, что слѣдуетъ, внеси; на то тягло держишь, на то землю пашешь. Что угодно, то и дѣлайте, и отстрочки просить больше не стану—что нонѣ, что завтра, что черезъ годъ—знать ужъ все одно, мнѣ заплатить нечѣмъ; такъ задалось.

— Да отчего же такъ, Осипъ, отчего же другіе платятъ и не жалуются, что оброкъ великъ, а говорятъ, что по силамъ?

— И я, батюшка, не жалуюсь, благодаримъ господъ своихъ и васъ: оброкъ, нечего Бога гнѣвить, не то, чтобы больно великъ; да вишь, какъ нѣтъ его и воротился съ пустыми руками, такъ что станешь дѣлать? Не велика вещь вчерашній день: дней у Бога впереди много, да ужь не забудешь его, хоть надорвись. Сами вы изволите знать, что за мной ни пьянства, ни другого какого художества нѣтъ; да видно, такое есть попущеніе Божіе, такъ задалось.

— Плохо будетъ тебѣ, Осипъ: другой срокъ упу-

скаешь и все не исправенъ. Я ужь не знаю, что съ тобой и дѣлать стану; а потачки тебѣ нельзя дать, ужь и ради другихъ.

— Объ этомъ кто говоритъ, Иванъ Тимоѳеичъ, это извѣстно дѣло, что нельзя: вы поноровите одному, а они всѣ откажутся; пожалуй, съ половины мужиковъ не сберешь оброку.

— Такъ хоть растолкуй мнѣ, какая жь была тебѣ задача? Годъ ходилъ, руки работящія есть: отчего жь ты ничего не принесъ?

— А вотъ, батюшка, отчего; пришелъ я на мѣсто ни съ чѣмъ, такъ вотъ черезъ силу дотянулся; а въ Питерѣ, извѣстно, омутъ: какъ ввалился въ рогатку, такъ и доставай мошну: билетъ выправить, больничные, да пошлинные, да за прописку—а ѣсть надо, на гривенникъ одного хлѣба на день мало — ну и идешь къ кому ни попало, таки живьемъ въ руки разбойнику и отдашься; только слава, что подрядчикъ, а христіанской души въ немъ нѣтъ. Ну, работалъ я недѣли съ три, а тамъ схватило меня что-то, заболѣлъ; пролежалъ и не долго, да подрядчикъ все въ прогулъ ставитъ, вычету полагаетъ по цѣлковому на день. Легкое дѣло цѣлковый! Отдать-то его не мудрость, да поди-ка, заработай его! Тутъ, только-что вышелъ изъ больницы, другая бѣда прилучилась, такъ вотъ ровно съ неба за грѣхи свалилась; сталъ, то есть сдѣлался прикосновеннымъ—и Богъ знаетъ за что; а затаскали было и пропалъ было совсѣмъ; раздавили на улицѣ человѣка, наѣхала карета, сшибла его подъ колеса. Онъ лежитъ, а тутъ бой такой, не по-здѣшнему, карета за каретой, стукъ, крикъ—того гляди раздавятъ лежачаго вовсе, а еще онъ, можетъ статься, живъ. Я подскочилъ, ухватилъ его подъ руки и оттащилъ къ краю, то есть, по-тамошнему, плитуваръ называется, гдѣ ходятъ пѣшіе; набѣжали эти городовые, взяли

его, да и меня туда же. Я проситься у нихъ: за что, молъ, меня-то? Тамъ, говорятъ, разберутъ все, а намъ тебя, по прикосновенности, отпустить нельзя: пойдемъ—и не толкуй.

Привели да и увязили меня въ такое мѣсто, что не дай Богъ ни другу, ни недругу. Сижу я недѣлю, сижу другую, денегъ со мной нѣтъ ни гроша — хоть пропадай! Наконецъ черезъ великую силу упросилъ я, чтобъ хоть послали обо мнѣ вѣсть подрядчику: авось, хоть онъ не вступится ли. Подрядчикъ пришелъ, выкупилъ меня у писаря. Я взмолился ему, какъ вотъ отцу родному; работалъ все лѣто, пришло дѣло къ разсчету—съ костей да на кости—онъ насчиталъ еще рублевъ семь на меня! Какъ, молъ, такъ? побойся ты Бога!—Да вотъ какъ: вотъ, молъ, что слѣдуетъ тебѣ за лѣто; вотъ сколько вычету за прогулъ, когда былъ боленъ, а вотъ сколько, какъ сидѣлъ въ сибиркѣ; да вотъ еще выкупу за тебя дано. Гляди что осталось: вотъ, семи рублей не хватаетъ

Поплакался я на обиду да пошелъ къ другому подрядчику: авось-де не посчастливится ль получше. Такъ старый подрядчикъ не отпускаетъ, не отдаетъ паспорта; принужденъ занять у новаго деньги да расплатиться: вотъ и заработалъ А тутъ еще опять таки за прописку, да то, да се, такъ я опять въ долгу, какъ въ репью. Ну, авось, Богъ милостивъ, отработаемъ, что-нибудь заслужимъ; благословясь, пошелъ опять снова. Проходитъ мѣсяцъ, другой, третій, что-то подрядчикъ нашъ больно плохъ дѣлается, все отнѣкивается, какъ придетъ дѣло къ разсчету, все, говоритъ, послѣ, а выдаетъ, кому ужь больно нужно, по гривнамъ да по копѣйкамъ. Мы потолковали промежъ собой—какъ быть? Уйдешь, все пропадетъ, что зарабатано; кажись, онъ человѣкъ добрый, и люди хвалятъ — останемся да поработаемъ, авось, не обидитъ.

Пришелъ срокъ, надо распускать рабочихъ, а подрядчика нашего нѣтъ, пропалъ. Снялъ онъ, вишь, работы съ торговъ, по планамъ, разсчитавъ по сваѣ и по кирпичику, а тутъ вышло не то: какъ пришлось къ дѣлу, анъ планы тѣ и не годятся, тутъ прибавить, тамъ убавить, тутъ на сводахъ сдѣлать, тамъ подъ бутъ сваи забить,—а всего этого по ряду и не было; онъ туда, сюда, хотѣлъ было откинуться—такъ не пускаютъ; деньги-де усадилъ, пошелъ просьбы писать да смазывать — и сѣлъ; вотъ онъ, сердечный, утопился ли, какъ сказывали, бѣжалъ ли куда, только что пропалъ, а мы съ одними руками да брюхомъ и остались. Покуда водили насъ да допрашивали, да выдали паспорты, такъ послѣднія крохи и проѣли, и животики подобрались; срокъ паспортамъ вышелъ, гонятъ, ступай домой.—Вотъ я и пришелъ. Батюшка Иванъ Тимоѳеичъ, что хочешь, то надо мною и дѣлай.

Подумавъ немного, прикащикъ все-таки счелъ за нужное побранить Осипа и постращать его; тѣмъ болѣе, что и самъ онъ не оспаривалъ пользы этого, увѣряя, что народъ нынѣ все другъ на друга смотрятъ и что потачки нельзя давать никому. Но затѣмъ Иванъ Тимоѳеитъ простилъ Осипа, то есть не наказывалъ его, а велѣлъ приходить еще разъ за паспортомъ, обѣщавъ написать господамъ и просить ихъ, чтобы еще потерпѣли до слѣдующаго года: «а коли тогда не внесешь, то ужь не прогнѣвайся, будетъ плохо: либо съ тягла сгоню тебя да въ работу пошлю, либо лобъ забрѣемъ Дальше дѣлать съ тобой нечего.»

Осипъ провелъ дома, въ семьѣ, нѣсколько недѣль довольно спокойно, готовясь опять въ путь: «за одинъ-то годъ—говорилъ онъ—Богъ дастъ, какъ-нибудь уплачу я оброкъ, а ужь за два — хоть разопнуться, такъ не добудешь, объ этомъ и думать нечего. А что будетъ со мной, какъ и на тотъ годъ приду, хоть не

то, что какъ нынѣ, да съ недоимкой? А что жь будетъ—будетъ, что Богу угодно. Власть Его святая.»

Пришло время отправленія, и Осипъ, получивъ паспортъ свой и строгое повтореніе добрыхъ совѣтовъ и наказовъ, отправился. Всю дорогу раскидывалъ онъ на умахъ, какъ ему ухитриться, чтобы отбыть повинность съ недоимками и выйти хоть безъ поживы, да лишь бы самому быть живу. «Не до барыша,—думалъ онъ про себя,—была бы слава хороша...» а, между тѣмъ, и на умахъ у него концы съ концами не сходились. Онъ опять подумалъ: «власть Господня», и пошелъ дальше.

Проработавъ еще круглый годъ, не заболѣвъ ни разу и не посягая на спасеніе погибающихъ, Осипъ заработалъ, и на этотъ разъ получилъ отъ подрядчика долю свою сполна; но ея едва только доставало на уплату годичнаго оброка, потому что онъ принужденъ былъ услать домой рублей семьдесятъ, частію на прокормъ семьи, а частію на помощь ей же, по полученной отпискѣ, что лошадка пала и работать нечѣмъ. Возвращаясь домой самъ-третій, съ двумя товарищами, онъ уже принимался разсчитывать на всѣ лады; но и тутъ и тамъ не хватало, потому что тутъ и тамъ были долги, послѣ несчастнаго года. Горе стало больно одолѣвать нашего двоеданца; а когда его еще и товарищи обидѣли дорогой, напившись пьяными и поколотивъ его самъ-другъ за то, что онъ во весь путь не хотѣлъ поднести ни одной косушки, то онъ, крѣпко разбранившись съ ними, покинулъ ихъ хмѣльныхъ и пошелъ одинъ впередъ. «Что ближе изъ неминучей бѣды, то лучше,—подумалъ онъ,—за горами только страсти живутъ.»

На другой день, когда завѣтная дума стала у него все больше и больше разыгрываться, то онъ упадалъ духомъ, плачась на судьбу свою, то опять придумы-

валъ средства, какъ бы пособить горю, то со спокойствіемъ и рѣшимостью шелъ встрѣтить свою участь. Невольно пришло ему при этомъ на мысль, что-де есть же люди богатые, которымъ ничего не стоило бы подарить бѣднику сто рублевъ, и бѣднякъ былъ бы спасенъ. Вспомнилъ онъ также извѣстное въ томъ краю происшествіе, гдѣ крестьянинъ срѣзалъ чемоданъ у проѣзжающаго и нашелъ тамъ, кромѣ вещей, большую сумму денегъ, такъ что разжился съ той поры, между тѣмъ, какъ прошло уже годовъ болѣе десятка и никто не дознался этого дѣла, и мужикъ живетъ себѣ спокойно и богатѣетъ. «Стало быть, не разорилъ же онъ того господина», — продолжалъ онъ думать, выводя Богъ вѣсть изъ чего такое заключеніе, — «а опосля того онъ зарекся и сталъ мужикъ смирный и честный, не обижаетъ никого... А пошелъ онъ на это дѣло, можетъ статься, также не по своей волѣ, а по нуждѣ...»

Осипъ оглянулся, а за нимъ тянется по сыпучему песку рыдванъ осьмерикомъ. Клячъ напутано много, но толку мало: пески по ступицу. Рыдванъ поровнялся съ Осипомъ. Время холодное, все кругомъ запутано, а на запяткахъ привязанъ, будто для соблазна, чемоданище, съ замкомъ, продѣтымъ въ ременную мочку. Съ четверть часа Осипъ шелъ рядомъ съ каретой, поглядывая то на ямщика и лошадей, то на чемоданъ, въ которомъ, надо быть, набиты все однѣ деньги.

Были сумерки, лѣсъ по обѣ стороны дороги тянулся вплоть, и Осипъ подумалъ: «еслибъ кто сталъ срѣзывать чемоданъ этотъ, и даже воришку замѣтили бы съ козелъ, то ему легко, по первому крику, соскочить и уйти въ лѣсъ... а принести-то нечего барину, въ контору, то есть хоть и всѣ отдать, такъ все недочетъ великъ; а дома-то что будетъ?»

Осипъ оглянулся—онъ шелъ слѣдомъ за каретой—никого нѣтъ, все пусто. Онъ присѣлъ на запятки, думая: «хотя доѣду, все легче будетъ...» а, между тѣмъ, ощупывая кругомъ чемодана и видя, что онъ только пришутанъ веревкой, Осипъ досталъ изъ-за пояса топоръ свой и продолжалъ думать: «вотъ какъ бары-то безъ оглядки ѣздятъ — видно, много у нихъ лишняго добра—долго ль до грѣха, вотъ, вѣдь, только подрѣзалъ веревку и своротилъ его долой, пожалуй, и самъ упадетъ, какъ гдѣ тряхнетъ на кочкѣ...» Думая это, онъ уже подрѣзалъ веревки, о которыхъ говорилъ, сбросилъ чемоданъ на землю, а самъ стоялъ передъ нимъ въ какомъ-то страхѣ и недоумѣніи, оглядываясь во всѣ стороны. Онъ почти уже хотѣлъ кричать вслѣдъ за рыдваномъ, чтобъ взяли потерянный чемоданъ, но у него затянуло гортань, такъ что онъ съ трудомъ только дышалъ, а говорить не могъ.

— Что будешь дѣлать, — сказалъ Осипъ надумавшись, — стало быть, такая судьба моя; тутъ мудровать нечего: взялъ чемоданъ за ухо и потащилъ его черезъ канавку, въ сторону.—Уже порядочно смеркалось, а потому Осипъ далеко въ лѣсъ не забирался, а расположился на опушкѣ и, взрѣзавъ кожу, началъ перебирать вещи, доискиваясь денегъ. Долго перерывалъ онъ бѣлье, книжки, платья, одѣяла и проч. и никакъ не могъ понять, куда эти деньги дѣвались. Перебравъ все по ниточкѣ и убѣдясь наконецъ, что денегъ нѣтъ, онъ всталъ, поглядѣлъ кругомъ себя и опять на добычу свою и, горемычно почесывая затылокъ, теперь только сталъ раздумывать, какъ же ему быть и куда съ вещами дѣваться. Во первыхъ, онъ чемодана не донесетъ на себѣ; во вторыхъ, еслибъ и донесъ или выбралъ, что есть получше изъ вещей, такъ непремѣнно съ ними попадется, потому что на слѣдующей же станціи проѣзжающіе, безъ сомнѣнія,

объявятъ о пропажѣ, а село наше оттуда всего двадцать верстъ. «Эка притча—подумалъ онъ—эко грѣхъ попуталъ! Догнать было ихъ да сказать, что нашелъ,—такъ не догонишь теперь, да и не повѣритъ: веревки обрѣзаны, попадешься и не раздѣлаешься...» Осипъ плюнулъ, проклялъ соблазнителя своего, перекрестился и пошелъ скорыми шагати впередъ, бросивъ чемоданъ и вещи на произволъ судьбы.

Между тѣмъ, двое товарищей его, съ которыми онъ поссорился, покинувъ ихъ назади, проспались, протрезвились и, торопясь домой, къ разсвѣту пришли на мамаево побоище, какъ они его называли, на то мѣсто, гдѣ лежали распоротый чемоданъ и разбрасанныя вещи. Они также шли сторонкой, тропой, и потому прямо наткнулись на осипову безпутную работу. «Это что, парень, гляди-ка!»—Поглядѣли сперва, оробѣли было немного, полагая, что тутъ былъ разбой и убійство, но, разобравъ и догадавшись вскорѣ, въ чемъ дѣло, разсудили, что, чѣмъ добру этому пропадать тутъ даромъ, такъ лучше его забрать.

— Весь чемоданъ съ собой тащить опасно — сказалъ одинъ:—а мы, братъ, Серега, разберемъ-ка лучше по рукамъ, что есть получше, да, завернувъ во что нибудь, привѣсимъ себѣ замѣсть котомокъ, и пойдемъ: гляди-ка ты, что добра тутъ! Это вотъ, вишь, бѣлье все тонкое, хорошее, — и платье тожь; придемъ домой, спрячемъ, а опосля продадимъ.

— Разумѣется, — сказалъ другой: — намъ что, мы ни въ чемъ не причастны, безъ грѣха: намъ Богъ послалъ; а это чья работа—мы не вѣдаемъ.

Но едва они успѣли подойти къ ближайшей деревнѣ, гдѣ была станція, какъ ихъ обоихъ обступили, потому что тутъ уже стерегли, не покажется ли какой нибудь подозрительный человѣкъ. Туда-сюда, стали ихъ ощупывать, осматривать, нашли у одного въ

карманѣ шелковый платочекъ и принялись развязывать котомки. Тутъ дѣваться было уже некуда: бѣдники мои пали въ ноги и стали божиться и заклинаться, что они не воры, а находчики. Ихъ связали и отправили, вмѣстѣ съ найденнымъ по ихъ же указанію чемоданомъ, въ судъ.

Осипъ пришелъ домой, поздоровался съ хозяйкой и ребятишками, разсказывалъ немного, былъ какъ-то молчаливъ и угрюмъ и поминалъ нѣсколько разъ бѣду свою, что не знаетъ, какъ и съ чѣмъ завтра показаться въ контору. Ему на другой день будто нездоровилось, и онъ просидѣлъ дома. Къ вечеру въ этотъ же день пришла на село вѣсть, что Серега съ товарищемъ попались вотъ по какому дѣлу; что видно-де лукавый попуталъ и хоть жаль ребятъ, а пропадать имъ не миновать: добра въ чемоданѣ было на большія деньги. Чего добраго—сошлютъ.

Осипъ какъ будто этого ждалъ: какъ только у него въ сосѣдствѣ раздался вой серегиной хозяйки, которая вышла нарочно для этого на улицу, заламывала руки и причитывала, то Осипъ всталъ, попросилъ прощенья у жены своей, которая не могла понять, что это значитъ, благословилъ ребятишекъ и пошелъ въ контору.

— Здравствуйте, батюшка, Иванъ Тимоѳеичъ—сказалъ онъ:—много благодаренъ милости барской и вашей, что не разоряли вы меня, а ждали оброкъ съ меня третій годъ. Что Богъ далъ, я принесъ, вотъ все до копѣйки, не оставилъ дома ни гроша. Только вотъ что, Иванъ Тимоѳеичъ, вы извольте поскорѣе отправить меня въ судъ. Хоть Серега со Степаномъ обидѣли меня больно, побили задаромъ, да ужь за это Богъ ихъ проститъ, а напраслины имъ терпѣть нельзя: чемоданъ-то я срѣзалъ сдуру у проѣзжихъ, вотъ и топоръ мой, имъ и вереьки обрѣзалъ, да опосля бросилъ, не взялъ ничего; а они ни въ чемъ не виноваты,

они пришли на готовое. Такъ ужъ простите, батюшка Иванъ Тимоѳеичъ, вы меня грѣшнаго, — продолжалъ Осипъ, повалясь въ ноги:—что и васъ, то есть и барина я этимъ изобидѣлъ; а меня прикажите вести въ судъ: видно судьба моя такая.

ДВУХЪ-АРШИННЫЙ НОСЪ

— Ну, извозчикъ, теперь мы съ тобой выѣхали на просторъ: за рогаткой не будетъ ѣзды такой, какъ въ городѣ, и разговориться тебѣ свободно: сказывай же!

— Да что, батюшка баринъ, что вамъ сказывать-то? Житье-бытье наше извѣстное—не барскому чета, а Бога гнѣвить нечего, жить можно.

— Оброку что платишь?

— Оброку?—да оброку-то, вишь, многонько платимъ; оно бы и ничего, кабы его добыть можно, а то, того гляди, поворотятъ тебя на работу, а въ домуто и худо будетъ. Оброку чистаго платимъ мы съ тягла—сперва было сто пятьдесятъ рублей, а теперь пошло на серебро, такъ положили сорокъ-пять цѣлковыхъ.

— И ужь больше нѣтъ повинностей никакихъ?

— Опричь того, три дня работы съ сохой, три дня жать, три дня косить, три дня сѣно грести, да хлѣбъ перевозить на барское гумно, да три дня молотьбы, да опять хлѣбъ въ городъ свозить — ну, да еще зимой двѣнадцать возовъ дровъ привезти изъ лѣсу, да десять рублевъ караульныхъ, на усадьбу, за сторожей; а тамъ казенное подушное внеси, да и ступай, куда хочешь.

— А много ль это всего, по вашему счету, на деньги будетъ?

— Да на деньги, батюшка, коли то есть кто домой не ѣдетъ круглый годъ, ужь чтобъ хозяйки его не обижали, нанимаетъ за себя, на все,—такъ сходитъ никакъ по двѣсти по двадцать ассигнаціями, и по тридцать. Все бы это ничего, кабы хоть ужь земля была — знали бы за что платимъ — а то землей мы больно обижаемся.

— А что, не хороша земля у васъ?

— Да ужь чего, хороша, батюшка: это извѣстно, Божье дѣло, не наше; какова ни есть, такову и паши; да пахать-то нечего; всего по двѣ мѣрочки посѣву—вотъ что.

— Видно, плохо унавоживаете, то есть позему мало кладете?

— Э, барашушко, одной женой да одной коровой десятины не обрядишь, хоть что хошь дѣлай. Извѣстно, были бъ луга, держали бъ скотинку; анъ ихъ нѣтъ, ничѣмъ-ничего, и сѣно купуешь. Да кабы еще на казенный лѣсъ, такъ хоть трубу закутай, на круглый годъ, и дыму бъ не понюхалъ дома: лѣсъ у барина заповѣдной; что добудешь въ казенномъ бору, то и горитъ. Порядки то нынѣ пошли вишь какіе, большіе, что проходишь да проѣздишь за выправкой, такъ что и пол по того не стоитъ; ну, а слава Богу, Бога гнѣшить нечего, все живется; что ни сорветъ лѣсной, а все безъ тепла не живемъ.

— Ну, и слава Богу, это, стало быть, ладно; теперь сказывай, какъ живешь у хозяина, почемъ, что зарабатываешь, да какова бываетъ удача?

— Да это, баринъ, извѣстное дѣло, нанялся—продался; семь дней работать, а спать на себя. Хозяинъ платитъ рублевъ двадцать въ мѣсяцъ, кормитъ, даетъ верхнее платье; съѣздишь въ день—да не равно, какъ

Богъ дастъ: на три, на пять и на десять ину пору, въ праздникъ, ассигнаціями то есть; за счастливымъ поѣдешь боронить по улицамъ, не зѣвай только, и посадишь, какъ разъ; только свалилъ его— другого; а не задастся, такъ безъ почину домой пріѣдешь,—и то бываетъ; либо и того хуже, какъ полубаринъ какой нибудь ѣздитъ, ѣздитъ цѣлый день, лошадь замучитъ, надо бы съ него получить рублей пять, а онъ соскочитъ гдѣ нибудь: сейчасъ братецъ,—да въ проходной дворъ и шмыгнетъ; вотъ и ищи его? а тутъ еще простоишь да прождешь его часа два...

— Ну, а почему же хозяинъ учтетъ тебя? Можетъ статься, ты обманешь его?

— Зачѣмъ обманывать, баринъ! Разумѣется, кто этого не боится — пожалуй, на то воля; да вѣдь ужь этакій долго не наживетъ у хозяина, а новый ужь того жалованья не положитъ тебѣ, что старый. Вѣдь они дѣло это знаютъ. Самъ утаишь, такъ лошадь скажетъ: вѣдь онъ видитъ, сколько то есть измучена она; опять же выйдетъ посмотрѣть, какъ она ѣстъ. А конь, бываетъ, стоитъ, повѣсивъ голову, а ты съ недовыручкой, такъ вотъ онъ и знаетъ. Хозяинъ кладетъ кругомъ свой расходъ на содержаніе, съ квартирой, съ харчами, съ ковкой, со всѣмъ, какова цѣна бываетъ на овесъ,—рубля три, и поменьше и побольше; на чай, на калачъ, хоть гривенникъ, хоть ину пору и два— это самъ хозяинъ велитъ: вѣдь мы обѣдаемъ ночью, какъ домой пріѣдемъ. Ну, а ужь коли отъ тебя виномъ несетъ, такъ никакой выручкѣ не повѣритъ, этого не любитъ. Вотъ ужь развѣ самъ ину пору загуляетъ—ну, тогда и всѣ пошли, и нашего брата не удержишь. Тогда онъ, сердечный, какъ придетъ домой, а подъ шапкой — то есть—пойдетъ на конюшню, осмотритъ лошадей, глянетъ на ребятъ, что тоже есть хмѣльные—покачаетъ только головой; «ну, говоритъ'

гуляй, ребята, покуда я гуляю; а вотъ ужо я васъ приму въ руки... какъ бросимъ пить...» такъ опять и пошелъ по хозяйству, по-прежнему, и даромъ что гулялъ, а все знаетъ, все помнитъ, попрекнетъ каждаго всѣмъ, что было.

«Если, примѣромъ сказать, какой грѣхъ случится надъ нашимъ братомъ, то хозяинъ на счетъ ставитъ, вычитаетъ. Вотъ я возилъ разъ барина въ Парголово, а оттуда ѣхалъ ночью; грязь, темь, хоть глазъ выколи; пьяные чухны всю дорогу заставили — я и свалилъ дрожки въ канаву; бился, бился, не подыму одинъ, хоть надорвись; попросилъ чухонца — онъ, спасибо, пособилъ, да впотьмахъ вожжи и укралъ. Туда, сюда, —нѣтъ; а вожжи ременныя, плетеныя. Хозяинъ десять рублей и вычелъ! Въ другой разъ я не знамши, арестанта посадилъ изъ госпиталей. Такъ ужь тутъ не до того было, чтобъ съ него что взять, а насилу отъ него-то ушелъ: поймаютъ за тобой еще пуще погонятся, чѣмъ за нимъ; съ него то нечего взять. Нашъ братъ этого-то и боится. Иной смѣлый лихачъ вонъ и съ мазуриками ѣздитъ по ночамъ, на храпокъ: двадцать-пять и пятьдесятъ рублей за ночь получаетъ — да нѣтъ, эта пожива плоха: у насъ былъ одинъ такой — пропалъ; подъѣхали къ часовому мастеру, высмотрѣли, мазурикъ соскочилъ да двери въ сѣняхъ приперъ полѣномъ, взялъ изъ саней такую рукавицу, съ гирей, пробилъ цѣльное окно, что захватилъ часовъ въ охабку, сорвалъ, на сани, да и удралъ. Мастеръ кинулся къ дверямъ, покуда догадался, что приперто, да побѣжалъ кругомъ, черезъ дворъ, а тутъ ужь и слѣдъ простылъ. Однако, въ тѣ поры было, видно, такое время, что ловили ихъ, то есть по строгости, и поймали какъ-то, и пропалъ нашъ лихачъ, что слуху по немъ не стало.

«Кто у колоды стоитъ, на хорошемъ мѣстѣ, да

дешево не возитъ, тому невримѣръ легче нашего брата. Лошадь у него сыта, меньше четвертака, а иной и полтинника, онъ ее и съ мѣста не тронетъ; съѣздитъ разъ, другой—на то же наведетъ. Еще нашему брату по гривенникамъ того и не сколотить».

— Ну, любезный, а какія жь еще бывали съ тобой напасти?

— Отъ этого не уйдешь, извѣстное дѣло, хоть какъ хочешь раскидывай умомъ. Есть, спасибо, добрыхъ людей на свѣтѣ довольно. Богъ съ ними! все жить можно. Вотъ разъ, ѣду на острову, около Николаевскаго; баринъ какой-то ужь не молодой, и крестъ на шеѣ,—накупивши полный платокъ апельсиновъ, напилъ и поѣхалъ. Я ѣду да ѣду—и не вдогадъ мнѣ, что народъ смотритъ на сѣдока моего, ровно не видалъ его; вдругъ апельсины тѣ съ дрожекъ покатились—я оглянулся, а баринъ, ровно хмѣльной, голова мотается и самъ съ дрожекъ ползетъ. Испугался я, остановилъ лошадь, соскочилъ, не знаю, апельсины ль собирать, его ли придерживать—я къ нему, а онъ ужь Богу душу отдаетъ... Такъ вотъ у меня ноги и подкосились: бѣда! Нечего дѣлать, повезъ я его прямо въ часть, спасибо недалече было; привезъ его чуть живого, тутъ и померъ. Ну, и посадили меня: не такъ жаль себя, какъ сердешной лошади,—ужь такъ жаль, такъ жаль, что индо плакалъ, ей Богу... вотъ такъ вовсе замучили ее, такіе живодеры! кормить не кормятъ, а гонять гоняютъ, кто куда попало... Ахъ, ты Господи Боже мой, что ты будешь дѣлать? вотъ бѣда пришла! Сижу; а меня только и выпускаютъ за тѣмъ, чтобъ, вишь, навозъ подгребать вокругъ лошади своей... Побойтесь вы Бога, говорю, какой тутъ навозъ будетъ: скотина другіе сутки не ѣвши, то есть вотъ хоть бы тебѣ зерно дали, былинку одну... Какъ вывели меня на дворъ да взглянулъ я на нее сердешную,

такъ вотъ я тебѣ и залился слезами: крюкомъ согнуло ее, кормилицу мою; сама стоитъ да изъ навоза-то и теребитъ соломку... я такъ вотъ и взвылъ: что хотите дѣлайте, и дрожки возьмите, и кафтанъ съ меня возьмите, говорю, только меня съ нею отпустите! Вотъ въ тѣ поры и пропала-таки лошадка эта у меня, не выходилъ ужь я ее, нала. Я и остался безъ рукъ. Нечего дѣлать, пошелъ опять къ хозяину, на чужихъ ѣздить... А ее и татарамъ не продалъ, вотъ что, пожалѣлъ...

— А отъ своей у тебя много ль больше оставалось на очистку, чѣмъ отъ хозяина?

— Какъ же можно равнять это! все-таки своя лучше. Отъ своей закладки, кого Богъ благословитъ, иной годъ двѣсти-пятьдесятъ и триста рублей ассигнаціями на очистку выйдетъ. Ну извѣстно, надъ кѣмъ бѣда встрясется, вотъ хоть бы какъ надо мной, что пропала лошадка, ни за грошъ,—ужь тутъ не до барышей: не до жиру, а быть бы живу. Оно, конечно, все ничего, жить можно, поколѣ Господь грѣхамъ нашимъ терпитъ, Бога нечего гнѣвить, лучше молчать. Вонъ у насъ сосѣдъ есть, тоже помѣщикъ называется, такъ семерыхъ въ одинъ кафтанъ согналъ—и то живутъ, да еще и пѣсни поютъ—вотъ какъ. Мало ли на свѣтѣ не безъ того, есть всякая обида, да нашему брату надо терпѣть. Вотъ у насъ иную пору, напримѣръ, номерной староста кого вздумаетъ прижимать, коли изъ чести не дашь ему полтинника за выправку нумера: такъ чѣмъ ему взять? Вотъ онъ и пойдетъ наряжать тебя разъ въ разъ, какъ требуютъ извощика въ часть, глядѣть, когда надъ нашимъ братомъ расправа бываетъ, за какую провинность; вотъ онъ и наверстаетъ тебѣ на то же, и полтиннику не радъ будешь, а того и гляди, безъ хлѣба останешься. Или вотъ городовой — ну, свезти бы его въ часть съ пья-

нымъ какимъ, что ли, это бы можно, ничего: такъ, вѣдь, тамъ-то стоишь послѣ, стоишь, уѣхать не смѣешь, покуда не отпустятъ, либо еще номеръ отберутъ: вотъ и находишься послѣ за нимъ. За то ужь нашъ братъ знаетъ это: какъ только завидѣлъ его гдѣ, что онъ оглядывается, то вотъ какъ зайцы изъ-подъ облавы, всѣ врозь, кто куда попало, только давай Богъ ноги... Ну ужь за то, какъ оплошаешь да попадешься, такъ только держись... А все ничего, слава Богу, то есть нечего Бога гнѣвить, жить можно.

— А рекрутство какъ у васъ идетъ?

— Да мы, благодаря Бога, рекрутствомъ не обижаемся: у насъ хорошаго мужика не отдастъ баринъ ни за что, хоть сто лѣтъ живи; а вотъ какъ чуть который зашалитъ, такъ ему и забрѣютъ лобъ взачетъ, запасъ и есть; а наборъ пришелъ—квитанціи у барина готовы. А тамъ, у нихъ, есть чередной, хоть жеребьевой, все одно: и очередь и жребій, все въ волѣ Божьей да въ рукахъ начальства. Есть у меня тамъ кумъ, богатый мужикъ, да изъ-за этого самаго дѣла вотъ того и гляди по міру пойдетъ: извѣстно, всякому своего жаль; мы того не разбираемъ, что и другому своего жаль: кошкѣ котя, а княгинѣ-ребя—тоже дитя. Ну, какъ только наборъ скажутъ—а семья у него большая — такъ онъ и пойдетъ хлопотать; разъ усадилъ сотню другую невѣсть куда, и въ другой разъ, а въ третій ужь никакъ сотъ семь. Другіе извѣстно обижаются этимъ, ходятъ, просятъ, ярыжекъ зазываютъ, потчуютъ, задариваютъ, напиши, то есть просьбу; ну, тотъ, извѣстное дѣло, что богаче мужикъ, что больше съ него надѣется вымозжить, то и просьбу длиннѣе пишетъ и настрочитъ тебѣ въ просьбу то, чего и сроду не бывало, а можетъ статься, коли и было что, такъ вѣдь, не обмотавъ вокругъ пальца, не докажешь. Вотъ и сталъ виноватъ. Одного потя-

пули, всѣ перепугались, такъ что бѣда. За кого тутъ взяться? извѣстно, за богатаго. Опять принялись за моего кума сердешнаго, да такъ то есть обработали его, что никуда не годится. А что проку? Годъ прошелъ, опять сказанъ наборъ, опять дѣло его не минуетъ: отбыть ужь и не стало силъ; разориться разорился въ раззоръ, а року не миновалъ: среднему сыну таки забрили лобъ.

— А у тебя изъ родни есть кто въ солдатахъ?

— Есть братъ да не родной. Ну, нечего трѣпить, его таки отдали за дѣло: за свою правду сталъ, да уже задоренъ больно: вотъ хоть съ кѣмъ, такъ на драку готовъ. Отобрали, вишь, конопляникъ у него, что ужь годовъ съ двадцать все владѣлъ и наземомъ поправлялъ, а отвели другой, почитай, что кочкарникъ, обдѣлывай дескать снова. Ну вотъ онъ тутъ за свою обиду и постоялъ да вилами всю одежду перепоролъ на томъ мужикѣ, за котораго съ барскаго двора, отъ самаго то есть господина, дѣвку отдали, а за нею и конопляникъ этотъ пошелъ, какъ будто то есть въ приданое. Пришелъ самъ прикащикъ унимать, —ну, а братъ стоитъ себѣ съ вилами на сторонѣ, на сторожѣ, на своемъ конопляникѣ, никого, говоритъ, не пущу, хоть что хошь дѣлай. Прикащикъ къ нему, да то есть, чтобы въ зубы его, а тотъ его по лбу вилами, да на нихъ же поднялъ, да черезъ тынъ и махнулъ; тотъ насилу всталъ, словно бока отлежалъ. Вотъ оно какое дѣло было. Ну, баринъ и осердился и приказалъ тотчасъ его сдать. Какъ сказали ему, что въ солдаты, такъ онъ и бросилъ вилы и пошелъ самъ, говоритъ: «вилы какъ не смѣнить на государево ружье; пойду самъ, и никого не затрону, не опасайтесь.» Ну, и пошелъ; живетъ себѣ, ничего, служитъ не тужитъ; онъ прошлаго года писалъ домой, такъ пишетъ, что благодаря Бога, жить можно на свѣтѣ.

Оно и точно, сударь, можно, поколя Господь грѣхамъ терпитъ.

— Ты помянулъ, однако жъ, про двухъ покойниковъ, которыхъ возилъ,а разсказалъ только про одного: какой же такой былъ у тебя другой?

— А другой, батюшка баринъ, былъ вотъ какой: на Масляной посадилъ я подъ качелями двоихъ плотниковъ, что ли, какихъ-то, и везти было ихъ въ Ямскую. Оба они, правда, хмѣльны были, а одинъ такъ ужъ и вовсе ноги волокъ. Товарищъ втащилъ его, усѣлись, поѣхали. Въ Чернышевомъ переулкѣ вдругъ что-то у меня развалились сѣдоки, а сидѣли было сперва смирно; я оглянулся, одинъ глаза подъ лобъ закатилъ, а другой, соскочивъ съ саней, да давай Богъ ноги, — видно, со страху и хмѣль прошелъ, — такъ по Садовой и пустился. Гнаться мнѣ за нимъ нельзя, а, испугавшись бѣды, я остановилъ лошадь, поглядѣлъ на товарища его—ничего, молъ, Богъ милостивъ, видно больно хмѣленъ, отойдетъ. Усадивъ его кой-какъ въ сани, я скорѣе до мѣста; тамъ ребята обступили, какъ сталъ я доспрашиваться, гдѣ тутъ плотники живутъ. Посмотрѣли они на сѣдока моего, который уже весь подъ полость съѣхалъ, увидали его въ лицо—это, говорятъ, Гришка, вонъ онъ гдѣ стоитъ, тамъ у него и хозяйка. Привожу туда, и спрашиваю гришкину хозяйку; она было вышла, да какъ поглядѣла на него, какъ увидала, что не живой — а ужь онъ у меня и померъ въ саняхъ—такъ и откинулась: не принимаетъ да и только, хоть ты хошь дѣлай. — На что его мнѣ, говоритъ, ты, коли извощикъ, такъ живыхъ вози, а не мертвыхъ.

«Я туда, сюда, народъ собрался, кричатъ, день же праздничный, кто говоритъ ей: прими, дура, вѣдь твой; кто кричитъ: не принимай, бѣда будетъ. Бился, бился: нечего дѣлать, повезъ въ часть... видно, такая моя

доля! Наплакался я и этотъ разъ, и другу и недругу закажу покойниковъ возить. «Найди, говорятъ, да поставь намъ товарища его!» Такъ гдѣ же я его возьму? «Ужь коли вы, господа, не отыщите его, такъ нашему то брату гдѣ жь его взять? Вѣдь, я посадилъ его на улицѣ, хлѣба-соли съ нимъ не важивалъ, паспорта его не прописывалъ и на умѣ его не бывалъ, не знаю, куда онъ повернулъ изъ Садовой, да куда удралъ. Такъ, нѣтъ, говорятъ, подай: покуда его не найдемъ, и тебя не отпустимъ. Лошадь же моя была хозяйская, такъ хозяинъ и хлопоталъ; подержали съ мѣсяцъ и выпустили.»

— А вотъ, баринъ, помянулъ я про паспортъ, а вы про все разспрашиваете, такъ къ пиву ѣдется, а къ слову молвится, — къ слову пришлось разсказать вамъ: вотъ за паспортъ притча была со мной, такъ, чай, сколько свѣтъ стоитъ, ни съ кѣмъ этого не бывало. Слыхали ль вы когда, чтобъ у нашего брата былъ носъ не по чину, въ маховую сажень? Ну, такъ вотъ я же вамъ разскажу: диво, ей Богу, да и только! Дѣло это было ужь годовъ тому семь. Я оброкъ уплатилъ впередъ за годъ, Богъ пособилъ, а у насъ безъ этого не пускаютъ; либо по третямъ внеси, такъ и билетъ на четыре мѣсяца выдадутъ. Вотъ я и взялъ паспортъ годовой и пошелъ, ни о чемъ не горюя. Въ тѣ поры поднялись мы, человѣкъ пять, сколотившись деньжонками, въ извозъ; товаръ клали недалече отъ себя, а везти было въ Москву. Въ одномъ городишкѣ — и на городъ то не похожъ, хуже иной деревни — пошелъ одинъ изъ нашихъ прописать паспорты, и, видно, прописывали по строгости, что недавно, вишь, насланъ былъ новый городничій, а стараго смѣнили; приходитъ — все ничего, и не впервые ужь прописывались, даже не разъ, становые и прочее начальство глядѣли. Ну, извѣстно, не безъ того, за прописку

возьмутъ съ тебя и отпустятъ; а тутъ, вотъ какая притча сталась:

«— Гдѣ у васъ Алексѣй Ѳедотовъ?

«— При лошадяхъ остался.

«— Пошли его сюда.

«Прибѣжали ребята и кричатъ меня. Я пошелъ.

«— Ты Алексѣй Ѳедотовъ?

«— Я, молъ, сударь.

«— А зачѣмъ ты съ чужимъ паспортомъ ходишь?

«— Я, молъ, не знаю, сударь, какой изволите казать паспортъ, а у меня, надо быть, свой былъ.

«— Нѣтъ врешь, примѣты не твои. Посадить его подъ караулъ!

«Вотъ тебѣ и расправа! А тутъ, батюшка, вотъ какая бѣда прикрутилась: извѣстное дѣло, въ паспортѣ, супротивъ примѣтъ писаря выставляютъ, какъ положено: ростъ — два аршина шесть вершковъ; лицо — круглое; волосы—русые; носъ—средній; подбородокъ—обыкновенный; а, видно, писаришко-то у насъ либо хмѣленъ былъ, проклятый, либо не доглядѣлъ, да противъ росту, поставилъ: средній, вмѣсто носу; а противъ носу — два аршина шесть вершковъ! Вотъ тебѣ и примѣта!

«Узнавъ все это, я говорю:

— Помилуйте, не погубите, не держите, наше дѣло дорожное: намъ сутки простою съ лошадьми дороже головы... помилосердуйте!

— Нѣтъ, говорятъ, паспортъ не въ порядкѣ, не то фальшивый, либо чужой.

— Чѣмъ же я виноватъ тому, что мнѣ тамъ прописали? Я человѣкъ неграмотный, взялъ, что подали — только и вины моей. А что носу такого нѣтъ у меня, батюшка, такъ гдѣ жъ его взять? Вѣдь это хоть по всему свѣту пройти, такъ такой не найдется! Шутка,

чтобъ носъ у тебя былъ въ два аршина въ шесть вершковъ! Эка шутка!

«Вотъ какъ, батюшка баринъ, и носъ этотъ, по строгости тогдашней и по новости городичнаго, дорого намъ обошелся...

«А все, слава Богу, нечего гнѣвить Его милосердіе, жить нашему брату можно. Какая бѣда хоть и станется надъ нами, подъ лихой часъ, все по грѣхамъ нашимъ; а поколѣ Господь грѣхамъ терпитъ, все жить можно.

КРУШЕНІЕ

Въ разсказѣ извозчика, подъ дикимъ заглавіемъ: «Двухъ-аршинный носъ», — тѣмъ болѣе дикимъ, что рѣчь идетъ не о слоновьемъ хоботѣ, а о носѣ человѣчьемъ, — упомянуто было о крестьянинѣ, брательникѣ извозчика, отданномъ въ солдаты, какъ выражался одинъ знаменитый приказный, писарь станового, *за испорчіе верхней одежды на прикащикѣ N. вилами и за перекинутіе онаго чрезъ плетень*. Разскажемъ же вкратцѣ событіе это и окончательную судьбу человѣка, повоевавшаго на конопляникѣ своемъ вилами.

Въ селеніи Рогожицахъ случился пожаръ, среди бѣлаго дня, но въ рабочую пору, когда на селѣ не было почти ни одного мужика. Бабы засуетились, стали по четыремъ угламъ горящей избы съ иконами, молитвами и воемъ, между тѣмъ какъ другія спасали самыя нужныя и дорогія вещи, какъ-то: рѣшето съ перьями, любимую хохлатушку, порожнюю люльку съ съ отрепьемъ, деревянный пестъ отъ огромной ступы и проч., а скотъ, сохи, сундуки съ одеждой и деньги— погорѣли. Бабы оправдывались впослѣдствіи въ одинъ голосъ тѣмъ, что имъ де не до того было. Онѣ, сердечныя, увидавъ бѣду эту, едва только успѣли подхватить животы да взвыть голосомъ; больше не успѣли

пули, всѣ перепугались, такъ что бѣда. За кого тутъ взяться? извѣстно, за богатаго. Опять принялись за моего кума сердешнаго, да такъ то есть обработали его, что никуда не годится. А что проку? Годъ прошелъ, опять сказанъ наборъ, опять дѣло его не минуетъ: отбыть ужь и не стало силъ; разориться разорился въ раззоръ, а року не миновалъ: среднему сыну таки забрили лобъ.

— А у тебя изъ родни есть кто въ солдатахъ?

— Есть братъ да не родной. Ну, нечего трѣпить, его таки отдали за дѣло: за свою правду сталъ, да уже задоренъ больно: вотъ хоть съ кѣмъ, такъ на драку готовъ. Отобрали, вишь, конопляникъ у него, что ужь годовъ съ двадцать все владѣлъ и наземомъ поправлялъ, а отвели другой, почитай, что кочкарникъ, обдѣлывай дескать снова. Ну вотъ онъ тутъ за свою обиду и постоялъ да вилами всю одежду перепоролъ на томъ мужикѣ, за котораго съ барскаго двора, отъ самаго то есть господина, дѣвку отдали, а за нею и конопляникъ этотъ пошелъ, какъ будто то есть въ приданое. Пришелъ самъ прикащикъ унимать, —ну, а братъ стоитъ себѣ съ вилами на сторонѣ, насторожѣ, на своемъ конопляникѣ, никого, говоритъ, не пущу, хоть что хошь дѣлай. Прикащикъ къ нему, да то есть, чтобы въ зубы его, а тотъ его по лбу вилами, да на нихъ же поднялъ, да черезъ тынъ и махнулъ; тотъ насилу всталъ, словно бока отлежалъ. Вотъ оно какое дѣло было. Ну, баринъ и осердился и приказалъ тотчасъ его сдать. Какъ сказали ему, что въ солдаты, такъ онъ и бросилъ вилы и пошелъ самъ, говоритъ: «вилы какъ не смѣнить на государево ружье; пойду самъ, и никого не затрону, не опасайтесь.» Ну, и пошелъ; живетъ себѣ, ничего, служитъ не тужитъ; онъ прошлаго года писалъ домой, такъ пишетъ, что благодаря Бога, жить можно на свѣтѣ.

Оно и точно, сударь, можно, поколя Господь грѣхамъ терпитъ.

— Ты помянулъ, однако жь, про двухъ покойниковъ, которыхъ возилъ, а разсказалъ только про одного: какой же такой былъ у тебя другой?

— А другой, батюшка баринъ, былъ вотъ какой: на Масленѣ посадилъ я подъ качелями двоихъ плотниковъ, что ли, какихъ-то, и везти было ихъ въ Ямскую. Оба они, правда, хмѣльны были, а одинъ такъ ужь и вовсе ноги волокъ. Товарищъ втащилъ его, усѣлись, поѣхали. Въ Чернышевомъ переулкѣ вдругъ что-то у меня развалились сѣдоки, а сидѣли было сперва смирно; я оглянулся, одинъ глаза подъ лобъ закатилъ, а другой, соскочивъ съ саней, да давай Богъ ноги, — видно, со страху и хмѣль прошелъ, — такъ по Садовой и пустился. Гнаться мнѣ за нимъ нельзя, а, испугавшись бѣды, я остановилъ лошадь, поглядѣлъ на товарища его — ничего, молъ, Богъ милостивъ, видно больно хмѣленъ, отойдетъ. Усадивъ его кой-какъ въ сани, я скорѣе до мѣста; тамъ ребята обступили, какъ сталъ я доспрашиваться, гдѣ тутъ плотники живутъ. Посмотрѣли они на сѣдока моего, который уже весь подъ полость съѣхалъ, увидали его въ лицо — это, говоритъ, Гришка, вонъ онъ гдѣ стоитъ, тамъ у него и хозяйка. Привожу туда, и спрашиваю гришкину хозяйку; она было вышла, да какъ поглядѣла на него, какъ увидала, что не живой — а ужь онъ у меня и померъ въ саняхъ — такъ и откинулась: не принимаетъ да и только, хоть ты хошь дѣлай. — На что его мнѣ, говоритъ, ты, коли извощикъ, такъ живыхъ вози, а не мертвыхъ.

«Я туда, сюда, народъ собрался, кричатъ, день же праздничный, кто говоритъ ей: прими, дура, вѣдь твой; кто кричитъ: не принимай, бѣда будетъ. Бился, бился: нечего дѣлать, повезъ въ часть... видно, такая моя

доля! Наплакался я и этотъ разъ, и другу и недругу закажу покойниковъ возить. «Найди, говорятъ, да поставь намъ товарища его!» Такъ гдѣ же я его возьму? «Ужь коли вы, господа, не отыщите его, такъ нашему то брату гдѣ жь его взять? Вѣдь, я посадилъ его на улицѣ, хлѣба-соли съ нимъ не важивалъ, паспорта его не прописывалъ и на умѣ его не бывалъ, не знаю, куда онъ повернулъ изъ Садовой, да куда удралъ. Такъ, нѣтъ, говорятъ, подай: покуда его не найдемъ, и тебя не отпустимъ. Лошадь же моя была хозяйская, такъ хозяинъ и хлопоталъ; подержали съ мѣсяцъ и выпустили.»

— А вотъ, баринъ, помянулъ я про паспортъ, а вы про все разспрашиваете, такъ къ пиву ѣдется, а къ слову молвится, — къ слову пришлось разсказать вамъ: вотъ за паспортъ притча была со мной, такъ, чай, сколько свѣтъ стоитъ, ни съ кѣмъ этого не бывало. Слыхали ль вы когда, чтобъ у нашего брата былъ носъ не по чину, въ маховую сажень? Ну, такъ вотъ я же вамъ разскажу: диво, ей Богу, да и только! Дѣло это было ужь годовъ тому семь. Я оброкъ уплатилъ впередъ за годъ, Богъ пособилъ, а у насъ безъ этого не пускаютъ; либо по третямъ вноси, такъ и билетъ на четыре мѣсяца выдадутъ. Вотъ я и взялъ паспортъ годовой и пошелъ, ни о чемъ не горюя. Въ тѣ поры поднялись мы, человѣкъ пять, сколотившись деньжонками, въ извозъ; товаръ клали недалече отъ себя, а везти было въ Москву. Въ одномъ городишкѣ — и на городъ то не похожъ, хуже иной деревни — пошелъ одинъ изъ нашихъ прописать паспорты, и, видно, прописывали по строгости, что недавно, вишь, насланъ былъ новый городничій, а стараго смѣнили; приходитъ — все ничего, и не впервые ужь прописывались, даже не разъ, становые и прочее начальство глядѣли. Ну, извѣстно, не безъ того, за прописку

возьмутъ съ тебя и отпустятъ; а тутъ, вотъ какая притча сталась:

«— Гдѣ у васъ Алексѣй Ѳедотовъ?

«— При лошадяхъ остался.

«— Пошли его сюда.

«Прибѣжали ребята и кричатъ меня. Я пошелъ.

«— Ты Алексѣй Ѳедотовъ?

«— Я, молъ, сударь.

«— А зачѣмъ ты съ чужимъ паспортомъ ходишь?

«— Я, молъ, не знаю, сударь, какой изволите казать паспортъ, а у меня, надо быть, свой былъ.

«— Нѣтъ врешь, примѣты не твои. Посадить его подъ караулъ!

«Вотъ тебѣ и расправа! А тутъ, батюшка, вотъ какая бѣда прикрутилась: извѣстное дѣло, въ паспортѣ, супротивъ примѣтъ писаря выставляютъ, какъ положено: ростъ — два аршина шесть вершковъ; лицо — круглое; волосы—русые; носъ—средній; подбородокъ—обыкновенный; а, видно, писаришко-то у насъ либо хмѣленъ былъ, проклятый, либо не доглядѣлъ, да противъ росту, поставилъ: средній, вмѣсто носу; а противъ носу — два аршина шесть вершковъ! Вотъ тебѣ и примѣта!

«Узнавъ все это, я говорю:

— Помилуйте, не погубите, не держите, наше дѣло дорожное: намъ сутки простою съ лошадьми дороже головы... помилосердуйте!

— Нѣтъ, говорятъ, паспортъ не въ порядкѣ, не то фальшивый, либо чужой.

— Чѣмъ же я виноватъ тому, что мнѣ тамъ прописали? Я человѣкъ неграмотный, взялъ, что подали— только и вины моей. А что носу такого нѣтъ у меня, батюшка, такъ гдѣ жъ его взять? Вѣдь это хоть по всему свѣту пройти, такъ такой не найдется! Шутка,

чтобъ носъ у тебя былъ въ два аршина въ шесть вершковъ! Эка шутка!

«Вотъ какъ, батюшка баринъ, и носъ этотъ, по строгости тогдашней и по новости городичнаго, дорого намъ обошелся...

«А все, слава Богу, нечего гнѣвить Его милосердіе, жить нашему брату можно. Какая бѣда хоть и станется надъ нами, подъ лихой часъ, все по грѣхамъ нашимъ; а поколѣ Господь грѣхамъ терпитъ, все жить можно.

КРУШЕНІЕ

Въ разсказѣ извозчика, подъ дикимъ заглавіемъ: «Двухъ-аршинный носъ», — тѣмъ болѣе дикимъ, что рѣчь идетъ не о слоновьемъ хоботѣ, а о носѣ человѣчьемъ, — упомянуто было о крестьянинѣ, брательникѣ извозчика, отданномъ въ солдаты, какъ выражался одинъ знаменитый приказный, писарь становаго, *за испортіе верхней одежды на прикащикѣ N. вилами и за перекинутіе онаго чрезъ плетень.* Разскажемъ же вкратцѣ событіе это и окончательную судьбу человѣка, повоевавшаго на конопляникѣ своемъ вилами.

Въ селеніи Рогожицахъ случился пожаръ, среди бѣлаго дня, но въ рабочую пору, когда на селѣ не было почти ни одного мужика. Бабы засуетились, стали по четыремъ угламъ горящей избы съ иконами, молитвами и воемъ, между тѣмъ какъ другія спасали самыя нужныя и дорогія вещи, какъ-то: рѣшето съ перьями, любимую хохлатушку, порожнюю люльку съ съ отрепьемъ, деревянный пестъ отъ огромной ступы и проч., а скотъ, сохи, сундуки съ одеждой и деньги— погорѣли. Бабы оправдывались впослѣдствіи въ одинъ голосъ тѣмъ, что имъ де не до того было. Онѣ, сердечныя, увидавъ бѣду эту, едва только успѣли подхватить животы да взвыть голосомъ; больше не успѣли

онѣ сдѣлать ничего. Къ счастію, однако, баринъ съ дворовыми людьми набѣжалъ, и пожаръ остановили, хотя и погорѣло три избы.

При розыскахъ открылось, что виною этого пожара была хозяйка Потапа, которая, надѣясь на власть Господню, высыпала золу съ угольками подъ сухой плетень, гдѣ еще лежали и хворость и солома. Сколько ни отнѣкивалась Агаѳья моя, доказывая убѣдительно и краснорѣчиво, что бѣда эта ни отъ кого иного, какъ отъ Бога, и, притомъ, просто, наказаніе за грѣхи наши, но баринъ разсуждалъ иначе, и, по принятому въ Рогожицахъ издавна правилу, Потапу съ Агаѳьей пришлось выселяться на край села и тамъ строиться, а пожарище свое оставить въ пользу другого хозяина. Такое наказаніе налагалось каждый разъ, когда мужикъ или хозяйка его были виною пожара; имъ говорилось: «не умѣла песья нога на блюдѣ лежать—ступай подъ столъ; не умѣли вы съ людьми по-людски жить—ступайте на край.» А жить съ краю, особенно селиться тамъ въ новой избѣ, это мужикъ считаетъ наказаніемъ, хотя бы только потому, что много городьбы и что далече отъ добрыхъ людей.

Потапъ, какъ парень молодой, вовсе не глупый и даже слишкомъ удалой, не очень тужилъ, впрочемъ, о судьбѣ и повиновался съ должною покорностью, потому что улика была на лицо и приговоръ справедливъ; но онъ отстаивалъ одно, мнимое право свое: конопляникъ и дѣдовскія поля. О послѣднихъ и спору не было: они оставались попрежнему за нимъ, гдѣ бы изба его ни стояла; но конопляникъ, который былъ на задахъ избы и составлялъ часть задворья, естественно долженъ былъ отойти во владѣніе того, кому отдано будетъ подъ избу пожарище. И вотъ это-то Потапъ не могъ или не хотѣлъ понять: онъ утверждалъ, что конопляникъ этотъ, какъ принадлежавшій

не только отцу, даже и дѣду его, составлялъ собственность его и никому не можетъ быть переданъ. Конопляникъ унавоживался и обработывался постоянно двадцать или тридцать лѣтъ семействомъ Потапа, которому не хотѣлось начинать работу эту снова на краю села, гдѣ по задворью пролегалъ какой то кочкарникъ. На всѣ убѣжденія, что земля эта барская, Потапъ отвѣчалъ: «барскую землю всѣ мы знаемъ, гдѣ она; барскую землю мы барщиной и пашемъ; а это земля моя. Я и самъ барскій, его воля надо мной, въ томъ не стою,—да земля то моя.»

Между тѣмъ съ господскаго двора отдавали дѣвку замужъ на село и, по милости барина, обзаводили ее всѣмъ хозяйствомъ: ей-то съ мужемъ назначено было строиться на мѣстѣ Потапа. Рубить избу на пожарищѣ своемъ онъ не мѣшалъ, но конопляника не уступалъ. «Чѣмъ она служила у барина и что выслужила—говорилъ онъ—про то мы не знаемъ, да и не наше дѣло это: на милость образца нѣтъ: такъ пусть же приданое за нею идетъ изъ барской казны, — а своего добра я ей не отдамъ. Не для нея тутъ и дѣдъ и отецъ мой работали, да и я свое старанье приложилъ. У меня она ничего не выслужила, такъ моего и не тронь.» Слово за слово, Потапъ разгорячился, вышелъ изъ себя и поселился съ вилами на старомъ конопляникѣ своемъ, побожившись трижды, что всякому брюхо распоретъ, кто къ нему подступится. Напрасно Агаѳья стояла и плакала передъ нимъ, стараясь поймать его за руку и увести домой, на новое мѣсто; напрасно и старики уговаривали Потапа бросить дѣло это, доказывая, что плетью обуха не перешибешь. Потапъ согналъ побѣдоносно съ мѣста новаго хозяина, распоровъ ему, къ счастью, только чапанъ и тѣшился сдуру тревогою по всему селу, стоя на конопляникѣ своемъ, какъ пѣтухъ на навозной кучѣ.

Жалобы дошли тотчасъ до барина, который послалъ приказчика, приказавъ ему ввести новыхъ владѣльцевъ во владѣніе пепелища, а въ случаѣ строптивости Потапа поступить съ нимъ, какъ съ возпокойнымъ человѣкомъ, т. е. связать его. Приказчикъ отправился и, какъ человѣкъ бойкій и бывалый, знавшій, какъ онъ самъ говорилъ, всякое должное обхожденіе, подошелъ прямо къ Потапу, закричалъ на него, выругалъ его и приказалъ идти домой; когда же все это осталось безъ успѣха, и Потапъ объявилъ, что не пойдетъ, а перекинетъ самого приказчика черезъ тынъ, то начальствовавшій подъ барономъ оскорбился такими неприличными выходками и нашелся вынужденнымъ прибѣгнуть къ дальнѣйшимъ мѣрамъ увѣщанія, что разсказчикъ нашъ и выразилъ словами: «приказчикъ и подступилъ было къ нему, чтобы его, то есть, въ зубы...», но Потапъ отскочилъ и, по обѣщанію своему, принялъ противника своего на вилы, чтобы пересадить его черезъ заборъ. На бѣду, увертливый приказчикъ долго не рѣшался на переправу эту и нѣсколько разъ срывался съ вилъ, почему синій сюртукъ его, запутавшись полами въ тройчатки, подвергся значительнымъ поврежденіямъ; наконецъ, однако же, ловкость и настойчивость Потапа одержали побѣду: противникъ его взвился на вѣтеръ, какъ снопъ, и повалился на мягкую кучу черезъ плетень.

Когда приказчикъ прибѣжалъ въ такомъ видѣ къ барину, въ пострадавшемъ сюртукѣ, растрепанный, съ признаками той кучки, на которой онъ лежалъ, въ волосахъ и на платьѣ, то маркграфъ села Рогожицъ приказалъ бить сборъ и идти на приступъ брать Потаповъ конопляникъ и тотчасъ же сдѣлалъ гласное распоряженіе объ отдачѣ своевольнаго коменданта, за оказанную имъ храбрость, въ солдаты. Такое отличіе, о которомъ тотчасъ же дали знать Потапу, польстило

самолюбію его, и онъ, къ крайнему удивленію осаждающихъ, не выждавъ даже окончанія распоряженій воеводы, хитраго городоимца, приступныхъ и подкопныхъ дѣлъ вымышленника, кинулъ вилы, махнулъ рукой и сдался безусловно военноплѣннымъ, произнося замѣченныя нами въ разсказѣ извозчика слова: «пойду охотой, самъ пойду, а не приступайте: какъ не промѣнять вилы на государево ружье!»

И пошелъ; но онъ попалъ не въ солдаты, а въ матросы. Прошло лѣтъ пять, и Потапъ, походивъ уже въ морѣ, сдѣлался лихимъ матросомъ. И вотъ, между тѣмъ, какъ новый хозяинъ давно уже обрабатывалъ дѣдовскій конопляникъ Потапа, этотъ тянулъ и отдавалъ кливеръ-шкотъ или леталъ бѣгомъ по вантамъ, на марсъ и салингъ.

Небольшой отрядъ мелкихъ судовъ, всего шесть, назначенъ былъ въ зимнее крейсерство къ абхазскимъ берегамъ. Туда дошли они хорошо и продержались тамъ почти до половины января благополучно; но зима была непомѣрно бурная и строгая, а при открытомъ положеніи восточнаго берега Чернаго моря, гдѣ на всемъ протяженіи нѣтъ ни одной гавани, ни одного убѣжища для судовъ, западные вѣтры разводили страшное волненіе, отъ Дуная и Варны до Анапы и Сухума, — волненіе, о которомъ никто, кромѣ очевидца, не можетъ составить себѣ понятія. Что можетъ сдѣлать щепка, хотя и одушевленная разумомъ опытнаго кормчаго, противъ этой силы разъяренныхъ и разрушительныхъ стихій? Вотъ короткое описаніе этого необычайнаго крушенія, при которомъ изъ шести судовъ, составлявшихъ отрядъ, спаслось только одно: четыре выкинуло на берегъ и разбило, а пятое погрузилось, обращенное въ ледяную гору...

Къ вечеру стало свѣжѣть, и въ то же время морозъ усиливался. По всему было замѣтно, что того-

вится что-то недоброе. Вскорѣ расходилась *бора*, извѣстный у береговъ этихъ ураганъ, отъ котораго нѣтъ спасенія. Всѣ суда стояли на мертвыхъ якоряхъ, на двухъ цѣпяхъ, и, кромѣ того, всѣ судовые якоря были также приготовлены; хотя, конечно, нельзя было надѣяться отстояться на своемъ якорѣ, коли не устоятъ цѣпи мертваго якоря, но, готовясь въ утопленники, мы хватались и за соломенку. За полночь вѣтеръ все еще крѣпчалъ; при каждомъ подъемѣ и спускѣ съ волны, дергало и рвало суда съ такою силою и въ такихъ порывахъ, что, казалось, глухіе перекаты грома ходятъ по всѣмъ членамъ судна, которое грозило каждое мгновеніе разсыпаться въ щепы. День померкъ, налегла тьма, буря ревѣла, громадное волненіе вскидывало кормы судовъ подъ крутымъ угломъ кверху, между тѣмъ какъ прикованный ко дну моря носъ безпрерывно погружался въ море... Уже не было никакой возможности стоять или ходить по палубамъ иначе, какъ цѣпляясь всѣми силами за снасти и другіе предметы. Суда, которыя стояли невдалекѣ одно отъ другого, изрѣдка, и то мелькомъ, видѣли другъ друга. Вскорѣ настала ночь, а буря и морозъ все еще усиливались...

Тендеръ, небольшое одномачтовое судно, на которомъ бываетъ человѣкъ до 40 команды и 3—4 офицера, отстаивался, повидимому, нѣсколько лучше другихъ судовъ, потому что былъ меньше и легче; но для него явилась другая опасность, неслыханная доселѣ въ исторіи мореплаванія, даже въ полярныхъ моряхъ: опасность превратиться, въ полномъ составѣ своемъ, съ людьми и всѣми принадлежностями, въ одну глыбу льда и, бывъ затопленнымъ въ этомъ видѣ, носиться пловучею могилой, заживо погребенныхъ, по волнамъ... И судьба эта надъ бѣднымъ тендеромъ исполнилась: сначала ледъ сталъ намерзать на

бушпритѣ и снастяхъ его, и носъ началъ погружаться; громадное волненіе тѣмъ съ большею легкостію окачивало вдоль всю палубу тендера, который стоялъ на якорѣ, а потому носомъ къ вѣтру, и вода, которая при 20° мороза уже вся почти обратилась въ мельчайшія ледяныя иглы, но не могла еще замерзнуть отъ безпрерывнаго движенія громадныхъ волнъ, — вода мгновенно замерзала, обращаясь въ ледяную глыбу, какъ только вскатывалась на судно. Заледенѣвшая команда выбилась изъ силъ, стараясь вырубать ледъ и очищать отъ него палубу. 40 человѣкъ не могли сдѣлать ровно ничего, въ сравненіи съ тѣмъ, что каждое мгновеніе наполнялось и прибывало; люди начали коченѣть, ясно предвидя участь свою... Такимъ образомъ, ледъ нарасталъ, затопляя тяжестью своею постепенно тендеръ; а чѣмъ болѣе кузовъ его погружался, тѣмъ удобнѣе верхнюю часть его окачивало волной, которая тутъ же примерзала, мгновенно застывая и обращаясь въ новый слой льду... Къ утру, на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ тендеръ, качалась безобразная глыба, ледяной курганъ или могила, подъ которой погребена была вся команда съ офицерами, а на вершинкѣ ея водруженъ былъ крестъ: кончикъ мачты съ поперечнымъ реемъ... все остальное погребено было въ этой плавучей гробницѣ.

Пароходъ, который стоялъ на двухъ прочныхъ якоряхъ, казалось, могъ надѣяться на спасеніе болѣе, чѣмъ всѣ прочія суда: во-первыхъ, командѣ было гдѣ отогрѣться, хотя поочередно, тогда какъ на парусныхъ судахъ въ такую погоду вовсе нельзя разводить огня; во-вторыхъ, онъ могъ дѣйствовать, въ помощь якоря, парами. Но и ему суждена была общая участь: нѣсколько времени держался онъ на двухъ якоряхъ и подо всѣми парами, сражаясь противъ волнъ и урагана; наконецъ, всѣ усилія эти были побѣждены: его

сорвало съ якорей, выкинуло на берегъ, какъ чурку, и разбило... Корветъ и транспортное судно уже лежали на боку; оставался одинъ бригъ.

Бригъ стоялъ также на двухъ цѣпяхъ, въ руку толщины, и съ вечера уже три якоря были изготовлены въ запасъ. Ночь — хоть глазъ выколи; ураганъ и 20° мороза. Около двухъ часовъ ночи, при страшномъ порывѣ вѣтра, одна цѣпь съ глухимъ трескомъ лопнула, и бригъ простоналъ во всѣхъ членахъ своихъ. Тотчасъ же брошены были еще два якоря. Черезъ четверть часа лопнула другая цѣпь. Страшное ожиданіе исполнилось. Бросили третій якорь. Въ самое это время волной высадило носовой погонный портъ *), и положеніе брига сдѣлалось ужаснымъ: каждый набѣгавшій валъ вливался въ бригъ, расплывался по всей внутренности его и тотчасъ же застывалъ, обращаясь въ ледъ... Вода не успѣвала стекать, несмотря ни на какое стараніе команды; волна замерзала, не добѣжавъ даже всего пространства отъ носа до кормы... Носовая часть брига начинала замѣтно погружаться, отъ тяжести нароставшаго на ней льда... Въ 4 часа ночи бригъ потащило съ трехъ якорей. Ураганъ и морозъ все еще усиливались. Черезъ нѣсколько минутъ, бригъ такъ ударило кормой о материкъ, что съ перваго разу выбило руль, затѣмъ поворотило его нѣсколько бокомъ, вдоль берега, и пошло жестоко колотить килемъ, ударъ за ударомъ... Каждое мгновеніе надобно было ожидать, либо что бригъ разсыплется въ щепы, либо что его положитъ на бокъ къ вѣтру и зальетъ. Обрубили канаты, чтобы выкинуло ближе къ берегу. Это сдѣлано было такъ ловко и удачно,

*) Отверстіе въ носу, по обѣ стороны, для стрѣльбы, при погонѣ за бѣгущимъ непріятельскимъ судномъ; всѣ порты въ бурю плотно задѣлываются.

что бригъ повалило подъ вѣтеръ, положило довольно плотно, налило водой, и волны пошли ходить черезъ него, какъ черезъ прибрежный камень. Палуба была такъ круто наклонена, что едва только была возможность удержаться лежа подъ навѣтреннымъ бортомъ, прицѣпившись къ чему-нибудь руками и ногами; между тѣмъ, каждая волна покрывала всѣхъ, и вскорѣ вся команда примерзала къ палубѣ, бортамъ и снастямъ. Многіе начали коченѣть и засыпать. Командиръ и офицеры пробирались ползкомъ черезъ людей, то туда, то сюда, стараясь поддержать въ нихъ бодрость, хотя надежды на спасеніе не было, и уговаривали всякаго шевелиться, ползать или вертѣться на мѣстѣ, чтобы не уснуть и не замерзнуть. Ни одинъ человѣкъ, во все страшное время это, не слышалъ ни одной жалобы, ни одного упрека... Любопытно видѣть человѣка въ этомъ положеніи... Многіе молча крѣпились, другіе помолились, среди тревоги и видимой гибели этой и, успокоившись, ждали участи своей; иные наказывали товарищамъ, на случай, если кто изъ нихъ спасется, послѣднюю волю и завѣщаніе свое; третьи покрикивали другъ на друга: «не робѣй, ребята, ничего. Богъ милостивъ: авось вотъ стихнетъ; скоро свѣтъ: а пропадать, такъ пропадать. Извѣстно, матросу въ морѣ умирать, а не въ полѣ». — Полушубки и надѣтые сверхъ ихъ парусинники смерзлись коломъ; но вода не совсѣмъ легко проникала насквозь, именно потому, что она, такъ сказать, была такъ густа, что застывала въ ледъ на самой поверхности одежды и намерзала толстыми слоями. Вдругъ раздался общій крикъ ура, будто по командѣ: бригъ ударило такъ сильно о каменное дно, что гротъ-мачта съ ужаснымъ трескомъ переломилась и стала покачиваться направо и налѣво, угрожая погребсти подъ собой цѣлую половину команды. Понимая безпомощное положеніе свое, люди

спокойно пролежали въ эти роковыя мгновенія на своихъ мѣстахъ, не суетились, не бросались попусту туда и сюда, а отвели только душу свою троекратнымъ ура!... Мачта грохнулась въ море, подъ вѣтеръ, и никого не задѣла.

Уже было десять часовъ утра, а несчастный бригъ оставался все въ томъ же положеніи; наконецъ, начало нѣсколько прочищаться,—а дотолѣ и самый день былъ почти не свѣтлѣе ночи. Только теперь увидѣли, къ радости своей, что берегъ былъ въ тридцати саженяхъ. Это менѣе ста шаговъ—рукой подать! Но какъ сюда попасть? Пять человѣкъ отчаянныхъ матросовъ вызвались попытаться счастья: обрубили висѣвшую съ боку шлюпку, молодцы сѣли, при общихъ благословеніяхъ, удачно отпихнулись и начали бороться съ прибоемъ, ураганомъ и водоворотомъ, который образовался между бригомъ и приглубымъ берегомъ, отъ страшнаго волненія: оно цѣлыми горными кряжами напирало отъ запада, не давая водѣ стекать и установиться въ равновѣсіи... Саженяхъ въ десяти шлюпка исчезла; черезъ минуту она едва только мелькнула въ глазахъ томимой страхомъ и ожиданіемъ команды. Но зоркіе моряки поглядѣли другъ на друга молча, перекрестились и прилегли опять по своимъ мѣстамъ. Шлюпку несло къ берегу килемъ, а пяти человѣкамъ и помину не было.

Пришелъ полдень. Положеніе бѣдствующихъ сдѣлалось невыносимымъ: многіе лежали съ отмороженными руками и ногами, даже о пищѣ не могло быть и рѣчи, весь бригъ налитъ былъ водой. Вызвались еще три человѣка; вырубили топорами двойку изъ ледяной горы, въ которой она замерзла на рострахъ, спустили ее за бортъ и три матроса вскочили на орѣховую скорлупу эту, взявъ съ собою конецъ лотъ-линя, тонкой веревочки... Въ нѣсколько ударовъ волны

выкинули козявку эту покатомъ на берегъ, и три человѣка быстро вскочили на ноги. Продолжительное ура привѣтствовало удальцовъ за эту удачу, которой вся команда обязана спасеніемъ. На бригѣ привязали къ лотъ-линю перъ-линь, толстую надежную веревку; изъ ближней крѣпости нашей люди подоспѣли на помощь, перъ-линь укрѣпили на берегу, вытянули, и вся команда, офицеры, а наконецъ и капитанъ, перебрались по этому цѣпному мосту на берегъ, ни въ бродъ, ни въ плавь, а по горло въ водѣ, при 20° мороза. Безъ помощи этой веревки не было никакого спасенія, потому что всякій неминуемо былъ бы разбитъ волненіемъ о камни. Всѣхъ спасенныхъ отнесли въ ближайшее укрѣпленіе. Говорятъ, что всѣ остались живы, но многіе безъ рукъ или безъ ногъ.

— Что, братъ, сказалъ одинъ изъ матросовъ, выписавшійся черезъ нѣсколько дней здоровымъ изъ больницы и пришедшій навѣстить своего товарища?—что лѣкарь говоритъ?

— Да слава Богу, отвѣчалъ тотъ:—вотъ ужь намъ сказали, что ноги рѣзать не надо — дастъ Богъ заживетъ. Вѣдь она, братецъ ты мой, у меня вся отошла: вотъ только самую лапу, отъ подъема до перстовъ крѣпко прихватило, видно: и кожа и мясо, все отвалилось: да теперь, благодаря Бога, ничего...

— Надо, братецъ, поставить намъ съ тобою Николаю Чудотворцу свѣчу, какъ дастъ Богъ живы-здоровы воротимся — и тѣхъ, сердечныхъ, помянемъ; а за Потапа я отслужу панихиду... Эхъ, парень хорошій былъ!

— Да, продолжалъ больной,—нечего сказать, что жаль; ужь и Серегу жаль, и Горлаева Степана, и всѣхъ, то есть, жаль; ну, а ужь супротивъ земляка твоего нѣтъ у насъ никого: такой, то есть, Потапъ былъ матросъ, что и въ воду и въ огонь... вѣдь, онъ

первый вызвался, онъ подлѣ меня лежалъ, у самаго кнехта, какъ только сталъ вызывать капитанъ, такъ первый и вскочилъ, насилу отодралъ отъ палубы парусинникъ свой, весь примерзъ; да и мы-то съ нимъ насилу развелись: смерзлись вмѣстѣ. А смерть легкая имъ была, въ одинъ ковырокъ разомъ всѣхъ пятерыхъ накрыло. Надо помянуть ихъ, и за Потапа надо отслужить панихиду... Твоя гривна будетъ, что ли?

— Будетъ, отвѣчалъ тотъ:—клади монхъ три пятяка, коли дастъ Богъ живъ буду. За Потапа не жаль!

СТЕПНЯЧОКЪ

Въ губернскомъ городѣ былъ съѣздъ, по поводу ярмарки и выборовъ. Можно себѣ вообразить, сколько тутъ съѣхалось всякаго люда. Тутъ, конечно, бѣли не одни только торговые и дѣловые, а люди всякаго званія и промысла. Всѣ мы, сколько насъ ни есть, живемъ одинъ другимъ.

Былъ поздній вечеръ, или, лучше сказать, ночь; суматоха стихла; погода сыровата и сурова, а человѣкъ, одѣтый вовсе не по-зимнему, то есть безъ плаща, не только безъ шубы, бѣжалъ по глухой улицѣ съ поздней вечеринки домой. Увидавъ вдругъ тусклый свѣтъ въ окнахъ домэ, мимо котораго проходилъ рысцой, онъ пріостановился, взглянулъ на окна, подумалъ про себя: «на ловца и звѣрь бѣжитъ»,—поворотилъ во дворъ, взбѣжалъ на подъѣздъ и тѣмъ же бѣглымъ шагомъ хотѣлъ войти изъ передней въ покои; но сонный слуга вскочилъ съ прилавка, едва не сбилъ посѣтителя съ ногъ и съ испугомъ, какъ бы опамятовавшись только вполовину, заступилъ ему дорогу. «Нельзя-съ», сказалъ онъ, «почиваютъ». — «Да ну къ чорту! отвѣчалъ тотъ, едва попадая зубомъ на зубъ. Меня ждутъ; поди, доложи, скажи, что Куреневъ».— Человѣкъ съ отчаяніемъ запустилъ обѣ руки въ воло-

ву, страшно зѣвнулъ и, шатаясь спросонья, пошелъ докладывать: а гость, между тѣмъ, подувалъ въ кулаки, покрякивалъ, потиралъ руки, выправлялъ плечи и думалъ: «даже и въ передней теплѣе, чѣмъ на улицѣ». Топать ногами онъ не рѣшался, хотя ему и очень хотѣлось отогрѣть ноги. Онъ догадывался, что господа заняты.

«Пожалуйте-съ», сказалъ слуга, отворяя двери, и посѣтитель, проговоривъ: «ну, видишь ли, братецъ, что ты оселъ», прошелъ еще двѣ теплыя комнаты и очутился въ третьей, освѣщенной двумя оплывшими и нагорѣвшими сальными свѣчами, за которыми сидѣли у ломбернаго стола три человѣка съ картами въ рукахъ. Поздоровались отрывисто, потому что тутъ всѣ были заняты, помолчали. Куреневъ окинулъ опытнымъ глазомъ записку, взглянулъ также на пухлыя, сонныя лица игроковъ и убѣдился, что игра должна была длиться уже болѣе сутокъ.

— Такъ что же, сказалъ онъ, обратясь къ двумъ товарищамъ, которые держали банкъ вмѣстѣ противъ третьяго: — хоть прикажите подать рюмку водки да примите меня въ часть—ужь не въ половину: гдѣ мнѣ съ вами! а хоть въ десятую долю.

— Пожалуй, сказалъ одинъ изъ нихъ:—такъ бери же самъ карты и держи банкъ за насъ: ужь мы оба, что называется, лыкомъ не веземъ: товарищъ просто глазами не видитъ, а я словно голову отсидѣлъ, одурѣлъ совсѣмъ.

— А давно занимаетесь?

— Нѣтъ, не такъ-то давно: сѣли въ воскресенье вечеромъ: понемногу всѣ разбрелись, мы и остались одни.

Замѣтимъ, что дѣло это происходило ночью со вторника на среду.

Подали водку, выпили. Свѣжій игрокъ сѣлъ съ

противникомъ за столъ, повѣривъ въ двухъ словахъ записку, а двое товарищей свалились тутъ же по угламъ дивана и заснули мертвецкимъ сномъ.

— Свищи душа черезъ носъ! сказалъ Куреневъ, въ родѣ привѣтствія новому знакомцу своему, и принялся за дѣло.

Скажемъ теперь слово о Куреневѣ: это былъ человѣкъ, которому давно уже не было входа ни въ какое иное общество, кромѣ такого, гдѣ онъ теперь находился. Онъ и явился сюда изъ такого же братства, гдѣ оставилъ, по недостатку другой наличности, свою шубу. Куреневъ не всегда игралъ такъ несчастливо; онъ, напротивъ, умѣлъ приковывать и держать при себѣ неотлучно эту своенравную богиню; но всякому извѣстно, что дѣлать это можно только при извѣстныхъ, сопутныхъ обстоятельствахъ, и, между прочимъ, только съ чужими; а кто разъ дома извѣрился, ему зорко и строго смотрятъ на пальцы. Въ этотъ же вечеръ, въ томъ обществѣ, откуда онъ сюда явился, онъ одинъ только разъ, къ крайнемъ отчаяніи, попытался было склонить счастье на свою сторону, да и то неудачно: противникъ его, сидѣвшій насупротивъ, привсталъ хладнокровно, далъ ему пощечину и сѣлъ опять молча на мѣсто. Куреневъ, получивъ что слѣдовало, махнулъ головою въ сторону и сказалъ: «Полно дурить! ну что за шутки?» — Противникъ промолчалъ, будто и не слышитъ; а Куреневъ спокойно продолжалъ играть, не давая, впрочемъ, болѣе пальцамъ воли, и затѣмъ по этому дѣлу никакихъ объясненій болѣе не было.

Итакъ, Куреневъ, свѣжій человѣкъ въ сравненіи съ тремя, которыхъ засталъ за работой, хотя и самъ онъ часовъ двѣнадцать просидѣлъ за веленымъ сукномъ, продолжалъ спокойно играть съ пріѣзжимъ, котораго онъ не зналъ и видѣлъ въ первый разъ. Этотъ

несчастный сидѣлъ третьи сутки на стулѣ, едва только переводя духъ за рюмкою водки или кусочкомъ селедки; вѣки у него такъ напухли, что почти не видать было глазъ. Игру продолжали спокойно и чинно, часа два, между тѣмъ какъ два товарища, принявшіе Куреневa въ десятую часть, храпѣли напропалую. Куреневъ игралъ довольно счастливо и записалъ на противникѣ своемъ 16.000. Замѣтивъ, что того стало крѣпко подергивать, онъ положилъ карты на столъ, понюхалъ табаку и спросилъ: «а что, не пора ли кончить?» Но противникъ будто испугался одной мысли этой, встрепенулся и убѣдительно просилъ продолжать. Тогда Куреневъ, повертывая табакерку свою въ рукахъ и посмотрѣвъ съ улыбкой на противника, сказалъ: «а позвольте разсказать вамъ примѣрный случай—это было въ Парижѣ: двое играли, вотъ какъ мы теперь, и одинъ изъ нихъ, вотъ хоть бы теперь какъ я, игралъ за другихъ въ долю съ ними. Играли, играли, вотъ этотъ и записалъ 16,000; онъ и говоритъ противнику: послушайте, помиримся лучше — дайте мнѣ половину 8,000, а я сотру, да вы, пожалуй, еще три на меня припишите; тотъ, разумѣется, согласился съ радостію, да такъ и сдѣлали. Какъ вамъ нравится анекдотъ этотъ?»

Противникъ признался, что анекдотъ очень хорошъ и отмѣнно ему понравился. Куреневъ взялъ въ руки щетку, занесъ ее на записку и смотрѣлъ прямо въ глаза тому, отъ кого ждалъ дальнѣйшихъ распоряженій: тотъ оглянулся на сонныхъ, досталъ бумажникъ, отсчиталъ 8,000; Куреневъ положилъ ихъ въ карманъ, стеръ записку и далъ противнику записать три тысячи: потомъ онъ потянулся, громко зѣвнулъ, крякнулъ, протянулъ руку и сталъ будить ближайшаго изъ двухъ товарищей.

— Полно спать,—сказалъ онъ:—ужъ теперь поздно,

доспишь въ четвергъ: вонъ, тутъ уже три тысячи на насъ наверстали; бери самъ карты, мнѣ не везетъ.

Вскорѣ послѣ этого случая, Куреневъ исчезъ изъ того губернскаго города, гдѣ это происходило, и не слышно было, куда онъ дѣвался. Поговаривали, вспоминая ухорскаго промышленника, что онъ, вѣрно, какъ-нибудь дотащился до столицы; но никто не зналъ и не позрѣвалъ, что онъ разжился и съ этими денежками пустился на промыселъ.

Въ Москвѣ, въ Троицкомъ трактирѣ, человѣка три загадочнаго вида, поведенія и образа мыслей, сидѣли за обѣденнымъ столомъ. Пріемы ихъ были не графскіе: но люди эти, какъ замѣтно было по всему, пожили и видѣли свѣтъ, не только что въ окнѣ. Обѣдъ былъ роскошный, вина въ волю. Въ эту же комнату вошелъ, когда обѣдъ былъ въ самомъ разгарѣ, человѣкъ среднихъ лѣтъ, степеннаго вида, въ поношенномъ фракѣ и полосатой тканьевой жилеткѣ, стараго вида и покроя. Онъ вѣжливо поклонился пирующимъ, изъ чего эти тотчасъ заключили, что это пріѣзжій, и стали на него поглядывать; затѣмъ онъ присѣлъ въ углу, къ маленькому столику, спросивъ полового, можно ли ему тутъ сѣсть, и на отвѣтъ прислужника: «какже-съ, гдѣ милости вашей угодно-съ», потребовалъ обѣдать. Бесѣда между сидящими за большимъ столомъ продолжалась; то тотъ, то другой косились на степнячка и дѣлали другъ другу знаки. Одинъ показалъ пальцемъ на свою жилетку, обозначая продольныя полосы, и улыбнулся; другой, въ отвѣтъ на это, кивнулъ головой и проговорилъ, опустивъ глаза въ тарелку: «Херсонъ или Саратовъ». За большой столъ подали спаржу; степнячокъ поднялъ голову, посмотрѣлъ, будто съ какимъ-то любопытствомъ, и сказалъ: «малый, а подай-ка и мнѣ вотъ этого кушанья—вонъ!»

Улыбка за большимъ столомъ превратилась въ хохотъ, который, однакожь, ради приличія, весьма ловко отнесенъ былъ къ какому-то побочному обстоятельству. Спаржу подали; но посѣтитель, видно, не привыкъ еще съ нею управляться: онъ принимался ѣсть ее съ комля; пережевавъ два три ростка до половины, онъ отсунулъ остальную спаржу ложкой и очистилъ одинъ только соусъ, закусывая его хлѣбомъ.

Это была не послѣдняго разбора потѣха для прочихъ посѣтителей и даже для ярославца, который стоялъ тутъ же въ чистомъ, бѣломъ бѣльѣ своемъ и, закрывая ротъ рукою, осторожно ухмылялся. Гости за большимъ столомъ, человѣка три коротко знакомыхъ между собою пріятелей, перемигнулись и вскорѣ нашли случай завязать со степнякомъ бесѣду. Оказалось, что онъ, дѣйствительно, прибылъ по дѣламъ изъ дальней губерніи и, не бывавъ отъ роду въ столицахъ, затруднялся на каждомъ шагу. Предложеніе услужливаго общества принять его въ кругъ свой—потому что и эти господа, какъ оказалось, пріѣхали недавно въ Москву, частію по дѣлу, частію по бездѣлью—предложеніе ихъ показать ему все замѣчательное на Москвѣ и оказать кой-какое пособьице было принято имъ съ благодарностью. Онъ не зналъ ни улицъ, ни переулковъ, ни театра, ни Опекунскаго совѣта, не видалъ ни Терема, ни Оружейной палаты, а, между тѣмъ, частію изъ любопытства, частію по дѣлу, ему надо было все это узнать. Когда обѣдъ кончился и степнякъ нашъ, подсѣвъ уже къ большому столу, по новому знакомству, вынулъ толсто набитый бумажникъ, досталъ оттуда сотенную и просилъ половаго размѣнять ее, то новые друзья его обѣщали ему торжественно не покидать его отнынѣ на скользкомъ поприщѣ московской дѣловой и частной жизни и руководить полезными своими наставленіями Степнячокъ, въ жи-

летѣ съ продольными голубыми полосками и высокимъ воротникомъ, былъ даже тронутъ такою услужливостію и не зналъ, какъ благодарить.

Шайка, на которую напалъ бѣдный степнякъ, выкидала такихъ олуховъ и ими кормилась. Члены ея условились какъ дѣйствовать, и не спускали болѣе жертву свою съ глазъ, предостерегая новаго друга своего въ особенности отъ новыхъ, случайныхъ знакомствъ, потому что въ Москвѣ всякаго люда довольно и какъ разъ нападешь на такихъ, что оберутъ, какъ липку. Тотъ слушалъ, развѣсивъ уши, благодарилъ и обѣщалъ во всемъ слѣдовать ихъ совѣту и наставленію.

Дня три они возили его съ собою, тѣшили, холили и прислуживались ему, наконецъ, не шутя признали его добрымъ малымъ. Послѣ поѣздки къ цыганамъ и разгульнаго дня, предложили, для забавы, заняться картишками. Степнякъ вообще велъ себя очень тихо и скромно, пилъ мало, но не отказывался отъ новыхъ для него увеселеній и по-немногу входилъ во вкусъ разгульной и безпутной жизни, а потому и подавалъ большія надежды. Но въ карты онъ не игралъ Въ дурачки и въ свои козыри онъ игрывалъ, для шутокъ; но, вѣдь, это не барская игра, и, чай, на Москвѣ играть въ нее не станутъ. «Почему не играть? сказали услужливые новые пріятели. Все одно, для препровожденія времени можно». Итакъ сѣли играть въ дурачки. Немного погодя, однакожъ, одинъ предложилъ другую игру, которая, по словамъ его, была очень проста и гораздо занимательнѣе: карты какъ-то раскладываются попеременно направо и налѣво, въ родѣ пасьянса.

— А,—сказалъ догадливый степнячокъ:—вотъ вы что вздумали! Это по нашему называется ярмарочная; да я не игрывалъ никогда въ нее; не умѣю.

Добрые товарищи охотно взялись поучить его этой занимательной игрѣ, такъ, для забавы только, для препровожденія времени, и тотъ согласился, сказавъ, что за компанію и жидъ свинью съѣлъ,—но съ тѣмъ, прибавилъ онъ, чтобы не выходить изъ предѣловъ забавы, игры, и ставить только гривенники. Тѣ охотно на все соглашались, потому что у нихъ истинно было одно желаніе: угодить пріѣзжему и позабавить его.

Такимъ образомъ, прошло еще нѣсколько дней, въ продолженіе которыхъ степнячокъ чуть было не ускользнулъ изъ-подъ опеки пріятелей своихъ, такъ что они гонялись за нимъ цѣлый день по всей Москвѣ и насилу опять нашли и залучили: онъ попался было, по легковѣрію своему, другой шайкѣ въ руки, отъ которой опекунамъ его стоило большого труда высвободить его и скрыть, потому что и тѣ также были ребята не промахъ и, выслѣдивъ дичинку, неохотно покидали гонку свою. Но на этотъ разъ опасность благополучно миновалась: степнячка уговорили переѣхать тайкомъ въ другое мѣсто, чтобы затерять слѣды отъ накинувшихся на него разбойниковъ, скрыться и не заводить новыхъ, столь опасныхъ въ Москвѣ, знакомствъ безъ совѣта искреннихъ друзей его, желавшихъ ему одного только добра и живущихъ, повидимому, только для него.

Въ теченіе этого времени нѣсколько разъ по вечерамъ принимались—скуки ради, для забавы только—за эту новую игру, которая, въ угоду степнячку, называлась просто ярмарочною; а потомъ пріятели разсчитывались, сдавая другъ другу сдачи съ цѣлковаго. Мало-по-малу степнячокъ какъ будто входилъ во вкусъ ярмарочной игры и соглашался, что она позанимательнѣе дурачковъ; онъ только отстаивалъ отъ насмѣшекъ «свои козыри», увѣряя, что эта игра довольно *тонкая*, если кто искусно ее играетъ.

За такими и подобными шутками, поѣздами туда и сюда, катаньемъ и гуляньемъ, гдѣ потчивали нерѣдко новаго друга на свой счетъ, всегда опять садились за ярмарочную, возвышая постепенно ставку.

— Да ну, къ чорту съ цѣлковымъ!—сказалъ одинъ изъ нихъ, послѣ веселаго денька: — двадцать-пять ставлю!

— Пожалуй, и я придержу,—сказалъ улыбаясь степнячекъ, и также выложилъ бумажку.

Такимъ образомъ, шуточки эти продолжались, къ крайнему удовольствію опекуновъ степнячка, цѣлый вечеръ, и онъ проигралъ нѣсколько сотъ рублей. Онъ былъ, впрочемъ, такъ любезенъ при этомъ и, расплачиваясь, показалъ невзначай такой толстый бумажникъ—въ который, впрочемъ, конечно, никто не заглядывалъ—что товарищи его расцѣловали, и на другой и третій день затѣяли ту же забаву, начавъ ее уже не съ гривенниковъ и покончивъ... нѣтъ, позвольте: это засѣданіе надо описать нѣсколько подробнѣе.

Трое опекуновъ и опекаемый сидѣли уже давненько за ломбернымъ столикомъ и забавлялись *ярмарочною*. Степнячекъ былъ все такой же чудакъ, неотесанный, неловкій, въ полосатомъ жилетѣ, и даже, по примѣру товарищей, снялъ съ себя фракъ и платокъ; но счастье везло ему сильно, и противники, со всѣмъ радушіемъ и хлѣбосольствомъ своимъ, никакъ не могли споить его скругу, хотя имъ и казалось, что онъ выпилъ лишнюю рюмочку. Видя, что счастье ему такъ непомѣрно служитъ, и понадѣявшись на то, что у него должно двоить въ глазахъ, зная также неопытность этого олуха, у котораго карты валились изъ рукъ, банкометъ перетасовалъ карты, далъ снять и только-что хотѣлъ началъ метать, какъ тотъ остановилъ его съ вѣжливою, пріятельскою и простоватою улыбкою, ска-

завъ простодушно: «Ахъ, позвольте! какъ вы это хорошо дѣлаете! Но, знаете ли, это можно и чище сдѣлать, какъ мнѣ однажды случилось видѣть. Позвольте мнѣ карты: вотъ такъ, видите?» Опекуны разинули рты, и ни одинъ изъ нихъ не доискался слова: степнячекъ передернулъ у нихъ въ глазахъ такъ чисто, что этакой передержки никто изъ нихъ и во снѣ не видалъ.... Онъ, разсмѣясь, передалъ опять карты банкомету и сказалъ: «Ничего-съ, извольте продолжать, я такъ только пошутилъ....» Но имъ было не до шутокъ. Теперь только увидѣли они, съ кѣмъ связались. «Когда своего счастья нельзя здѣсь пустить въ оборотъ, а общее не служитъ,—подумали они переглянувшись,—то едва ли не лучше будетъ забастовать. Можетъ быть, завтра пойдетъ лучше; къ завтрему жъ можно будетъ подготовить что-нибудь понадежнѣе простой передержки. Но для этого именно нужно время....» У банкомета заболѣла голова, и онъ предложилъ кончить. Степнячокъ, милый и простой товарищъ, на все согласился, сказавъ, что теперь и точно уже довольно поздно и лучше оставить продолженіе до другого раза.

— У насъ времени еще впереди много,—прибавилъ онъ и сталъ считать.

По счету вышло до тридцати тысячъ цѣлковыхъ, и счетъ этотъ оказался вѣрнымъ. Деньги, и въ томъ числѣ два банковые билета, выложены на столъ, сосчитаны, положены степнячкомъ нашимъ въ карманъ и отправились вмѣстѣ съ нимъ на ночлегъ, въ извѣстный нумеръ гостиницы.

Когда гость этотъ ушелъ, то молодцы наши посмотрѣли другъ на друга и долго не знали, что говорить. Отдать тридцать тысячъ серебромъ вмѣсто того чтобы облупить, какъ липку, другого—это вовсе не могло входить въ ихъ расчеты, и они, конечно, сами

не затѣмъ пріѣхали въ Москву и не съ тѣмъ няньчились столько времени со степнячкомъ.

— Каковъ гусь?—спросилъ, наконецъ, одинъ.

Другой подумалъ, постоялъ и вдругъ, какъ будто вспомнивъ что-нибудь, сталъ собирать съ полу гнутыя карты и разсматривать ихъ у свѣчки, и вдругъ закричалъ внѣ себя: «Ахъ, онъ мошенникъ, подлецъ! Смотри, крапленыя!» Оба товарища бросились къ свѣчѣ и несомнѣнно убѣдились въ очевидной истинѣ.

— Но какъ? какимъ образомъ? какъ это могло случиться? Вѣдь, карты наши! Мы, братецъ, просто олухи, скоты: наши карты унесъ онъ съ собою въ карманѣ вмѣстѣ съ нашими деньгами, а намъ подсунулъ свои ...

Вся шайка была въ отчаянномъ озлобленіи на бѣднаго степнячка, котораго полагали поддѣть навѣрняка, тогда какъ онъ ихъ поддѣлъ самымъ грубымъ и наглымъ образомъ. Всѣ трое дышали местью и, въ полной увѣренности, что у этого пріятеля долженъ быть порядочный запасецъ такихъ счасливыхъ картъ, пошли тотчасъ же и донесли на него, требуя немедленно у него обыска.

Степнякъ благополучно пришелъ въ свой нумеръ и легъ спать. Онъ почивалъ часа три сладкимъ сномъ и въ самыхъ пріятныхъ грезахъ, какъ стукъ у дверей его пробудилъ. Онъ вскочилъ, сталъ доспрашиваться, кто тамъ, наконецъ, зажегъ огня и впустилъ незваннаго гостя. У дорожнаго человѣка мебели немного; и въ шкатулкѣ карельской березы, подлѣ денегъ и банковыхъ билетовъ, найдено нѣсколько колодъ картъ, подрѣзанныхъ и снова запечатанныхъ или заклеенныхъ, а также знакомые опытному глазу снаряды для пріученія картъ къ постоянному послушанію.

Дѣло было ясно, и отъ такой улики некуда дѣваться; но степнячокъ нашъ нескоро робѣлъ и никогда не терялся; оглянувшись еще разъ, онъ увидѣлъ, что

тутъ не было соблюдено всѣхъ должныхъ формальностей, вѣроятно, ради спѣха и по ночному времени,— находчикъ былъ одинъ въ этой комнатѣ, и съ нимъ только служители, оставшіеся въ передней, а въ прочемъ ни свидѣтелей, ни понятыхъ.

— Что жь,—сказалъ онъ спокойно, повертѣвъ въ рукахъ банковый билетъ въ двѣ тысячи серебромъ, полученный за нѣсколько часовъ отъ опекуновъ своихъ:—что жь, разумѣется, что я попался; но какъ вы думаете вотъ объ этомъ?

Бѣднякъ соблазнился видно, замялся и съ отвѣтомъ своимъ остался въ долгу. Степнякъ сунулъ ему билетъ въ руку, бросилъ карты въ печь и разумѣется, послѣ сжегъ ихъ, а затѣмъ выпроводилъ со всею вѣжливостію ночного гостя.

Только-что шаги въ переходѣ заглохли, какъ степнячекъ нашъ сидѣлъ уже за письменнымъ столомъ и писалъ два объявленія, одно въ полицію, другое въ банкъ, оба одного содержанія: «Ночью сдѣланъ у меня, по неизвѣстному мнѣ поводу, обыскъ—ничего подозрительнаго не найдено, но украденъ банковый билетъ, на имя неизвѣстнаго, отъ такого-то года и числа, за такимъ-то нумеромъ. Прилагаю также свидѣтельство, выданное мнѣ прежнимъ владѣльцемъ этого билета, въ томъ, что я принялъ его въ уплату денежнаго долга, по сдѣланной мною тому лицу ссудѣ».

Вы видите, что степнячокъ нашъ былъ довольно предусмотрителенъ: безъ подобныхъ расписокъ онъ не принималъ банковыхъ билетовъ, и въ настоящемъ случаѣ правило это оказалось полезнымъ. При такихъ очевидныхъ доказательствахъ, конечно все право было на сторонѣ степняка. Билетъ, конечно, нигдѣ не нашелся, но, по истеченіи законнаго срока, хозяинъ получилъ деньги. Въ ярмарочную онъ болѣе не пускался, по крайней мѣрѣ, съ этими опекунами, а собралъ что

Богъ ему далъ и уѣхалъ. Вы спросите: куда? да туда же, откуда пріѣхалъ. Всякій человѣкъ привязанъ къ родинѣ своей; а родину его мы видѣли въ началѣ этого разсказа, потому что степнячокъ этотъ былъ, разумѣется, никто иной, какъ знакомый намъ Куреневъ....

БОЧКА ВИНА

Въ шестнадцати такъ называемыхъ привилегированныхъ губерніяхъ, южныхъ и западныхъ, полная свобода куренія и продажи хлѣбнаго вина ограничена была откупами въ однихъ только городахъ. Въ чертѣ города ведро вина стоило нѣсколько цѣлковыхъ, а за чертой—рубль или полтора мѣди. Отъ этого вышелъ обычай охотниковъ до дешеваго вина собираться по праздникамъ,—а иногда и по буднямъ—цѣлыми ватагами и отправляться на *вольную*, за городскую черту, гдѣ услужливый еврей шинковалъ въ корчмѣ и подносилъ всякому посѣтителю, за добрые гроши, стаканъ дешеваго и забористаго вина, наливки, пива и даже меду. Съ отчаянья, что вино такъ вздорожало въ городѣ, иной уносилъ въ кабакъ все, что заработывалъ, и пропивалъ съ себя послѣднее; болѣе разсудительные копили заработки до субботы или воскресенья, уходили на просторъ и приносили съ собою съ *вольной* корчемное вино, въ такомъ видѣ, что ни одинъ досмотрщикъ не могъ къ нимъ привязаться, несмотря на очевидныя доказательства, что посуда въ животѣ и даже въ головѣ веселой братіи налита была корчемнымъ виномъ черезъ край....

Откупщики не столько злились на пьющихъ, съ которыхъ взять было нечего, какъ на продающихъ вино: на нихъ-то обращена была вся сила мести; всѣ средства употреблялись, чтобы уличать и ловить ихъ въ корчемствѣ, за которое они иногда сильно приплачивались и страдали: для этого, напримѣръ, подкупали цѣлую толпу мужиковъ, давъ имъ цѣлковый для пропою, съ тѣмъ, чтобы они вышли на вольную, купили тамъ ведро или два вина, расположились по своему обычаю, въ кружкѣ подъ навѣсомъ корчмы или въ чистомъ полѣ, а, между тѣмъ, какъ поются веселыя и заунывныя пѣсни о прежнемъ казачествѣ и чарка обходитъ кружокъ, взятая съ собою бутылка, тайкомъ подвѣшенная въ широкихъ шароварахъ одного изъ посѣтителей, осторожно наливается виномъ. Если продѣлка эта удастся и зоркій корчмарь не поймаетъ подкупленныхъ мошенниковъ, то ему будетъ худо: на городской заставѣ бутылка съ виномъ найдется, и шинкарь, которому дозволена одна только распивочная продажа, обвиняется въ отпускѣ корчемнаго вина на сторону, да еще и въ городъ.... за это придется ему поплатиться чуть-ли не годовою выручкой.

Но вотъ былъ счастливецъ—истинно благополучный человѣкъ, взысканный не по заслугамъ слѣпою, но въ этомъ случаѣ милостивою судьбою. Хома Чернякъ, приписавшійся въ мѣщане, получилъ въ наслѣдство отъ отца, добраго и работящаго хозяина, нѣсколько десятинъ земли, на самой городской грани; изба его со всѣми ухожими стояла еще на городской землѣ, въ чертѣ города, гдѣ вино стоило четыре или пять цѣлковыхъ ведро; а клуня выходила уже за черту, гдѣ вино было нипочемъ и гдѣ откупщикамъ не было никакой власти! Увѣряли, что разсчетливый, но хлѣбосольный Хома Чернякъ нарочно и только ради вина выстроилъ клуню эту, гдѣ могъ свободно ширевать по

праздникамъ съ добрыми людьми, гдѣ праздновалась свадьба каждой изъ дочерей его, по крайней мѣрѣ, недѣлю,—гдѣ выпивались цѣлыя бочки вина, въ уваженіе того только, что тутъ нѣтъ воли откупщику и пирующимъ полное раздолье. Какъ бы то ни было, но я могу васъ увѣрить, что Хома Черняк въ этомъ отношеніи сдѣлался предметомъ зависти всѣхъ городскихъ обывателей, которые говаривали, когда только о немъ заходила рѣчь: «что ему дѣлается—онъ живетъ себѣ паномъ, тотъ же помѣщикъ: дошелъ изъ хаты до клуни своей—да и пей, сколько душѣ угодно, никто не смѣетъ слова сказать; досмотрщикъ, пожалуй, тутъ же стоитъ, да только и возьметъ развѣ, что изъ чести поднесутъ стаканчикъ....» И надобно сказать правду, во-первыхъ, что Хома Черняк всегда въ радости своей, съ особеннымъ удовольствіемъ подносилъ досмотрщику этотъ стаканъ,—и, во-вторыхъ, что онъ никогда не позволялъ себѣ переносить въ черту города, то есть изъ клуни въ хату, ни одной капли вина, не переливъ ее сперва, какъ самъ онъ выражался, въ живую требушинку. Ни одинъ человѣкъ не проѣзжалъ по дорогѣ, пролегавшей мимо хутора Хомы Черняка, не посмотрѣвъ на клуню его, обнесенную вишнякомъ и яблонями, и не сказавъ или не подумавъ со вздохомъ: «вотъ человѣку Богъ далъ счастье....» А если кто проѣзжалъ съ товарищемъ, то уже, конечно, во всю дорогу, до самаго города, у нихъ ни о чемъ болѣе не было рѣчи, какъ о завѣтной клунѣ Хомы Черняка, о справлявшихся тамъ пирахъ и свадьбахъ и о томъ, что въ клунѣ есть, со стороны вольной черты уѣзда, калиточка, такъ что туда можно среди бѣлаго дня не только принести вина, никого не опасаясь, но даже вкатить его, пожалуй, цѣлую бочку.

Не всѣмъ, однакожь, и не всегда сходило съ рукъ

такъ ловко сосѣдство вольной продажи: многіе за это приплачивались дорого, отдавали послѣдняго вола или корову: стоило только подкупить какого-нибудь сговорчиваго бродягу, перескочить ночью черезъ плетень сада или огорода, расположеннаго внутри городской черты или на границѣ съ вольною губерніею, въ откупной, и спрятать тамъ подъ условленнымъ кустомъ штофъ или бутылку вина.... Остальное вы дополните сами: на утро являются досмотрщики, объѣздчики, всявъ съ собою свидѣтелей, понятыхъ и мѣстную полицію—и у бѣднаго хозяина, который проспалъ ночь спокойно, ничего не чая, отыскиваютъ въ огородѣ корчемное вино.... Это называется *подкинуть*; но какими средствами бѣднякъ докажетъ, что вино подкинуто, что онъ не виноватъ ни въ чемъ, когда поличное налицо, отыскано подъ кустомъ въ его саду или даже зарытое въ землѣ, и когда штофъ обошелъ кругомъ и всякій отвѣдалъ изъ него и, пожавъ плечами, долженъ былъ сознаться, что это вино?

Впослѣдствіи, чтобы поднять цѣну на вино въ уѣздахъ, внѣ городской черты, и, стало быть, уменьшить этимъ пьянство, установлена была, какъ это, я думаю, всякому извѣстно, такъ называемая *нормальная* цѣна вина, то есть установлено было, чтобы не продавать вина въ распивку и разливку дешевле, напримѣръ, полутора рублей серебромъ, тогда какъ оно продавалось по тридцати копѣекъ; при оптовой же продажѣ, бочками, такого ограниченія не положено, потому что это стѣснило бы самую поставку вина помѣщиками откупщикамъ... Но благонамѣренное установленіе это, какъ можно было предвидѣть, встрѣтило на дѣлѣ нѣкоторыя затрудненія, потому что очень мудрено заставить меня продавать товаръ свой не ниже установленной цѣны, если я захочу сбыть его по цѣнѣ выгодной, какъ для меня, такъ и для покуп-

щика, хотя бы она и была ниже нормальной; а если бы кто вздумалъ добросовѣстно держаться послѣдней, то, конечно, могъ бы выпить вино свое самъ, а покупщика на полтора рубля за ведро не нашелъ бы тамъ, гдѣ можно купить то же вино по тридцати копѣекъ.

Крестьянинъ, привыкшій платить по мѣдному шагу или грошу за стаканъ вина, приходитъ въ корчму, гдѣ сидитъ осторожный, напуганный строгостями и вороватый жидъ.

— Почемъ у васъ водка?

— Извѣстно,—отвѣчаетъ этотъ:—сами вы знаете, на что спрашиваете—по шесть шаговъ.

— Какъ по шесть? по одному, больше не дамъ, зарокусь и пить не стану—пойду въ другую корчму: тамъ по шагу!

— А ну, —говоритъ жидъ, успокоивая его: —постой, постой: сколько у тебя есть денегъ? сколько хочешь пропить?

— Два шага и за два хочу выпить два стакана!

— Ну, стало быть, у тебя недостаетъ еще десяти—изволь, я не такой человѣкъ, я тебѣ вѣрю, для добрыхъ людей я и самъ добрый человѣкъ—на, вотъ тебѣ десять шаговъ, клади сюда свои два, ну, вотъ и будетъ двѣнадцать, чтобъ кто-нибудь недобрый не сказалъ, будто я продаю вино дешевле—вотъ и пей, съ Богомъ, а десять шаговъ за тобой, отдашь на томъ свѣтѣ...

Шутка эта нравится всѣмъ, и у кого только, изъ бывшихъ тутъ мужиковъ, нашелся грошъ, тотъ кладетъ его на стойку, жидъ добавляетъ по таксѣ еще своихъ пять, говоритъ, что вѣритъ въ долгъ деньги, потому что вино въ долгъ отпускать не велѣно, и наливаетъ полный стаканъ, приговаривая: «будь здоровъ на многія лѣта!»

Крестьянинъ, по тамошнему казакъ, играетъ свадьбу—отдаетъ замужъ дочь. Какъ-же не отпраздновать такой случай, котораго и самъ онъ и все село ожидали двадцать лѣтъ, и можно ли казаку отправить свадьбу, сдавъ молча жениху съ рукъ на руки дочь свою, не созвавъ къ гости все село, не залучивъ скомороховъ, цымбаловъ со скрипицей, не поплясавъ, не попотчивавъ гостей,—словомъ, не отпраздновавъ свадьбы? Вѣстимое дѣло, что нельзя,—и Власъ Чертопхаенко, затѣявъ такое праздничное дѣло, которое и на природномъ языкѣ его называется запросто *веселье*мъ, готовился повеселить и себя, и другихъ, какъ слѣдуетъ доброму и православному христіанину.

Власъ Чертопхаенко, именовавшій себя подъ веселый часъ просто казакомъ, а въ степенное время войсковымъ обывателемъ, былъ чебовѣкъ *заможненькій*, то есть съ состояніемъ. Это было извѣстно подъ рукой всякому, по какому-то темному чутью или преданію; но самъ онъ никогда и никому объ этомъ не говорилъ, ни даже подъ хмѣльную руку, а потому и прослылъ хитрымъ и скупымъ. Онъ жилъ очень скромно, только-что не нуждаясь въ необходимомъ, никакой роскоши не терпѣлъ и животовъ не выказывалъ. Кой-какія торговыя связи и денежныя дѣла завязалъ онъ не по сосѣдству гдѣ-нибудь, не съ близкими людьми, а ѣздилъ за этимъ повременамъ куда-то на сторону, а наличныя деньги, по всей вѣроятности, зарывалъ гдѣ-нибудь въ *глекъ* въ землю. Но, при такомъ чрезвычайномъ случаѣ, какова свадьба дочери, въ обычаѣ Власа было поразвернуться—дескать, знай нашихъ, и всѣ заговорили напередъ о славномъ праздникѣ, когда услышали, что Власъ просваталъ дочь.

Чертопхаенко былъ, кромѣ того, человѣкъ немного упрямый, какъ свойственно самостоятельному черниговцу. Галя давно уже поженихалась было съ моло-

дымъ казакомъ Остапомъ, по прозванію Лихочуенко; но Остапъ, какъ бѣдный человѣкъ, былъ Власу не по плечу, а потому онъ, покосясь разъ-другой на Галю съ Остапомъ, когда они, встрѣтясь или сошедшись невзначай, передавали другъ другу, повидимому, много важныхъ вѣстей и извѣстій, разогналъ ихъ, наконецъ, безъ всякихъ обиняковъ, прикрикнувъ на снявшаго съ головы своей шапку Остапа и объявивъ ему на всю улицу, чтобы онъ тутъ не *залицался*, а шелъ бы съ Богомъ своимъ путемъ. «Возьми ты дочь свою, — сказалъ онъ женѣ, войдя въ избу, не сказавъ самъ Галѣ ни слова—возьми дочь свою да посади ты ее за работу: хоть бы выткала еще коверъ, что-ли. Не слѣдъ ей теперь подъ заборами шататься: не хороша слава будетъ; а Остапу велю я обходить хату нашу: есть и другая улица на селѣ».

Тѣмъ, на первый случай, дѣло кончилось. Мать пожурила дочь. Галя молчала, отворотясь и повѣсивъ голову, а Остапъ Лихочуенко, крѣпко *зажурившись*, сталъ поглядывать на Галю жалостнѣе прежняго, да и то только издали. Онъ былъ человѣкъ робкій и противъ воли старика Чертопхаенка идти не смѣлъ.

Между тѣмъ, пришла осень, пришелъ и Покровъ, которому молятся изподтишка дѣвушки, говоря: «батюшка Покровъ, покрой и меня молоду...»—и старосты пошли ходить по селу.

— Жинко! — сказалъ Власъ, когда они остались одни въ избѣ, а Галя вышла за дѣломъ:—прибери хату сегодня: можетъ быть, добрые люди будутъ.

Мать поняла слова эти и спросила въ смятеніи:

— Отъ кого?

— Отъ добрыхъ же людей, — отвѣчалъ Власъ: — не бойсь, старуха, я худого не затѣю: отъ Миклаша.

Стали прибирать хату, а Власъ принесъ вина и поставилъ на полицу, и Галя стала что-то оглады-

ваться: и она, по соображенію времени и обстоятельствъ, стала догадываться, къ чему это все идетъ. Но она молчала и молча помогала матери, а повременамъ украдкой роняла слезу «Не плачь, Галя,—сказала ей мать, замѣтивъ это,—побереги слезы: вотъ какъ придетъ время, что будетъ годиться плакать, тогда поплачешь». Въ отвѣтъ на это Галя залилась слезами и вышла въ сѣни.

Пришли двое старостъ, то есть сватовъ, говорили обычныя и пригодныя рѣчи о бѣлой горностайкѣ, о порошѣ, о томъ, какъ они слѣдили и выслѣдили ее и какъ слѣдъ пошелъ въ этотъ дворъ и проч. Власъ помучилъ ихъ, долго увѣряя, что, видно, они ошиблись, не туда зашли, а потомъ, что надо подумать и посовѣтоваться, но наконецъ поднесъ по стакану, сказавъ: «а приведите своего охотника, такъ мы на него посмотримъ».

Вскорѣ все пошло своимъ порядкомъ. На слезы Гали никто не смотрѣлъ — самое приличіе требовало плача ея, а что она плакала отъ души, это знали немногіе,—и Миклашенко, т. е. сынъ Миклаша, былъ заявленный женихъ Гали. Чертопхаенко готовился отпировать веселье, и тутъ-то встрѣтилось важное обстоятельство, до котораго относится вступленіе наше о нормальныхъ цѣнахъ на вино.

«Ведра четыре, а, чего добраго, и пять надо взять,—подумалъ Власъ,—да что же я буду за дурень, чтобы мнѣ платить по полтора цѣлковыхъ: это будетъ семь рублей пятьдесятъ копѣекъ; а, вѣдь, коли я возьму бочку сороковую, то заплачу всего только одиннадцать карбованцевъ! Ну, сбыточное-ли это дѣло, чтобы я заплатилъ семь карбованцевъ съ полкарбованцемъ за пять ведеръ, когда я за одиннадцать карбованцевъ могу взять сорокъ ведеръ! Что жъ, возьму бочку,—право, возьму; деньги даромъ не брошу; первое дѣло,

что выпьемъ мы уже не пять ведеръ, а десять—такъ хоть будутъ помнить свадьбу у Власа Чертопхаенка; а другое—то, что тридцать ведеръ останется задаромъ: добрые люди разберутъ, небойсь, еще спасибо скажутъ; чѣмъ платить имъ по полтора карбованца за ведро, я отдамъ по четвертачку. Тридцать четвертаковъ—семь карбованцевъ съ половиной, а мой расходъ, за десять ведеръ, и весь то будетъ три съ полтиной!»

Сказано—сдѣлано. Правда, что обстоятельства были слишкомъ соблазнительны: выпить десять ведеръ вмѣсто пяти, а заплатить за десять вдвое дешевле, чѣмъ, за пять! Власъ не разсудилъ, сколько бѣды могло изъ этого выйти; еслибъ его поймали въ корчемной продажѣ этого вина, то его бы засадили, засудили—какъ, со многими тамъ случалось — и бѣдный Чертопхаенко пропадъ бы и разорился навсегда. Но онъ видѣлъ только одно: соблазнительный барышъ, тогда какъ платить по полтора рубля за ведро, послѣ привычки покупать его по тридцати копѣекъ, казалось ему неслыханнымъ дѣломъ. Итакъ, онъ купилъ у пана бочку вина, привезъ ее домой и вкатилъ осторожно въ камору, что по-русски — надворная клѣть. «Вотъ, будетъ веселье у меня, такъ будетъ: ужь не скажутъ, что поскупился Власъ на дочернину свадьбу...»

Между тѣмъ, вся молодежь села, зная отношенія Гали и Остапа, стала жалѣть о нихъ отъ души, тѣмъ болѣе, что ихъ обоихъ всѣ любили, чего нельзя было сказать о женихѣ Гали, Миклашенкѣ. Толковали, тужили и порѣшили хоть подразнить старика Власа и Миклашенка разными шутками, а также пѣть на свадьбѣ самыя жалобныя пѣсни, оплакать Галю не шутя, а когда придетъ пора величать отца ея и въ особенности жениха, то прибирать имъ на смѣхъ такія величанья, отъ которыхъ имъ не поздоровилось бы. Эту *месть* придумали, разумѣется, дѣвки; но надо же было

выдумать что-нибудь и парнямъ, чтобы не отстать отъ первыхъ. Надобно сказать, что осенняя пора, когда уже убранъ хлѣбъ, отпразновали обжинки, ночи темны, а погода еще довольно хороша въ Малороссіи и парнямъ пѣтъ особенно нужной работы, что осенняя пора эта бываетъ всегда праздничнымъ временемъ для холостежи, особенно для ребятъ, и что они въ это время ходятъ поздно вечеромъ, и даже ночью, толпами по селу и строятъ разныя проказы. Итакъ, шутка, которую они согласились сыграть надъ Власомъ Чертопхаенкомъ, въ отместку за бѣднаго Остапа Лихочуенка, приходилась кстати и по этому обычаю.

До десятка ловкихъ и отчаянныхъ ребятъ собрались ночью, послѣ крика, шума и пѣсенъ на улицахъ, въ небольшой проулокъ, отдѣлявшій дворъ Власа отъ сосѣдняго. На проулокъ этотъ выходила плетневая и обмазанная глиной стѣна Власовой каморы, гдѣ стояла роковая бочка съ виномъ, приготовленная къ веселью. Въ нѣсколько минутъ ребята подкопали камору, просверлили бочку буравомъ и принялись цѣдить вино; они приготовили множество разной посуды: кадочекъ, боченковъ, горшковъ, макитръ и глечиковъ, что могли достать, выцѣживали украдкой вино и тотчасъ же относили его по задворью на Власово гумно, гдѣ скрыли всю посуду эту въ большой ометъ соломы. Выцѣдивъ все вино и напившись сами вволю, ребята зарыли и засыпали опять подкопъ, притрусивъ его сверху навозомъ и соломой, такъ что когда еще на зарѣ дождикъ все это смочилъ, то снаружи вовсе не было замѣтно сдѣланнаго подкопа. Ребята разошлись по домамъ въ большомъ удовольствіи, давъ клятву молчать и не выдавать другъ друга.

На другой день, который былъ уже канунъ дѣвичника, субботы, Чертопхаенко пошелъ въ камору, чтобы достать штофъ вина для должностныхъ и дру-

гаго рода посѣтителей, которые должны были уже въ этотъ день навѣдаться, то—чтобы кой въ чемъ условиться и уговориться, то, просто, для поздравленій и пожеланій. Подойдя къ бочкѣ, Власъ ударилъ по ней самодовольно кулакомъ, готовясь услышать этотъ глухой и плотный гулъ, который издаетъ въ подобномъ случаѣ полная бочка. Но гулъ раздался звонко и протяжно, съ какимъ-то колокольнымъ отголоскомъ. Власъ выпрямился вдругъ, подперъ руками въ бока и стоялъ такимъ образомъ, не зная, что подумать, полагая, что онъ, безъ сомнѣнія, ошибся, ослышался; но долго не смѣлъ повторить свой опытъ. Наконецъ, онъ ловко ударилъ въ бочку носкомъ сапога—и тутъ уже не осталось для него никакого сомнѣнія въ постигшемъ его несчастіи. Всплеснувъ руками, онъ бросился на бочку, встряхнулъ ее взадъ и впередъ и еще разъ убѣдился окончательно, что она была пуста. Тогда только Власъ постигъ всю великость своего бѣдствія и уже открылъ было широкій ротъ свой, съ сѣдыми, нависшими усами, чтобы прочитать: «*пробы ратуйте!*» но опомнился, задушилъ вырвавшійся неясный стонъ, еще разъ покачнулъ бочку, заглянулъ въ нее, потянулъ съ упоеніемъ въ себя запахъ сивухи, которымъ его ошибло, отошелъ опять, постоялъ, покачалъ головою, ударилъ себя руками по бедрамъ, плюнулъ и пошелъ молча въ избу. Не говоря и тамъ ни слова, онъ легъ, закинувъ руки подъ затылокъ.

— Что жь лежишь, Власъ? — сказала озабоченная домашними приготовленіями хозяйка:—что ты такимъ пластомъ растянулся?

— *Несдужаю*,—отвѣчалъ онъ сухо:—не могу, голова болитъ.

— *Ой, лихо мени*,—сказала Парасковья, жена его:—вотъ еще какъ ты разнеможешься теперь, тогда что станемъ дѣлать? какъ же мы будемъ свадьбу играть?

— Свадьбы не будетъ,—отвѣчалъ также сухо Власъ, не пошевеливъ при этомъ ничего, кромѣ языка.

И мать и дочь даже не смогли ахнуть отъ изумленія, а оставались открывъ и ротъ и глаза.

— Что ты, Власъ,—спросила наконецъ Парасковья заботливо, съ очевиднымъ крайнимъ изумленіемъ:—что ты, Власъ, неужто напился уже съ утра и въ такой день?

— *Брешешь*,—отвѣчалъ Власъ:—и пить-то нечего, еслибъ и захотѣлъ

— Такъ на что же ты говоришь такую *несвятщину?*

— Я говорю тебѣ правду, а ты слушай да понимай: свадьбы не будетъ.

Парасковья и руки опустила. Она не знала, что и отвѣчать; а Галя бросилась цѣловать отцу руки, заплакавъ навзрыдъ. Онъ же не трогался съ мѣста и молчалъ, не считая нужнымъ пускаться въ какія-либо объясненія. Наконецъ, Парасковья опомнилась, стала спрашивать Власа, не съ ума ли онъ сошелъ, подошла даже къ нему и требовала, чтобы онъ дохнулъ, подозрѣвая, не угостилъ ли Власъ самъ себя спозаранку, хотя по рѣчи и говору его этого и не было замѣтно; но Власъ оттолкнулъ ее, вскочилъ и сказалъ: «какого тутъ чорта станешь пить и какого бѣса свадьба—нѣтъ вина ни капли, поди въ камору, погляди; нѣтъ свадьбы, и тебѣ говорю, да и все. Посылай, кого хочешь, за старостами (сватами), либо сама иди къ нимъ да скажи имъ, что я ихъ—бо-дай имъ добра не видать—не пущу на дворъ; пусть они сами цѣлуются съ женихомъ своимъ: не видалъ я его, да! Бочку цѣлую купилъ — гдѣ она? нѣтъ ея! Я запру ворота и запру хату — вотъ что—и ногой не пущу.»

Баба попыталась успокоить разгнѣваннаго хозяина, но еще пуще его разсердила. Она пошла къ сосѣдямъ

совѣтываться. Явились и сваты; но дверь была заперта для нихъ, и Власъ переговаривался съ ними въ открытое окно, не вставая съ мѣста, гдѣ сидѣлъ или лежалъ, посылая ихъ, впрочемъ, къ чорту. Такимъ образомъ, прошли и суббота и воскресенье; и о свадьбѣ рѣчи не было. Родители жениха, считая себя обиженными, разбранились съ Власомъ, и дѣло разошлось.

Между тѣмъ, ребята, которые сыграли шутку эту, разсказали обо всемъ Остапу Лихочуенку, хвалясь удальствомъ своимъ, отъ котораго, впрочемъ, и не ожидали такого кореннаго успѣха, а думали только временно досадить Чертопхаенку и поставить его въ затрудненіе. Остапъ, будучи крѣпко не въ духѣ, не сталъ было и слушать ихъ, по крайней мѣрѣ, молчалъ и нисколько не радовался тому, что ихъ тѣшило; но когда онъ, едва довѣряя ушамъ и глазамъ своимъ, убѣдился, что черезъ эту *коность* свадьба не состоялась, что затѣмъ Власъ разбранился гласно съ женихомъ и даже его родными, то Лихочуенко невольно улыбнулся. Власъ кричалъ и жаловался начальству, требуя, чтобы отыскали воровъ, и не подозрѣвая, что вино стоитъ у него же на гумнѣ; шалуны, покуда еще не обнаруженные, но сильно подозрѣваемые, начинали побаиваться, не зная, какъ бы теперь путемъ кончить шутку свою и развязаться съ нею; а Власъ кричалъ, что онъ не успокоится, покуда не отыщется вино.

Подумавъ немного, Остапъ пошелъ въ поле, будто за своимъ дѣломъ, подстеречь напередъ Власа, который отправился туда же. Подойдя и пожелавъ Бога на помочь и снявъ при этомъ случаѣ шапку, Остапъ такъ былъ занятъ своимъ дѣломъ, что и не обратилъ вниманія на суровую встрѣчу со стороны разобиженнаго Власа, а почесавшись продолжительно съ разныхъ концовъ, сказалъ:

— А что, дядюшка Власъ Терентьичъ, кабы вы были ко мнѣ, бѣдному парню, милостивы, можетъ статься, я бы вамъ и пригодился, я бы постарался отслужить вамъ службу... Чертопхаенко пожалъ плечами, но молчалъ. Остапъ сталъ посмѣлѣе и продолжалъ: — я бы вамъ, можетъ статься, постарался бы отыскать вино ваше...

Власъ остановился, глаза его загорѣлись, онъ уставилъ ихъ на Остапа и сказалъ:

— Такъ это ты, подлая душа, пустился на такое дѣло?

— Не я, дядюшка, — продолжалъ тотъ: — ей-богу, не я; не обижайте меня, Власъ Терентьичъ, моего пальца тутъ не было, а мнѣ бы хотѣлось услужить вамъ, черезъ другихъ людей постараться, только не я,—я и знать не знаю..:

Власъ понялъ, около чего дѣло вертится, то есть что Остапу извѣстно все и что онъ готовъ обнаружить виновныхъ, или настращавъ ихъ, заставить возвратить покражу.

— Остапъ!—началъ старикъ, почти со слезами на глазахъ:—я такъ всегда и считалъ тебя парнемъ смирнымъ, хорошимъ; не дай же ты сорванцамъ поглумиться надъ моей сѣдой головой, смотри, вѣдь я сталъ посмѣшищемъ всего села: выручи меня, и я тебя не забуду!

Остапъ, который все еще стоялъ передъ Власомъ въ почтительномъ положеніи, съ шапкою въ рукахъ, поклонился ему низенько и не обинуясь сказалъ: «Дядюшка, да отдайте же за меня Галю...»

Теперь очередь чесаться дошла до Чертопхаенко. Не слушая дальнѣйшихъ, отрывочныхъ убѣжденій Лихочуенка, онъ перебиралъ въ душѣ своей, что Миклашъ ему теперь не зять; а странное, противное всякому обычаю разстройство свадьбы положило на

него самого и на дочь нехорошую огласку. Онъ вспомнилъ также, какъ Галя обрадовалась, когда услышала, что свадьбы не бывать, и какъ она съ той поры повеселѣла и весь день ходитъ по хозяйству съ пѣснями; припомнилъ онъ также, съ какимъ ожесточеніемъ отецъ жениха и даже мать и тетка ея бранились съ нимъ, со Власомъ то есть, какъ они проклинали его на всю улицу, не жалѣя горла; а къ тому пришло ему невольно въ голову, что съ такими родными впослѣдствіи мудрено будетъ уживаться: они будутъ вмѣшиваться во все, требовать несообразнаго, попрекать достаткомъ своимъ; а отношенія къ Остапу были бы совсѣмъ иныя: и самъ онъ, и всѣ родные его, какъ люди незажиточные, не стали бы зазнаваться, а, безъ сомнѣнія, были бы всегда въ полной зависимости и повиновенія у Власа... Наконецъ, представилась ему и мысль, что вино будетъ возвращено, убытокъ вознаградится, и смѣхамъ этимъ, которые крѣпко досаждали старику, будетъ конецъ...

— А сполна ли ты воротишь вино?—спросилъ онъ вдругъ, не подумавъ о неумѣстности этого вопроса, какъ отвѣта на сватовство Остапа, и получивъ клятвенное обѣщаніе удивленнаго жениха возвратить все до капли, а также, вслѣдъ затѣмъ, обѣщаніе его не выходить изъ повиновенія отцовскаго, жить до времени нераздѣльно и во всемъ его слушаться, Власъ сказалъ: «Ну, съ Богомъ, присылай старостъ.»

Лихочуенко поклонился ему въ ноги и пустился бѣгомъ на село. Ребята были рады-радешеньки, что пришлось имъ такъ дешево отдѣлаться за шалость свою, и въ тотъ же вечеръ вино было тайкомъ все перенесено на дворъ Власа, вылито въ бочку и пополнено складчиной, потому что около ведра было выпито и пролито во время самой проказы.

Съ трудомъ только Остапъ нашелъ себѣ пару ста-

ростъ, для приличнаго сватовства, потому что никто не вѣрилъ нечаянному счастью его и не хотѣлъ идти къ Чортопхаенку за *гарбузомъ* Но все кончилось благополучно, на удивленіе цѣлаго села, и Галя вышла за Остапа. Потчуя гостей на свадьбѣ, Чортопхаенко безпрестанно повторялъ: «Пейте, люди добрые, спасибо вамъ, не жалѣйте этого добра, изводите все до тла, чтобы ему и слѣду не было и помину не стало, лихо ему, чтобъ въ другой разъ изъ за него не ссориться!»

ПОДЗЕМНОЕ СЕЛО

— Подумаешь, Владиміръ-городокъ—Москвы уголокъ; и далече ли? Рукой подать: всего то два-девяноста; и на большой дорогѣ, и мѣсто торговое. А что то Божьяго благословенія нѣтъ: никто во Владимірѣ не разживался, истиннику не хватаетъ; купцы перебиваются кой-какъ и живутъ, словно только въ гости пріѣхали; и городъ бѣденъ, нѣтъ тамъ никому, что называется, ни наживы, ни покою, ни дна, ни покрышки.

— На все, братецъ ты мой, есть причина, — сказалъ другой собесѣдникъ:—давнымъ-давно, еще, знать, при великихъ князьяхъ, владимірцы согрѣшили передъ Богомъ, посамовольничали, не приняли архипастыря, хотѣли своего, что ли, поставить... хоть и давно было, а вотъ даромъ не прошло: и понынѣ зовутъ ихъ святогонами, и никакое дѣло у нихъ не спорится. Отцы терпкое поѣли, а внукамъ оскомина пала...

— Нѣтъ, сударь ты мой, — началъ третій: — вотъ Васильсурскъ городокъ, такъ ужь на томъ, видимо, лежитъ гнѣвъ Божій. Городъ на двухъ судоходныхъ, рыбныхъ рѣкахъ, мѣсто бойкое, самое торговое, рыболовство хорошее—кто сурской стерляди не знаетъ? Она и въ Питерѣ и въ Москвѣ въ одной цѣнѣ со

шекснинскою; и сбыть на этомъ мѣстѣ всякому товару; вниз и вверхъ по Сурѣ мѣста хлѣбородныя, земли обильныя, хлѣбная торговля и обороты по ней большіе; проѣздъ на всѣ четыре стороны, разгонъ такой, что, казалось бы, одними постоялыми дворами надо городу разбогатѣть. А нѣтъ тебѣ вотъ ничѣмъ-ничего; бѣдность такая, что развѣ только съ голью потягается, городъ обнищалъ, народъ измошенничался—голышъ на плутѣ, плутъ на голышѣ, да плутомъ и погоняетъ... А отчего? Нѣтъ Божьяго благословенья. Когда въ старинные годы, васильсурцы стали вдругъ наживаться, какъ повалила имъ деньга со всѣхъ сторонъ, такъ они забыли Бога, забыли и добрыхъ людей. Три церкви у нихъ развалились, а имъ не до того было, чтобы, себя сберегая, позаботиться о Божьемъ домѣ; всѣ три церкви до того развалились, что службу остановили. Вотъ и согрубили васильцы передъ Господомъ и каются теперь. Что ни дѣется на свѣтѣ, все по грѣхамъ нашимъ. За беззаконіе и встарь погибали, нынѣ погибаютъ, да, вишь ты, не вѣримъ. Господь долго терпитъ, да больно бьетъ. Вотъ послушайте бывальщинку:

«Въ Олонецкой губерніи, въ глухомъ бору, среди такого болота, что лѣтомъ, почитай, ѣзды туда не было, стояли рядомъ двѣ деревеньки; одна-таки коренная была, а другая выселокъ изъ нея, какъ стало тѣсно. Поляна выдалась чистая, сухая, травная, водопускъ гребнемъ шелъ поперекъ, по срединѣ, и только тутъ по немъ и были каменья; а то все хорошая земля, хоть и не такъ много ея было; да тамъ, братъ, и клокъ доброй земли въ диковину. Одна деревня, на изволокѣ, по одну сторону водопуска, другая — по другую; изъ одной, черезъ гребень, только виденъ крестъ деревянной церковки, которая стояла по ту сторону ската. То коренное село было, а это выселокъ. Вотъ какъ разселились мужички мои на этомъ привольѣ, да какъ

принялись бабы рожать дѣтей — оно и опять тѣсно стало, и земли маловато, пришлось искать промысла. Питеръ подъ бокомъ, заработки есть; стали ребята туда ходить, и сталось такъ, что изъ этихъ деревень пошли все столяры да конфетчики. Такъ и завелось: старики да бабы пашутъ, а молодцы всѣ въ Питерѣ, въ конфетчикахъ да въ столярахъ; а черезъ годъ либо два идутъ домой съ денежками, на поправку хозяйству; а побывалъ дома, опять въ Питеръ. Эта шатущая жизнь ихъ, видно, и поразбаловала, и пошло много ребятъ разгульныхъ и пропойныхъ.

Вотъ, какъ-то по осени, и воротилось ихъ домой изъ Питера много; пришли ватагой, Богу не помолились, а за вино, за пѣсни да пляски. Деньги съ ними были,—вотъ и задумали складчиной погулять. Оно, конечно, попировать и погулять послѣ долгой отлучки, можно, отпраздновать то есть благополучный приходъ и, пожалуй, угостить деревенскую братію, да знай часъ и мѣру и время; а они затѣяли это въ Господень праздникъ, да съ утра: попъ въ колоколъ, а они за ковши. Собрались они всѣ въ одну деревню, въ село то есть, въ ту, гдѣ стояла церковь, и всѣ забились въ одну избу. Пошла у нихъ попойка такая, что дымъ коромысломъ: празднословятъ, богохульствуютъ, перепились, себя не помнятъ, — а въ церкви насупротивъ, служба идетъ. Соблазнили, окаянные, весь міръ: всѣ, вишь, обрадовались приходу своихъ, никому не захотѣлось отстать отъ попойки—такъ церковь и осталась пустою. Какъ заблаговѣстили къ достойной, то у нихъ шумъ и крикъ поднялся пуще прежняго, инно въ церкви слышно стало, и самъ священникъ, смущаемый соблазномъ великимъ, оглянулся въ ту сторону, откуда слышались крикъ и пѣсни...

Въ это самое время вошелъ въ избу къ пирующимъ незванный гость, непрошенный, съ кѣмъ дай

Богъ вѣкъ не встрѣчаться и въ быляхъ его не поминать: мохнатый, черный, какъ есть съ рогами, со змѣинымъ хвостомъ,—вошелъ и наготы своей не прикрылъ, только что большой порожній мѣшокъ у него подъ мышкой: не морочить, стало быть, пришелъ, а ужь прямо за своимъ дѣломъ, съ обухомъ. Пришелъ да и сталъ въ дверяхъ. Мужики мои, пьяны не пьяны, а всѣ отрезвились; хотятъ крестъ сотворить, покаяться, анъ ужь и рука не подымается: больно врасплохъ ихъ сердечныхъ застали. Вотъ онъ и сталъ считать ихъ: это мой, говоритъ, первой, и другой мой, и третій мой, а на котораго пальцемъ укажетъ, тотъ и сидитъ, только головой мотаетъ да глазами хлопаетъ, а ужь безъ рукъ, безъ ногъ, безъ языка. Пересчитавъ всѣхъ, досталъ онъ изъ-подъ мышки мѣшокъ, встряхнулъ его, да взялъ вотъ этакъ въ лѣвую руку, а правой рукой и пошелъ хватать ихъ да сажать въ мѣшокъ; возьметъ за голову, ровно кочерыжку, приподыметъ съ мѣста, да живьемъ его въ мѣшокъ, а какъ, слышь приподыметъ котораго, то руки да ноги ровно плети болтаются...

— А кто жь тутъ чужой есть?—сказалъ онъ осерчавъ:—не нашимъ духомъ пахнетъ.

А на печи сидѣла дѣвочка хозяйская, годовъ десяти. Она прижалась, ни жива, ни мертва; а какъ только заревѣлъ онъ, что кто-то чужой есть, то она, перекрестясь, какъ мать учила, да кубаремъ съ печи, да въ окно, да давай Богъ ноги, что есть духу; безъ оглядки, прямо по дорожкѣ бѣжитъ, и сама не знаетъ, не понимаетъ куда, сама читаетъ Богородицу, хоть ужь не всю, а сколько знала... за собою слышитъ она грохотъ, стукъ, голоса, крикъ, визгъ, хохотъ... Не оглядывается бѣдняжка, а бѣжитъ, что есть духу, да, перевалясь черезъ водопускъ, все прямо и, прибѣжавъ въ ту деревеньку, упала замертво.

Сошлись люди, сбѣжались сосѣди, кто не былъ у обѣдни, подняли дѣвочку—черезъ силу могла выговорить, что съ нею сталось. Слушая ее, нехотя люди стали оглядываться на гребень, на село, да и дивуются: какъ такъ? не видать за горой церкви; куда она дѣвалась? Вышли на гребень — нѣтъ деревни, нѣтъ ничѣмъ-ничего. Паръ либо дымъ киселемъ стоитъ на томъ мѣстѣ. Сдивовался народъ, крестится, стоитъ и смотритъ: что это будетъ?

Сталъ туманъ прочищаться, а посрединѣ объявилась гора. Стоитъ вотъ будто споконъ-вѣку, а ея не было прежде никогда. На горѣ сидитъ черный пѣтухъ; онъ захлопалъ крыльями, прокричалъ трижды и пропалъ. Прочистился наконецъ туманъ: и мѣста не знать, гдѣ деревня стояла; гора на этомъ мѣстѣ, а вокругъ горы, кольцомъ, разлилось озеро, а вокругъ озера болото. Такъ они, мужики мои, поглядѣли, развели руками и пошли по домамъ.

Деревня пропала, а къ горѣ и къ озеру нѣтъ приступу: болото лѣтомъ не пересыхаетъ, зимою не замерзаетъ. Пѣтухъ повременамъ сидитъ на вершинкѣ, на горѣ, когда туманъ разстилается понизу, только молчитъ, не хлопаетъ крыльями, не кричитъ. Въ праздники Господни, въ иную пору, слышенъ звонъ колокола на озерѣ, то ровно по покойникѣ перезваниваютъ, то къ обѣднѣ благовѣстятъ,—а какъ зазвонятъ къ достойной, то озеро и забушуетъ и забурлитъ. . послѣ опять все утихнетъ, будто ничего не бывало. Сказываютъ, что и колоколъ ину пору, по ночамъ, на берегъ выкатывается и опять уходитъ на дно; сказываютъ, будто вся гора на озерѣ пловучая и что вѣтромъ подгоняетъ ее то ближе къ одному берегу, то къ другому; сказываютъ еще, будто разъ какъ-то, молитвами проходящаго инока, церковь стала было подыматься и крестъ уже выказался изъ воды: тогда

пѣтухъ опять появился на горѣ, а гора поплыла на то мѣсто, гдѣ выказался крестъ и накрыла все... съ тѣхъ поръ никто болѣе ни церкви, ни креста не видалъ; а только послѣ сильной бури озеро выкидываетъ на берегъ, что выбьетъ водой изъ потонувшаго села, со дна озера: черепья, ночвы, деревянныя ложки, берестянки, туески, обечайки. А изо всего села этого никто не спасся, ни одна душа, кромѣ этой дѣвочки

УДАВЛЮСЬ, А НЕ СКАЖУ

— Такая бѣда припала, — говорилъ полтавскій казакъ своему товарищу, выколачивая коротенькую люльку о каблукъ:—такая бѣда, что хоть плачь: тутъ подай да подай, и передышки не даютъ, чтобъ были къ Покрову; а гдѣ ихъ у чорта возьмешь?

— Не поминай его,—сказалъ другой:—нехорошо...

— Ничего,—перебилъ первый:—меня чортъ не обманетъ: я про него молитву знаю; зато, братъ, ты ужъ никогда не услышишь, чтобъ я ругался, и не терплю за то москалей, что они ругаются. А бѣда, казаче, хоть волкомъ вой.

— Да, вѣдь, у тебя никакъ было еще карбованцевъ съ десятокъ за Семеномъ Могарычемъ, съ весны, когда онъ у табя воловъ купилъ?

— Э, вотъ то-то, братъ, что въ копнахъ не сѣно, въ потравѣ не хлѣбъ, а въ людяхъ не деньги! Семенъ Могарычъ себѣ на умѣ, не отдаетъ—что съ нимъ дѣлать станешь? говоритъ: подожди

— Экой старый хрѣнъ, Богъ его суди! Да у него жъ денегъ до чорта,—сказалъ второй казакъ, позабывъ увѣщаніе свое не поминать его, и, опомнясь, плюнулъ:—да, да у него, Господи прости, цѣлая скрыня деньгами набита!

— А что жь съ нимъ дѣлать станешь, — продолжалъ первый:—мы въ его скрыню не полѣземъ; не отдаетъ да и полно, говоритъ: нѣтъ теперь. Ужь это такой человѣкъ, самъ ты знаешь, кремень — его не разжалобишь.

— Экой недобрый Семенъ... о, да хитрый же старикъ: вѣдь, что ты думаешь, для чего онъ не отдастъ тебѣ денегъ? Вѣдь это онъ все дѣлаетъ, чтобъ люди не знали о деньгахъ его; хочетъ, чтобы его считали бѣднякомъ; чтобы говорили: вотъ какіе тяжелые года, всѣмъ тошно, всѣмъ душно; вотъ и сердяга Семенъ Могарычъ извелся совсѣмъ; семья большая, всѣхъ кормить надо, одѣть надо,—а тутъ подушное; и не стало силъ, и не оплачиваетъ. Видно, нѣтъ у него ничего въ залишкѣ, видно, люди все врали... вотъ чего онъ хочетъ, да! Ну, съ Богомъ! прощай, братъ, прощай! пора и намъ за свое дѣло приниматься.

Потолковавъ такъ о Семенѣ Могарычѣ и о своей бѣдѣ, казаки разошлись; а Семенъ Могарычъ, между тѣмъ, сидѣлъ дома на хуторѣ своемъ, сидѣлъ на печи, покрякивалъ отъ дряхлости и нездоровья, особенно по ночамъ. Долгонъ онъ не платилъ, семью свою кормилъ и одѣвалъ плохо и все отзывался нищетою. Молва считала Семена богачемъ; а онъ увѣрялъ, что такіе слухи распускаютъ злодѣи его. Оксана, жена его, плакалась на свою лихую годину и съ трудомъ только могла поддерживать домъ. Бывало, жили они хорошо, зажиточно, какъ слѣдуетъ порядочнымъ хуторянамъ. Былъ скупъ Семенъ всегда, но въ мѣру, и, что было нужно, въ томъ не отказывалъ; а теперь, чѣмъ болѣе сталъ старѣться и дряхлѣть, тѣмъ становился скрытнѣе, молчаливѣе, упрямѣе и скупѣе. «Семенъ! говоритъ она ему бывало:—Бога ты не боишься. Что ты дѣлаешь, куда ты деньги бережешь?»—Какія у меня, у чорта, деньги, скажетъ онъ, отворотится и молчитъ, хоть она

ему часъ голову грызи и разсказывай о томъ, какъ на него плачутся добрые люди, которымъ онъ не платитъ долговъ; какъ дочери его, невѣсты на выходѣ, сидятъ по праздникамъ дома, потому что имъ стыднехонько въ люди показаться: ни кофточки, ни плахточки, ни хусточки, ни красныхъ черевичковъ... Семенъ молчитъ, какъ не живой, и даже не стонетъ, покуда Оксана не окончитъ свои причитанья, и тогда ужь вздохнетъ и, если боль пересилитъ его, опять себѣ закряхтитъ. Ударитъ она руками объ полы, вздохнетъ сама, и отойдетъ опять къ своему дѣлу.

Зиму всю Семенъ просидѣлъ на печи да кряхтѣлъ, и Оксана, хоть и видѣла, что старику плохо, утѣшала себя тѣмъ, что вотъ-де придетъ весна, потеплѣетъ, тогда, дастъ Богъ-де, ему полегчаетъ, авось отойдетъ. Тогда онъ придетъ опять въ свой умъ, можно будетъ и поговорить съ нимъ по-старому, какъ бывало прежде, и заставить сдѣлать по домашности, что нужно. Но весна-красна пришла, и стало время уже подходить къ Пасхѣ, которая была на тотъ разъ самая поздняя, а Семену не легче, только все хуже да хуже. Ужь онъ третій мѣсяцъ не только съ мѣста не сходитъ, но ужь и не сидитъ больше, все лежитъ—и лежитъ отворотившись отъ свѣта и добрыхъ людей, лицомъ къ стѣнѣ, а спиной къ Божьимъ иконамъ; а это, какъ всякому извѣстно, примѣта самая дурная; значитъ, человѣкъ умретъ.

«Что я съ нимъ буду дѣлать? плакалась Оксана добрымъ бабамъ: — умираетъ совсѣмъ, вотъ помретъ на этой недѣлѣ, и до Святой не доживетъ, за грѣхи наши, а насъ сиротъ покинетъ и нагихъ, и голыхъ, не скажетъ, гдѣ у него деньги, такъ и помретъ. Что мы тогда, горемычныя, дѣлать станемъ? Вѣдь деньги-то у него зарыты гдѣ-то, ей-богу; вотъ почему онъ, сердечный, и отъ долговъ своихъ отказывается, и до-

брыхъ людей въ грѣхъ вводитъ, и скотинку изъ дому нужную продаетъ на домашнюю потребу, что деньги зарыты въ яму, самъ идти за ними не сможетъ, а намъ никому сказать не хочетъ; такъ и молчитъ... Ужь и сыновья кланялись ему въ ноги разъ по десяти, и дочери руки цѣловали, и я, горемычная, сколько разъ слезами обливалась — нѣтъ, молчитъ, какъ воды въ ротъ набралъ, не говоритъ ничего, развѣ только проворчитъ про себя: «какія у меня, у чорта деньги...» и опять лежитъ, ровно его нѣтъ».— Вотъ сосѣдки, утѣшая Оксану, посовѣтовали ей приложить на ночь ломтикъ хлѣба къ ногѣ старика, подъ подошву, и послѣ дать собакѣ да поглядѣть, станетъ ли она ѣсть хлѣбъ этотъ. Коли станетъ ѣсть, то старику еще жить, а коли не станетъ, то, видно, ему умереть, и тогда-де надо подумать, что дѣлать и какъ быть.

Сдѣлала Оксана, что ее научили добрые люди, и пришла на другой день къ сосѣдкамъ вся заплаканная: не ѣстъ собака хлѣба—видно, старику умереть!

Посовѣтовались, потолковали и опять рѣшили идти къ попу, просить его помощи. Не сказавъ объ этомъ Семену, не смѣли привести попа, чтобъ не вышло хуже: принялись всей семьей уговаривать его, что, сохрани Богъ, умретъ безъ попа: большой грѣхъ будетъ. Долго Семенъ отговаривался,—не надо, да и только; наконецъ кое-какъ уломали его, и сынъ тотчасъ поѣхалъ на село. Священнику ужь напередъ разсказали все дѣло, дружно, всей силой, въ пять или шесть голосовъ, и просили усовѣстить старика, чтобы онъ денегъ своихъ на тотъ свѣтъ съ собою не уносилъ, сиротъ горемычныхъ не покидалъ въ бѣдѣ и нищетѣ, а сказалъ бы хоть кому-нибудь одному, хоть старшему сыну, гдѣ у него схоронены деньги.

Будто нехотя Семенъ принялъ священника, крякнулъ, жмурился, но, между тѣмъ, какъ христіанинъ,

понималъ, что нужно исполнить этотъ долгъ, чтобы не погубить души своей и не покинуть нареканія на всю семью. Онъ кряхтѣлъ, стоналъ и отмалчивался, будто ему тяжело говорить, но таки волей-неволей далъ духовнику отвѣтъ и привѣтъ, въ немногихъ словахъ, и долженъ былъ сознаться, что у него, точно, есть деньги и что зарыты онѣ, для безопасности отъ недобрыхъ людей и отъ огня, въ лѣсу. Несмотря, однакоже, на всѣ убѣжденія попа, Семенъ больше этого сказать не могъ или не хотѣлъ, а кончилъ тѣмъ, что обѣщался непремѣнно показать мѣсто на другой день, либо на третій, старшему сыну своему и подтвердилъ то же самому сыну этому и женѣ, когда панъ-отецъ позвалъ ихъ, чтобы обрадовать покаяніемъ и добрымъ расположеніемъ Семена. Вся семья радовалась и умилялась надъ этимъ счастливымъ событіемъ и благословляла священника за его доброе дѣло.

Пришелъ другой день, и день этотъ былъ день общей радости, веселья и празднества не только въ домѣ Семена Могарыча, гдѣ отецъ лежалъ на смертномъ одрѣ—а потому и радость была не въ радость—но и по деревнямъ и селамъ, на всѣхъ хуторахъ, во всѣхъ концахъ и по всему лицу Россіи: это былъ день Свѣтлаго Воскресенья Христова.

Звонъ колоколовъ раздавался по чистому весеннему воздуху издалече, черезъ долы и пригорки; солнышко ярко освѣщало свѣжую зелень, легкій вѣтерокъ переносилъ и легкій паръ, и теплое дыханіе весны, и отдаленный звонъ изъ окружныхъ церквей, который слышался на уединенномъ, тихомъ хуторѣ Семена Могарыча. Онъ былъ дома одинъ: старъ и малъ, Оксана съ дочерьми и сыновьями, отправились къ заутренѣ, и, во уваженіе такого святаго праздника и добраго помѣренія старика, Оксана одѣла и убрала дочерей, какъ

могла, и даже не упрекнула его ни разу тѣмъ, что у нихъ нечего надѣть.

Приходятъ всѣ домой спокойные, довольные, хоть и не очень веселые, хоть, можетъ быть, и смутные; приходятъ въ умиленіи, что Богъ далъ дожить и имъ и отцу до такого святого праздника и что отецъ раздобрился до нихъ, обѣщалъ наградить ихъ за долгое терпѣніе и смиреніе, указать, гдѣ у него лежатъ деньги; а смутные потому, что грустно было имъ подумать о томъ, въ какомъ положеніи найдутъ они дома старика своего, доживетъ ли онъ до будущаго утра; робкіе,— опасаясь, не отдалъ бы онъ Богу душу прежде, чѣмъ успѣетъ исполнить свое обѣщаніе, или не ослабъ бы до того, что уже не сможетъ этого сдѣлать, еслибъ и захотѣлъ.

Помолились еще разъ усердно Богу, разговѣлись,— и старикъ, собравшись съ послѣдними силами, не только опять сидѣлъ, чего давно не бывало, но даже, съ помощію сыновей, привсталъ было для молитвы на ноги. Скоро, однако же, онъ ослабъ снова, легъ, завернулся и укрылся тулупомъ своимъ и лежалъ какъ неживой. Немного погодя домашніе стали посматривать на него, безпокоиться и перешептываться. Оксана подошла и стала осторожно смотрѣть въ лицо Семена, а Семенъ и самъ глядитъ на нее во всѣ глаза и молчитъ.

— Что жь, Семенъ? — сказала она: — радостный день пришелъ; сдѣлай, что ты обѣщалъ пану-отцу, и Богъ тебя не оставитъ. Мы всѣ выйдемъ отсюда, оставимъ съ тобой одного старшаго, Опанаса: поговори съ нимъ, открой ему душу свою. Онъ у насъ замѣстъ отца, пусть онъ одинъ и знаетъ, что есть у насъ и гдѣ оно лежитъ.

Семенъ помолчалъ, вздохнулъ, приподнялся самъ, безъ всякой помощи, и, сидя, сказалъ твердымъ голосомъ, какъ давно уже не говаривалъ:

— Запрягайте мнѣ гнѣдка въ повозку, да скорѣе.

Сыновья, услышавъ это, бросились, обрадованные, исполнить отцовское приказаніе и черезъ нѣсколько минутъ пришли сказать, что лошадь готова. Они оба стояли передъ отцомъ, ожидая приказаній его и полагая, что онъ велитъ одному изъ сыновей ѣхать, сказавъ, гдѣ и что искать... Но Семенъ посмотрѣлъ на всѣхъ, вздохнулъ, спустилъ ноги наземь и сказалъ твердымъ голосомъ: «подайте мнѣ чоботы, поясъ и шапку.... и свиту новую подайте....» Не смѣли отъ изумленія ни спорить съ нимъ или уговаривать его, ни даже спрашивать, что онъ хочетъ дѣлать, а подали ему одѣться. Онъ самъ натянулъ свои чоботы, всталъ на ноги, надѣлъ свиту, подпоясался, надѣлъ шапку и твердымъ шагомъ, молча, пошелъ къ дверямъ... Оксана испугалась, бросилась къ нему, стала спрашивать и уговаривать, но онъ отвѣтилъ только: «а ну прочь, я самъ поѣду», и вышелъ на дворъ. Сыновья вышли за нимъ, также въ шапкахъ, полагая, что отецъ кому-нибудь изъ нихъ велитъ съ нимъ ѣхать; но отецъ все молчалъ, молча сѣлъ въ повозку и молча взялъ въ руки вожжи.

— Господи! что это будетъ? — проговорила Оксана:—вѣдь, ты одинъ не справишься, сохрани Богъ, съ тобою бѣда какая... И принялась уговаривать мужа взять съ собою одного изъ сыновей.

Семенъ молча какъ будто кивнулъ головой. Остапъ вскочилъ на повозку, лошадь тронулась: но въ воротахъ Семенъ громко закричалъ: «стой!» и велѣлъ сыну сойти. «Не надо, говорилъ онъ:—не хочу; одинъ поѣду». Никакое убѣжденіе не могло заставить его взять съ собою кого бы то ни было. Проговоривъ еще разъ: «не хочу, одинъ поѣду», онъ отправился въ путь. Всѣ домашніе вышли за нимъ слѣдомъ за ворота, кто просто дивился, кто напутствовалъ старика благословеніями. Такъ онъ въ телѣжкѣ переваливался черезъ

горку и скрылся. Никто не посмѣлъ идти за старикомъ, который повременамъ оглядывался, и Остапъ подумалъ только про себя: «видно, деньги, какъ и люди говорятъ, и вправду зарыты въ терновой балкѣ: отецъ въ ту сторону поѣхалъ».

Прошло нѣсколько часовъ. Пора ужь и обѣдать, а Семена нѣтъ. Оксана стала крѣпко безпокоиться и наконецъ послала сыновей искать отца, не случилось ли чего съ нимъ. «Вѣдь онъ совсѣмъ умиралъ, и Богъ его знаетъ, какъ ему вдругъ полегшало и отпустило, и сѣлъ и поѣхалъ себѣ, какъ здоровый...»

Сыновья воротились вечеромъ, пройдя всю терновую балку, но ни отца, ни лошади съ повозкой не нашли. Въ домѣ поднялась тревога, и сошлись сосѣди изъ двухъ близкихъ хуторовъ. Что дѣлать? Куда идти искать отца?

Вдругъ, кто-то увидалъ лошадь съ пустой телѣгой, скакавшей поперекъ степи и поля къ дому, совсѣмъ не съ той стороны, куда отецъ поѣхалъ. Кинулись на встрѣчу: въ телѣгѣ свита, и поясъ, и шапка Семеновы, и кнутъ; а его самого нѣтъ. Разсчитавъ, что лошадь, вѣрно, ближайшимъ путемъ пришла домой, всѣ пошли гурьбой прямо по этому направленію и разсыпались съ ауканьемъ по небольшому лѣсистому овражку, верстахъ въ двухъ отъ хутора.

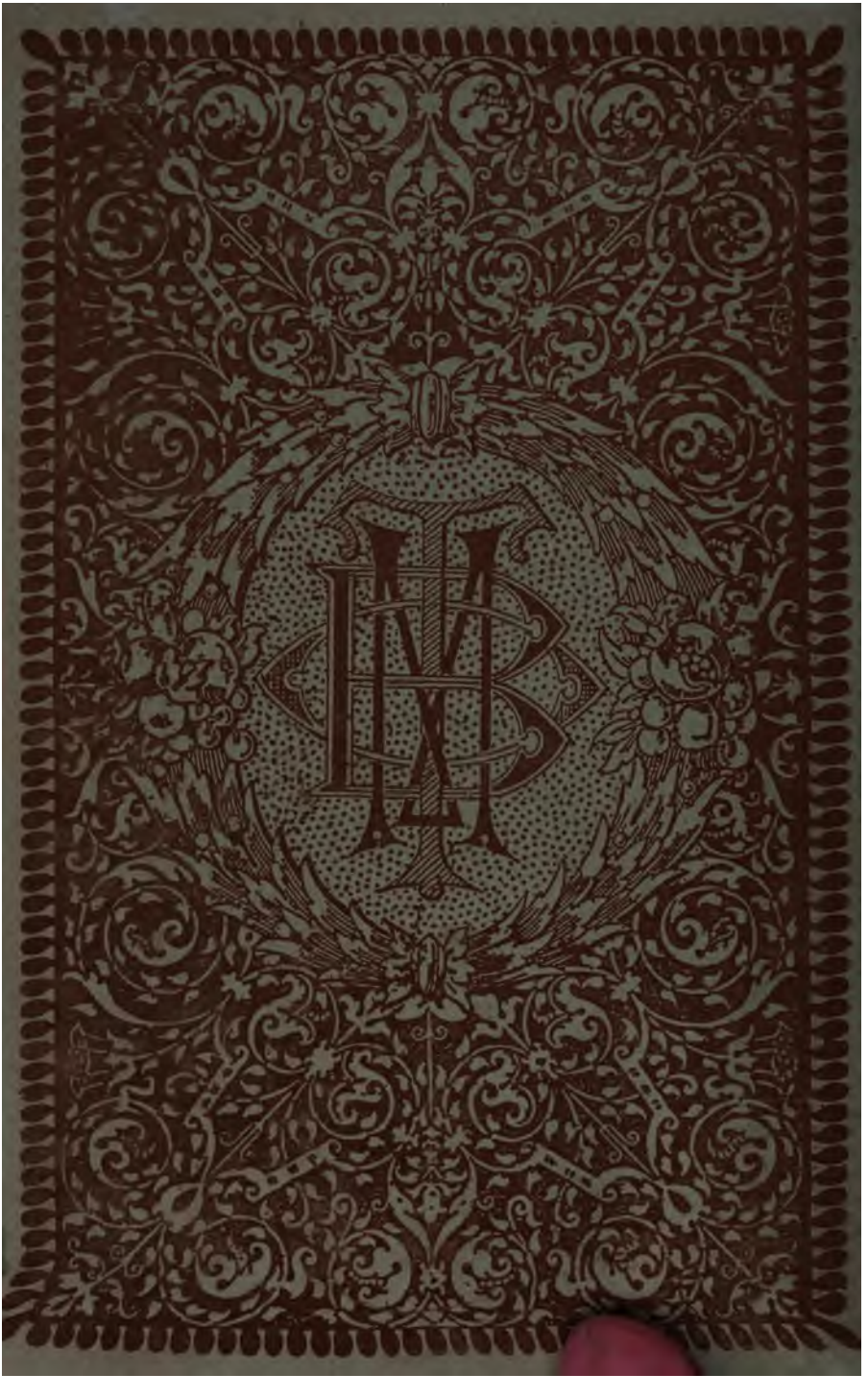
Уже смеркалось. Люди прошли почти весь лѣсокъ, не найдя ничего; вдругъ, одинъ остановился и сталъ кричать не своимъ голосомъ, сзывая прочихъ... передъ нимъ на деревѣ висѣлъ старикъ Семенъ. Не могши ни отдѣлаться отъ докуки и настояній семьи своей, ни разстаться со своимъ кладомъ, онъ удавился. Удавиться ему было легче, чѣмъ показать обнищавшему семейству своему, гдѣ у него зарыты деньги.

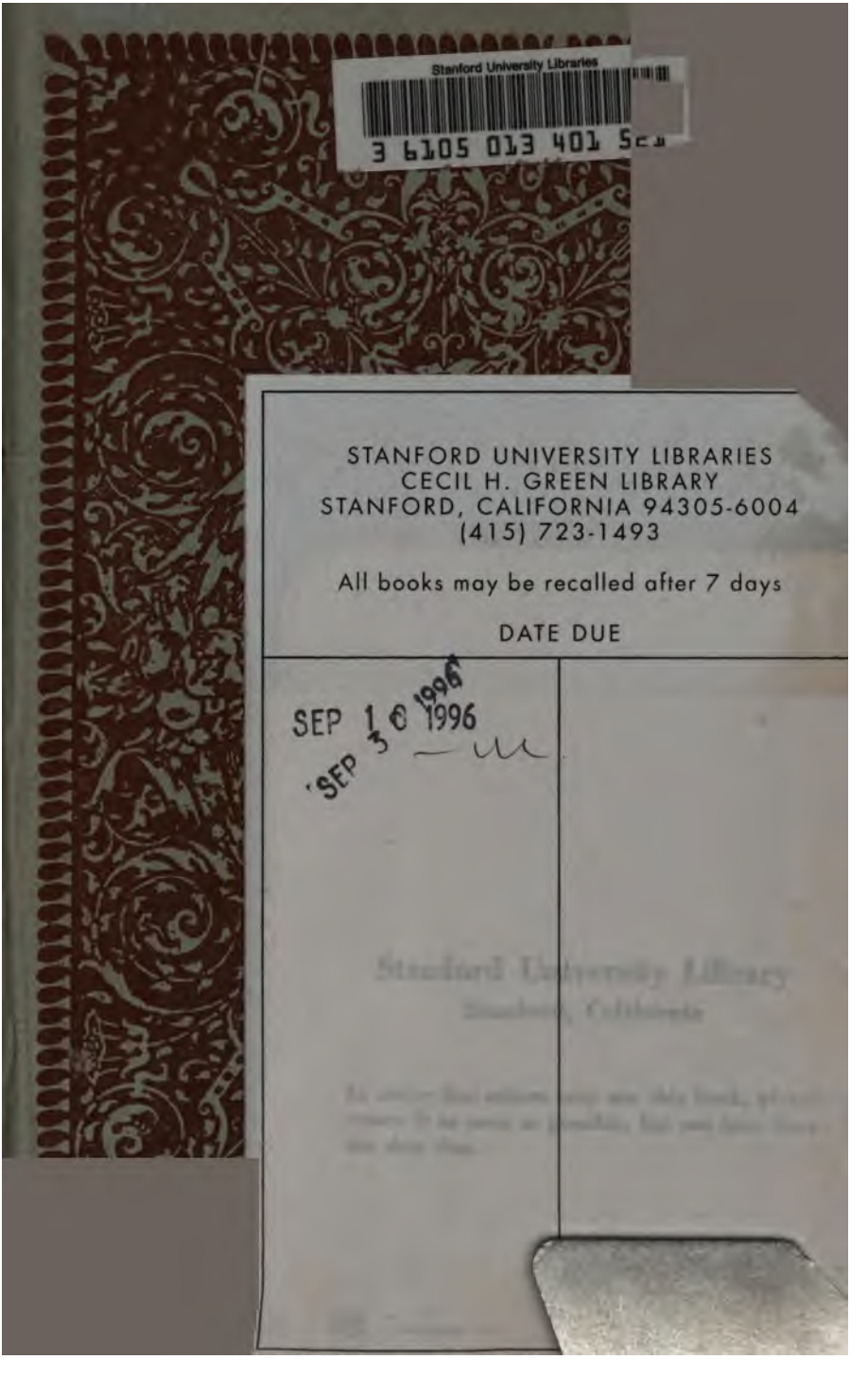
КОНЕЦЪ ПЯТАГО ТОМА.

СОДЕРЖАНІЕ ПЯТАГО ТОМА

		стр.
1.	Повѣрка	5
2.	Бѣглянка	10
3.	Воръ	18
4.	Сухая бѣда	23
5.	Находка	28
6.	Искушеніе	35
7.	Цыганка	41
8.	Капитанша	52
9.	Кандидаты	59
10.	Варнакъ	65
11.	Кликуша	83
12.	Бредъ	96
13.	Рогатина	104
14.	Невѣста съ площади	118
15.	Мертвое тѣло	133
16.	Самоваръ	141
17.	Прокатъ	146
18.	Мандаринъ	158
19.	Круговая бесѣда	164
20.	Другая круговая бесѣда	180
21.	Напраслина	198
22.	Осколокъ льду	203
23.	Разсказъ Верхолонцова о Пугачевѣ	215
24.	Цыганъ (пустобайка)	226
25.	Подтопъ	236
26.	Послухъ (преданіе)	241
27.	Архистратигъ	248
28.	Кладъ	254
29.	Грѣхъ	266
30.	Двухъ-аршинный носъ	277
31.	Крушеніе	289
32.	Стешнячокъ	301
33.	Бочка вина	314
34.	Подземное село	330
35.	Удавлюсь, а не скажу	336

891.73
D121
K.S



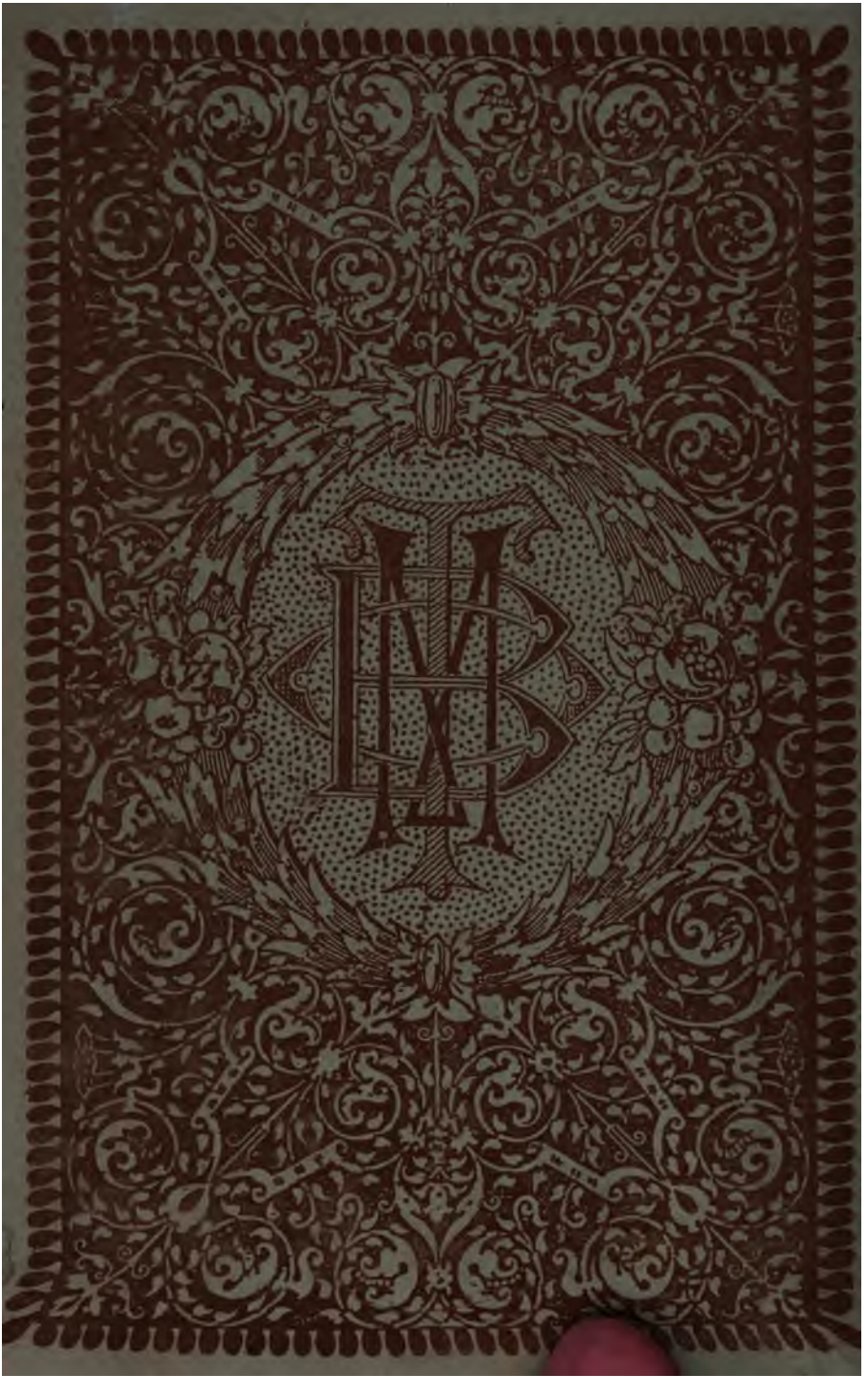

Stanford University Libraries
3 6105 013 401 5

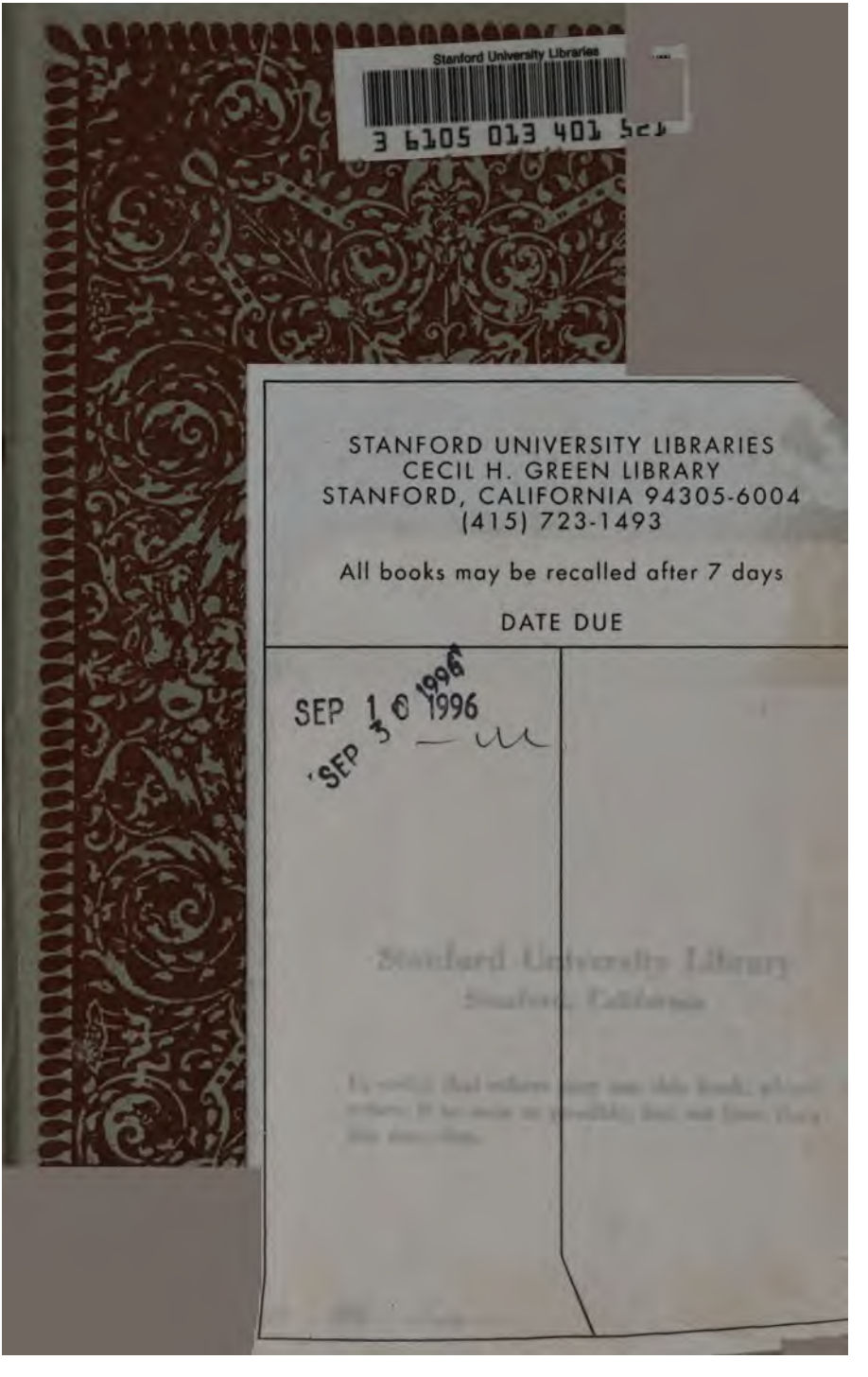
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

SEP 16 1996
SEP 30 1996




Stanford University Libraries
3 6105 013 401 5

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

SEP 10 1996
SEP 30 1996

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

SEP 1 0 1996
SEP 3 0 1996

БИБЛІОТЕКА ЗНАМЕНИТЫХЪ ПИСА
КНИГА
ГОДЫ
ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М.О.В